

ЗВЕЗДА

ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический журнал

1941

ОРГАН СОЮЗА СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

№ 5

СОДЕРЖАНИЕ

172676.

<i>Павел Далецкий</i> . Возмездие. Роман	3
<i>Александр Прокофьев</i> . «Я выдумал песню, какую хотелось...»	49
<i>И. Айзеншток</i> . Иван Франко	50
<i>Иван Франко</i> . Стихи. Переводы с украинского: <i>А. Прокофьева</i> , <i>Вс. Рождественского</i> , <i>Л. Успенского</i> , <i>Н. Брауна</i> , <i>А. Остро-</i> <i>вского</i> , <i>Вс. Азарова</i> , <i>В. Владимиров</i> , <i>Б. Кежун</i> , <i>А. Ахматовой</i> , <i>М. Комиссаровой</i> , <i>В. Давиденковой</i> , <i>Е. Рывиной</i> , <i>Б. Соловьева</i> , <i>Е. Нежицьева</i> , <i>И. Нанпель-</i> <i>баум</i>	55
<i>Леонард Уинкотт</i> . Записки бывшего моряка. Перевод с английского <i>Д. Горфинкеля</i> и <i>Н. Чуковского</i>	63
<i>Вадим Шефнер</i> . Лесной пожар. Стихи	120
<i>А. Черненко</i> . Мечта	121
<i>Людмила Попова</i> . Счастье летать. Стихи	125
<i>М. Пикитин</i> . С киноаппаратом на фронте	127
<i>В. Дружинин</i> . Человек вышел на волю	132

КРИТИКА

<i>А. Вен</i> . Сталь и нежность	142
<i>А. Грушкин</i> . Лео Квачели	147
<i>И. Березарн</i> . «Решни» <i>И. Грабари</i>	154
<i>Р. Миллер-Будницкая</i> . О национальной драме	158
<i>Вл. Орлов</i> . Вокруг Грибоедова	165

БИБЛИОГРАФИЯ

<i>А. Гучеров</i> , <i>Б. Соловьев</i> . «Воспитание характера»	167
<i>И. Бражнин</i> , <i>И. Рахтанов</i> . «Книга для больных»	169
<i>И. Гринберг</i> , <i>Иван Меньшиков</i> . «Друзья из далекого стойбища»	170

И. Гринберг. Виктор Авдеев. «У нас во дворе»	171
Н. Степанов. Семен Кирсанов. «Четыре тетради»	173
В. Азаров. Николай Щербаков. «Песни горниста», «Вася Теркин на фронте»	174
В. Азаров. Борис Лебедев. «Баллады и стихи»	176
Н. Степанов. Велемир Хлебников. «Неизданные произведения» . .	177
Имн. Оксенов. Борис Пастернак. «Избранные переводы»	179
Н. Николаев-Бергин. «Русские плачи Карелии»	181
Р. Миллер-Будницкая. Клифорд Одетс. «Золотой мальчик»	182
Л. Гинзбург. «Русские поэты XVIII—XIX вв.»	183
А. Смолин. С. М. Радциг. «История древнегреческой литературы» .	184
И. Березарк. Л. Гроссман. «Театр Сухово-Кобыльина»	186

2-43

Павел Далецкий

ВОЗМЕЗДИЕ

РОМАН

ПЕРВАЯ ГЛАВА

1

Около заборов, в тени, земля была еще по-утреннему тверда, и Васька несся под забором. Около дома Петра Гагалюка перепрыгнул через лужу и забрызгал холстинные штаны. Из-за калитки крикнул:

— Ой, дядя! Приехали... Мать послала сказать... С полицией, и уже забирают...

Петр бросил передок телеги. Не желая верить, спросил:

— Чего болтаешь? Кто там приехал?

— Секвестраторы приехали.

Авдотья выбежала из хаты, на ходу повязывая платок. Руки у нее дрожали.

— А ну, пойдем! — сказал Петр.

Около хаты Григория Касьяника в толпе потонул маленький серый автомобиль. Мальчишки лезли на забор. Полицейский в воротах никого не пропускал.

Подкатил мотоциклет с тремя полицейскими.

Петр пробрался к воротам. Высокий чиновник стоял во дворе с книжкой в одной руке, со стопкой синих бумаг в другой. Жена Касьяника, Катерина, ползала перед ним на коленях. Она говорила быстро-быстро. Чиновник не слушал, а может быть, не понимал русской речи. Она припала головой к земле и схватила его за ботинок. Чиновник спокойно переступил с ноги на ногу.

— Прошу пана пощадить нас! — кричала Катерина. — До осени прошу пощадить... Никогда не бывало, чтобы приезжали в такую рань... Кто знает, что

будет осенью... Может быть, к осени, бог пошлет, и заплатим...

Ефим Гагалюк, стоявший рядом с Петром, заметил:

— Синие бумажки — по налогу государству... тут уж пощады не будет. А вон те, что торчат из кармана, зелененькие и красненькие, — те кредиторские.

Петр молчал. Секвестраторы действительно приехали в необычное время. Но раз приехали и начали свое дело, так будут продолжать. Раз приехали, так побывают уж в каждой хате.

Пятнадцать лет назад, когда правительство обещало свободу и ссуды на покупку излишков панской земли, Петр приобрел на выплату плуг и еще кое-что из сельскохозяйственного инвентаря. Даже машину, настоящую швейную машину поставил на стол Авдотье.

Она смотрела на нее, как на святую. Она боялась крутнуть колесо. От этой машины давно не осталось и воспоминания в хате. В страшную, голодную зиму ее продали за гроши. А бумажка с платежным обязательством, красненькая, веселая, лежала вместе со многими другими на полочке в переднем углу.

Петр обернулся. Авдотья с Васькой стояли возле автомобиля. Они смотрели то на автомобиль, то во двор. Лицо Авдотьи было бледное и испуганное, такое же, как и у всех окружающих.

Касьяничиха затихла, положила лоб на чиновничьи башмаки и обняла их.

— А... ну! — сказал чиновник. — Прошу!

Он высвободил из объятий ноги и пошел к сараю. Оттуда выводили корову.

Из хаты показались три городских чело- бека в котелках.

Чиновник крикнул им:

— Панове, прошу рассмотреть!

Корову окружили.

— Тридцать пять злых за скелет! — объявил чиновник. — Тридцать пять злых — раз... Тридцать пять злых — два...

За забором не дышали. Касьяничиха поднялась с земли и окаменела.

— Тридцать семь, — проговорил серый котелок.

Через минуту он стал владельцем ко- ровы.

На глазах Касьяничихи он заплатил се- квестратору деньги за ее корову. К живот- ному подошел молодец в мятой зеленой шапке-венгерке, мятом, вытертом пальто, обвязал вокруг шеи коровы веревку и по- вел.

— Разойтись! — кричал полицейский. — Прощу, прощущу!

Касьяничиха шла за коровой, с сухими глазами, широкими шагами. Когда она по- ровнялась с полицейским, тот пропустил ее и ударил между лопаток:

— Куда?

И когда женщина оглянулась, ударил ее в грудь.

Катерина пошатнулась.

— Куда... спрашиваю?

Секвестраторы шли в следующую хату.

— Пойдем! — сказал Петр жене.

2

Пегая корова стояла в хлеву.

— Загоню ее в болото, — решил Петр. Авдотья зарыдала.

— Загоню в болото... Через четыре дня пригоню обратно...

— Если б можно было загонять, люди загоняли бы... Полицейские ничего не узнают про нашу корову?

— Пусть узнают!

— Придут и хату продадут.

— Хату не продадут.

— А у Стэфана из Орхувка не продали?

— У Стэфана продали.

Корова повернула голову и смотрела на двор. На дворе было весеннее солнце. Первый весенний ветер летел над двором. Воробьи дрались на колоде.

— Так что делать? — спросил Петр.

Ударил кулаком в дверь, дверь отлетела к стене.

— Я хату подпалю, а им не дам!

Секвестраторы пришли скорее, чем ду- мал Петр. Солтыс Рыдзевский в своей синей куртке вошел во двор первым.

— Теперь до тебя! — сказал он Петру.

Тут же, на дворе, секвестратор огласил повестку. С Петра причитались не только недоимки по налогу, не только суммы за всученную ему сельскохозяйственную роскошь, не только за швейную машину, но еще был предъявлен вексель на пятьдесят злотых. Да, он брал деньги у лавочника Витковича... Не откажешься, брал!

Полицейский вывел из хлева корову и свинью, молодчики выволокли телегу.

Телегу осматривали внимательнее всего. Секвестратор говорил свои цифры, его дважды перебывали.

Со свиньей вышло недоразумение: жи- вотное, несмотря на удобу, оказалось сильным, его никак не могли связать и бросить в телегу.

— Строптивая, как хозяин, — заметил солтыс.

Покупатель распорядился усмирить строптивую.

Хлопец сел на нее и зарезал. Свинья нестерпимо визжала, но через пять минут. вымазанная кровью, она уже спокойно ле- жала в телеге. Авдотья вытирала слезы. Солтыс сказал:

— Ну, теперь у тебя все в порядке. Петр!

Секвестраторы и чужие ушли со двора. Двор опустел.

— Закройте ворота! — посоветовал сол- тыс.

Петр не ответил. Пошел в хату, потом вышел из хаты. Что делать, как прожить?

Хата стояла над Бугом, на обрыве. Да- же в самую мелкую воду река здесь была широка, а теперь, в весенний разлив, она простиралась до горизонта.

Река была темносиняя, с зеленоватым отливом. Сразу было видно, что это глу- бокая, свободная река. По ее левому бере- гу тянулась равнина, полная веселых хол- мов, роц, речных заливов и озер. Вдалеке темнели тополя Орхувка, за ними, на хол- ме, фольварк Горбачевского, деревни Сос- ницы и Лозиции. Чернели ветряные мель- ницы. Направо, над ивами и темнозеленой водой, точно летел железнодорожный мост.

А по эту сторону Буга были леса.

Леса и леса. Без конца и краю. Леса сосновые, в которых было просторно, светло и шумно, в которых в ясные дни лежало везде солнце; засыпанная хвоей рыжая земля сверкала, и красные сосны, толстые, высокие и прямые, покачивались в небе. Даже в пасмурные дни здесь было столько света, что человек чувствовал себя празднично.

Сосновые леса сменялись смешанными, еловыми. Ели приносили темноту, сырость, мрачность. Березы выбивались из чащ на поляны, рябины тянулись к солнцу и не могли дотянуться. Налетал ветер, ломал их тонкие, вялые стволы, вырывал с корнями. Здесь было тесно, здесь боролись за каждую пядь земли. Но в этой лесной тесноте умудрялись размножаться кусты орешника, ольхи, дикой малины, барбариса, черемухи. . . И, нисколько не боясь тесноты, росла трава, зеленая, сочная, мягкая. . . Папоротник в лесной тьме светился так, точно на него падало солнце. Обманутый человек смотрел вверх, но вверху встречал тьму.

В лесах таились озера, болота, сочились ручьи. Здесь были ягоды и грибы, зайцы, лисы, белки. . . На озера налетали цапли, по болотам разгуливали аисты. В трюсбах водился тетерев, глухарь, гостили утки и гуси.

Между лесами, как озера, лежали поля. Они бились волнами пшеницы, ржи и овса в неприступные берега лесов.

Леса принадлежали Жонсницким, Замойским, Грабовским. Почти все поля принадлежали тоже им. Им принадлежали лучшие поля, ибо не так еще давно им принадлежала здесь не только земля, но и люди, жившие на земле.

Орхову оставались одни песчаные холмы. Оно славилось песчаными холмами и целебной водой, которая была из родников.

Свою хату Петр Гагалюк поставил на краю Орхова, на высоком красном холме, на том месте, где Буг поворачивал к западу. Над двором и хатой поднималась многоствольная сосна с вывороченными ветвями, которыми она научилась сопротивляться ветрам, с корнями толще столетних деревьев, которыми она прорезала холм, добираясь до Буга.

И среди всего этого обилия жизни человек чувствовал себя обездоленным и лишеным всего.

«Что делать? — думал Петр. — Ни коня, ни плуга, ни телеги, ни коровы. . .»

Он прикидывал в уме каждую пядь земли. Что сделать, чтобы она уродила десятерю? Чтобы собрать грош к грошу, купить коня, потом корову. . . Конь был в прошлом году. Но уже к рождеству конь ушел за двадцать золотых на базаре во Влодаве.

— Петр, — сказала Авдотья, — я пойду до пани и попрошу. . .

— Чего ты попросишь?

— На коня попрошу.

— На коня?

— Ей-богу, на коня.

Петр молчал.

— Ей-богу, Петр, может дать.

— Много она тебе давала!

— Да я не просила, Петр, а теперь попрошу. Ведь не просила, а тут такое несчастье. . .

— А что ж, поди, — вдруг согласился Петр.

— Мне это как запало в голову, — взволнованно заговорила Авдотья, — как запало, так и стоит. — Глаза ее заблестели, голос зазвенел. — Думаю, почему пани может мне отказать? Ведь я попрошу. . . А отдать мы сможем не только трудом, но и деньгами. . . Если будет конь, то и деньгами. . .

— Если будет конь, то и деньгами. Платок, тот, что я тебе привез, надень, когда пойдешь.

— Надену тот платок.

Она пошла кратчайшей дорогой через пески. Сейчас они были чуть теплые, приятные. Женщина шла босиком, неся подмышкой ботинки. Старые ботинки, купленные пятнадцать лет назад, но все еще хорошие.

Уже началось весенняя жизнь в песках. Ползали муравьи. Муравьиные львы рыли воронки. Первые стрекозы носились в нагнетом над песками воздухе. Молодые сосны росли здесь то группами, то в одиночку. По ним уже двинулись соки, и томительный аромат хвои насыщал воздух.

К Высокому Холму, к усадьбе Жонсницкого, Авдотья подошла со стороны леса, через маленькую калитку в ограде.

Кухарка Паулина выносила помои. Кудлатая собака, помахивая хвостом, бежала за ведром. Это был нестрашный, веселый кухонный пес. Другие, страшные псы сидели сейчас взаперти.

У калитки Авдотья надела башмаки и теперь важно и осторожно ступала по дорожке. Ей нравились свои ноги в башма-

ках. Когда-то она мечтала о туфлях. Бже мой, что это за сооружение: ничего нет, а на ногах держатся, и очень красиво.

— Не знаю, дома пани или нет. Спрэси у Каси, — сказала Паулина.

С кухаркой Авдотье удобно было говорить, с молодой экономкой Касей неудобно. При виде ее Кася всегда удивленно поднимала брови и делала гримасу.

Авдотья вошла в кухню. Она не входила в церковь с таким благоговением, с каким входила в панскую кухню.

Это было большое, светлое помещение, и, когда бы ни приходила Авдотья, всегда в кухне пылала плита, всегда на столах лежала пища, всегда нестерпимые для голодного человека запахи наполняли кухню.

Кася сама опаливала гуся.

— А, это ты! — сказала Кася и строила гримасу. — Вытри ноги, наследила! Вот подожди, опалю гуся!

Она опаливала гуся долго.

Кася была низка и толста. Такая женщина, что про нее можно было сказать, что она совсем лишена красоты. Но в кухне на нее можно было заглядеться. Около нее лежало желтое тесто, золотистая капуста, мелко порубленная и перемешанная с яйцами, от супа подымался пар. Лицо Каси раскраснелось от жара плиты. . . Бже мой, сколько богатства и силы было в мире!

— Доложи пани, — попросила Паулина, беря из рук экономки гуся, — а то будет стоять здесь до утра!

Авдотья кашлянула от стеснения и переступила с ноги на ногу. Башмаки очень жали, стоять в них было трудно.

Кася отправилась в комнаты. Вернулась и сказала:

— Пани зовет тебя к окну.

Окно выходило в малинник, в безлистные тонкие трости кустов.

— Пани, пани, моя золотая пани! — проговорила Авдотья и заплакала.

— Пан Зыгмунд сказал мне о вашем деревенском несчастье. Что, и у тебя были?

— Еще как были, моя пани. . . больше, чем у других!

— Ну, ничего, как-нибудь справитесь. . . Петр работающий.

— Как справиться: ни коня, ни телеги, ни коровы. . .

— Всегда у вас несчастья. . . Сколько я ни живу рядом с вами, все у вас несчастья. . . На вот. . . возьми!

Жонсницкая протянула два золотых.

Авдотья взяла, поцеловала руку и сказала:

— Пани, я пришла вас молить. . . мы с Петром молим вас. . . Дайте нам займы, золотая пани, как гóспода молю, пятьдесят золотых!

Разгромленный дом встал перед ней, и она заплакала опять.

— Первый раз сегодня вижу твои слезы. Помнишь, ты хоронила сына, смотрела на него и не плакала. . . Ну, успокойся, Авдотья!

— Я сейчас успокоюсь. — Авдотья вытерла глаза. — Пятьдесят золотых трудом, конечно, не скоро отработаешь, но при конце мы сможем и вспахать лучше и убрать. . . В два года выплатим. . .

Лицо Жонсницкой было совсем близко. Авдотья видела морщинки у глаз, красные губы. Ей показалась в лице ласка, и она признательно улыбнулась.

— Дала бы, да нет у меня!

— Пани. . . я прошу. . . Пани, клянусь богом и святой его матерью. . .

— Да нет у меня, Авдотья!

— Пани, как гóспода молю!

— Да ведь я говорю тебе, бестолковая: у меня нет. Были бы, дала бы. Ты не веришь мне?

— Я не могу этому поверить, пани. . . Ведь мы подохнем!

— Не надо так выражаться, Авдотья. Подумай: вы задолжали, с вас взыскали долг. Что я могу поделать? Со всякого человека, если он должен, взыскивают долг. С нас тоже. Думаешь, у нас нет долгов?

— Мы задолжали потому, что у нас всю землю забрали.

— Ну, вот видишь: если забрали, так зачем вам конь? Да не в этом дело, а в том, что у меня нет денег. Ты думаешь: раз я пани, так у меня пятьдесят золотых готовые лежат под подушкой?

— Пани! — Авдотья выпрямилась. — Пусть пани вспомнит! Тогда пани пришла к моей матери, и слезы катились из глаз пани. . . И моя мать сразу сказала: «Хорошо». А пани сказала: «Будьте спокойны, я сделаю все».

— К чему ты это говоришь? Разве твоей матери я не заплатила?

— Пани заплатила.

— Так чего же ты хочешь? Ты приходишь ко мне и все выпрашиваешь и все выпрашиваешь. . .

Жонсницкая стояла, откинув занавеску.

Авдотья увидела, что лицо ее бледно от негодования, и испугалась.

— Надо иметь совесть... Все вы такие... Если с вами обращаешься по-человечески, не кричишь на вас, не гонишь вас, то вы уже хватаете человека за душу.

— Пани, да разве я...

— Иди, иди, Авдотья! У меня от тебя разболелась голова. Работайте себе с Петром — и все будет хорошо.

Авдотья пошла к забору прямо через прошлогодние грядки, чтобы не встретиться у кухни Паулину или Касю. Она была так несчастна, что Кася, увидев ее лицо, фыркнула бы от удовольствия.

Она шла через лес, забыв разуться. Широким шагом, с пестрым платком в руке.

«Ты приходишь ко мне и все выпрашиваешь» — стучали в мозг слова. И от этого становилось так стыдно, что хотелось голову разбить о дерево.

Разве она ходила к пани Жонсницкой выпрашивать? Она ходила как к солнцу, как к радости, как к прибежищу, гордая, что может говорить со своей пани.

Солнце заходило, становилось холодно. Пески сразу стали тяжелыми.

3

Осадники жили за коленом Буга, у дубовой роши.

С осадниками получилось так: в первые годы после образования польского государства об осадниках в Орхове никто ничего не слышал. Потом вдруг к казне отошло большое запущенное имение Здановского. Владения Здановского примыкали к орховским, и орховцы надеялись, что, согласно обещаниям правительства, земля будет распродана в рассрочку окрестным крестьянам. Но имение перешло к казне и тотчас же оказалось в руках переселенцев из Западной Польши. Осадники получили по пятьдесят-шестьдесят моргов той самой земли, которая, в сущности, искони была орховской, и, кроме того, всякие вспомоществования от казны.

Дома свои сначала они поставили в деревне широко и свободно. Черепичные крыши подняли над домами, высокими заборами обнесли дома, хороший скот пригнали издалека. Каждый имел большой польский воз, беговые дрожки, а то и кабриолет.

Ходили они господами, и перед ними снимали шапки.

Добра от совместной жизни не получилась. Седой Кошульский носил всегда нагайку. Думали: для собак; но скоро узнали: для людей. Бил он орховцев, молодых и старых, а когда избил до-смерти солдатку Арцыменю, вдруг запылал его дом. Потом кто-то сломал ребра Кошульскому молодому. Это случилось ночью, и Кошульский не мог указать врагов, хотя и был убежден, что это дело Петра Гагалюка. Через неделю запылали еще два осадничьих дома.

Приехали жандармы. Целая сотня. Жандармы два месяца жили в деревне и хватили людей. А к зиме осадники выселились из деревни, и с тех пор стоят их хутора у дубовой роши.

Стоят в зелени. По заливным лугам пасутся коровы, с пасек в поля улетают пчелы, гуси у них гогочут, белые и жирные. Женщины у них рожают каждый год. У осадников сельскохозяйственные машины и батраки, потому что своими силами не всякий может справиться с большим хозяйством.

Рядом с Орховом — польские деревни Орхувэк и Сосницы. Между жителями Орхувка и Орхова случались ссоры, но никто не считал, что поляки Орхувка или Сосниц отличаются чем-нибудь особенным от орховцев. Другое дело — осадники. Их ненавидели не менее помещиков, а может быть, и более.

Ненавидели и все же работали на них. Ханна Гагалюк батрачила у солтыса Рыздзевского.

О том, что в деревне секвестраторы, она услышала днем и хотела бежать домой, но Рыздзевская сказала:

— Не делай глупостей! Чему ты поможешь?

Рыздзевская была беременна и гордилась перед орховскими женщинами своим животом.

— Может быть, пани, там что-нибудь случилось?

— Я тебе говорю: не делай глупостей! Домой Ханна попала в сумерки. Под навесом, где стояла телега, было пусто, коровник распахнут, свинарник тоже.

— Господи, всё взяли!

— Всё, — подтвердил Петр.

Он лежал на лавке, укрытый тулупом.

— Картошка в каганочке, — сказала Авдотья.

— Что же нам делать? У кого еще забрали?

— У всех забрали.
— А к Хорукам приходили? — тихо спросила Ханна.
— И к Хорукам приходили. Чем они лучше других?

— А все-таки коня у них оставили, — заметил Петр. — Должно быть, твой Семен постарался. Он уж и по-русски разучился говорить. Встретил его вчера, говорил со мной по-польски.

— Он хорошо говорит по-польски.
— Ну и что с того, что хорошо? — привстал Петр. — Ты знаешь, что он мне сказал? «Пилсудский был великий человек! Был бы жив Пилсудский, жили бы спокойно и богато». Вот что сказал твой Семен!

— Что ж с того, что он сказал? Он только что вернулся из армии. В армии учат так думать. Когда Арцыменя пришел из армии, он тоже так говорил.

— А вот я не хочу, чтобы так говорили. Если кто на это внимания не обращает, то я не хочу.

— И так плохо на сердце, а ты еще ругаешься... У Касьяника были?

— Были.

— Взяли?

— А почему могут не взять? Взяли.

— Они же держались только коровой!

— Катерина в ногах валялась, — вздохнула Авдотья.

Петр опять лег. Стало тихо. В тишине слышно было дыхание ветра. Ветер летел, ударял в крышу и шумел. Ханна копошилась в своем углу.

— Дай ты мне еще раз башмаки! — попросила она вполголоса невестку.

— Зачем тебе? — вмешался Петр.

— А я пойду.

— Куда пойдешь?

— На кружок пойду.

— Больше на кружок не пойдешь.

Ханна обтирала тряпкой башмаки. Подранты набился песок; она достала щепочку и щепочкой выковыривала песчинки.

— Больше ты на кружок не пойдешь. На кружки они заманивают, а сами бьют нас в самое сердце.

— Ксендз — хороший человек.

— Ты песни с ним поешь русские или польские?

— Ну, польские...

— Не хочу я, чтобы ты пела польские песни.

— Не кричи, — проговорила Авдотья. — Пускай идет! Чего тебе?

— Поставь башмаки на место!

— Не поставлю.

— Если хочешь итти, иди босиком. Раньше ходила босиком и теперь иди.

— Там же теперь Семен, — напомнила Авдотья.

— Поставь, говорю, башмаки!

— На, бери свои башмаки! — крикнула Ханна. Схватила платок и выбежала за дверь.

Петр сел на лавку и стал закуривать. Ему стало стыдно: накричал на Ханну! Девка и так замучена, не надо было кричать... А он, Петр, разве не замучен? Пусть замучен, а кричать не надо было. Смесь из махорки, высушенных дубовых листьев и сухой толченой хвои драла горло и нисколько не облегчала груди.

Авдотья подмела хату и положила подушку рядом с подушкой Петра.

— Что ты с ней драку затеял?

— А ты уж и заступница!

Петр вытянулся на лавке и стал думать о Семене Хоруке, который пригласился Ханне, и о Трофиме Хоруке, его отце.

В нищем Орхове Хоруки были одним из самых нищих. Когда Семен вернулся из армии, — не простым солдатом, а с званием, причем говорил он теперь по-польски лучше поляков Витковичей, — Трофим решил женить его так, чтобы взять приличное. Петру он сказал:

— Уважаю тебя, а сестру твою не позволю. Если приму — все подохнем, и Ханна подохнет.

Хотя Хорук был прав, Петр обиделся.

— Я не сватаю, — сказал он, — но в девка самая ладная в деревне.

Трофим махнул рукой:

— Бабья красота... С ней тепло три дня, а потом что?

— Хоть и три дня, а пусть люди узнают свое счастье.

— Прости, Петр Гаврилович!

— Бог с тобой!

«Что ж ей ходить за Семеном, отец отказал? — думал Петр. — Срам один — отказали! А она ходит и льется».

Потом Петр стал думать о земле. Из трех моргов земли у Петра остался один. В страшную зиму, когда падал скот и умерали от голода люди, приехал в Орхово казенный человек и предложил закладывать землю. Сначала закладывать боялось, но он растолковал так, что все можно выкупить землю из залога будет денег легкого. Многие заложили. И Петр заложил

жил два морга. Однако никто не выкупил своей земли. Землю выкупили осадники.

Кроме общих крестьянских бедствий, в последние годы появилось новое бедствие.

Была белорусская школа. Закружили белорусскую школу...

Говорили дети по-русски. Теперь хотят, чтобы они говорили только по-польски...

Петр повернулся лицом к стене. Он знал:

«Россия — там, за этими лесами и полями». — И это знали все.

И это было самое страшное для польского государства! Русским даже не разрешали называть себя русскими! Они были местными, тутэйшими.

Мысль за мыслью возникала у Петра о России. И, как всегда, эти мысли вносили свет и надежду.

Она существовала, Россия. Там люди говорили по-русски, пели русские песни, приезжали в город и в городе говорили по-русски, приходили к начальнику и с начальником говорили по-русски, потому что начальник был такой же, как и все, русский человек.

Она была большая, Россия, она была необъятная. Ее все боялись.

«Еще как ее боятся!» — подумал Петр и перевернулся на спину. И почувствовал гордость от того, что «ее» боятся, и от того, что он русский.

Он, Петр, не упадет на колени перед осадниками. Он пальцами поднимет свою землю и засеет ее.

Ветер продолжал шуметь в соломе, с каждой минутой усиливаясь. Уже не только шумела солома на крыше, не только позванивало стекло в раме, но несея и густой голос сосны с обрыва.

Это был ветер из-за Буга, с юга.

— Эге! — сказал Петр и вышел во двор. Он не узнал земли.

Час назад была зябкая, скучная весна, зябко суетились птицы, ожидая заморозка. А сейчас такое широкое тепло лилось на землю, что Петр расставил ноги, поднял голову и стоял, охваченный тоскливыми и вместе радостными чувствами.

Это было настоящее тепло. Петр знал, что сейчас вся земля открывается навстречу теплу. И еще большая тоска охватила его, но не мертвая, а смешанная с какой-то сладостью.

Из-за Буга вылезала луна. Прямо из воды, широкая, молчаливая, светлая.

Такая вокруг была весна, такая огромная над водой лежала луна, все еще мокрая и неуклюжая, такие пробуждались от теплого ветра в человеке силы, что Петр сказал:

— А нехай бьют меня... и я буду бить... Буду бить, пока жив... — И пошел в хату.

Луна смотрела в окно. Полоса света упиралась в печь. На лавке под тулупом спала Авдотья. Свет от луны падал на ее лицо, худое, но хорошее.

Петр лег под тулуп. Жена во сне повернулась к нему и прижалась головой к плечу.

4

С костельного холма виднелась часть деревни, забужские просторы, сейчас захваченные водой, роши, погруженные в темную весеннюю воду, железнодорожный мост, много неба.

Заря погасала. Квакали лягушки. Квакали за греблей, внизу в ольшанике, в больших теплых лужах у реки.

В толпе певцов Ханна заметила Семена, и хотя отношения с Семеном у нее были неясны, стало легче на сердце, и обиды на брата прошла.

Квакали лягушки. Красный закат лежал за костелом. Пахло гарью: Регина, господинья ксендза, жгла в углу сада прошлогодние листья.

Не так еще давно Регина была орховской учительницей, все звали ее «пани научителька», но потом с ней случилось несчастье, она уехала из деревни, а когда вернулась — стала служить экономкой у ксендза.

Она покашливала и посматривала на певцов. Высокая, тонкая, в черном платье. Дверь скрипнула. Ксендз вышел на крыльцо, сел на ступеньки, кивнул своим хористам и заиграл на скрипке.

Должно быть, он встречал весну. Песни его были легки и далеки от того, что произошло утром в деревне. Потом Варвас заиграл знакомые песни, то печальные, то веселые. Хор начал подпевать. Первой вступила Ханна. Она запела, и куда-то ушли несчастья и любовное горе.

А закат погасал. Дым от костра посиел. Изредка над кучей блистал огонь.

Регина подошла ближе и вмешалась в толпу.

Она тоже подпевала, но голос у нее был неверный; верно она брала только не-

сколько нот и эти несколько нот старалась прокричать как можно громче.

Потом разучивали новые песни, потом Арцымена, щуплый русский Арцымена, у которого Кошкульский забил насмерть молодую жену, расспрашивал о том, как живут рыбы.

Варвас принес том Брэма и читал о рыбах. Читал хорошо, приятным голосом. Певцы, как всегда, просили читать еще. Это был совсем другой мир: музыка, песни, чтение. Не было ни секвестраторов, ни обмана, ни насилия. Печальная и ласковая, Ханна стала искать глазами Семена. Почему он так далеко от нее? Стал бы ближе! И вдруг помертвела: Ольга Мазяк разговаривала с Семеном. Все знают, что с Ольгой осенью случился грех; теперь она бледная, и губы без кровинки. Она знает, чей Семен, и разговаривает с ним и смеется ему. Правду говорят, что там, где касается хлопца, нет ни дружбы, ни чести. А Семен слушает!

В сердце Ханны вернулись секвестраторы, беды, неправда. Не хотелось больше ни петь, ни слушать.

— Пане ксенже, пшепрашам, — сказала она, — я хочу спросить, нельзя ли подать заявление о том, чтобы вернули скотину и дали отсрочку? Если б это еще было осенью, а то весной!

Варвас положил книгу рядом со скрипкой и согласился, что приезд секвестраторов — большое несчастье. «Но не будем падать духом!» Он сказал эти слова громко, и Ханне и всем показалось, что ксендз знает выход, что, быть может, он и имя того человека, которому надо писать заявление, знает.

— То, что случилось с вами, тяжело. Но я ведь много раз говорил с вами о несчастьях. Они неизбежны. Все люди до поры до времени испытывают бедствия. Бедствий на земле так много, и природа возникновения их такова, что, сколько бы вы ни боролись с ними в прямой войне, сколько бы ни уничтожали, их не станет меньше. Наоборот, они будут расти и расти. Я вас так все время учу, не правда ли?

— Так, — покорно согласилась Ханна.

— Помните притчу, которую я вам рассказывал? Пошел на пасеку неопытный пчеловод, на него напала пчела, он стал отмахиваться. Почувяв опасность, налетела вторая, пятая, сотая... Пчеловод с ужасом повалился на землю, а на него налетали и налетали, жалили и жалили рой за роєм...

Но умный пчеловод наденет сетку и в сетке опокойно пойдет к самым буйным пчелам.

— Так пойдет, — сказала Ханна, глотая слезы. Ей казалось, что Варвас не будет на этот раз говорить притчами, а скажет ясно и просто: «Надо написать заявление».

— Каждый человек должен добыть себе такую сетку против несчастьей. Нелегко ее сделать, но это — единственное спасение. Попробуем же сплести несколько ячеек. Кто вам принес несчастье? Налоговые чиновники. Среди налоговых чиновников работают люди, которые понимают свое маленькое дело и больше ничего. Это бывает не только среди чиновников, но и среди ученых. Ученый посвящает своему делу жизнь, а остального не замечает. Так устроен человек. Сидят чиновники в канцеляриях и видят цифры. Цифры для них — жизнь государства. Коровы ваши для них не коровы, а цифры. Лошади тоже цифры. Да и вы цифры. В такой-то графе у них цифра «5», а должно быть «500». Вот они и добывают эти нули. Даже самое лучшее государство есть государство, то есть источник того, что кажется людям несправедливостью. Помните великое указание в евангелии: кесарево — кесареви?

Ханна сказала глухим голосом:

— Мой брат не вытянет. У нас забрали телегу, плуг, корову, сбрую. Свинья была. На свинью все мы очень надеялись. Хлопец колбасника из Влодавы сел на нее и заколол. А когда ее взвалили на подводу, брат слышал, как покупатель сказал, что такая тощая свинья ни к чему. Но ведь к осени мы ее откормили бы...

— Если мы будем держать в памяти того молодца, который заколол свинью, и того молодца, который увел корову, мы всегда будем несчастны. Потому что это действительно беззаконие. Но кто приходил к вам, Ханна, кто колот вашу свинью? Колбасник. Повидимому, Станчик из Влодавы, Станчик известен тем, что его отец бедствовал, а он разбогател на колбасе. Он выстроил два дома, завел автомобиль. Жадный, жалкий человек! Человеческая жадность и глупость — как гроза, как наводнение, как землетрясение. Это стихии, которые проявляются через человека. Так надо относиться к ним. Когда гром ударит в вашу хату, разве вы будете стоять перед своим несчастьем и распалаться гневом и ненавистью? Вы будете думать о

том, как поставить новую хату. Вот о чем будут ваши заботы. Я думаю, заявление можно написать, но его не стоит писать, потому что это будет все равно что писать заявление на молнию. Надо думать над тем, как устроить теперь, после удара молнии, свою жизнь.

— Что же можно придумать: земли нет и скота нет!

— Будем надеяться на ту силу, которая управляет нами.

В сумерках лицо Варваса казалось белым пятном. Кто-то кашлянул. Это Семен кашлянул. Голые ноги Ханны застыли.

— Пан ксендз прав, — сказала она, — не надо приходить в отчаяние. Очень некрасиво, что мы задержали пана так долго!

Варвас стоял черный и высокий. Около него лежали книга и скрипка; левее, над кустами, лежало серое тонкое облако. Большая звезда пробивалась сквозь серую фаянсовую пелену неба. Ханна видела, как Мазяк, выходя из калитки, оглянулась на Семена. Ханне даже показалось, что она улыбнулась так, как улыбалась своему Ткачу из Старых Лядов.

«Неужели Семен пойдет за ней?»

Семен пошел за Мазяк. Правда, он шел далеко от нее, но в ту же сторону.

«Сразу же пошел! Что ж это такое?»

Ханна побежала, схватила Ольгу за руку, сказала:

— Тепло... как! А что мне тебе, Ольга, сказать надо...

И, как только спустились с холма, сразу повернула в переулок. У хаты Давыдзика собрались бабы. Сестра Авдотьи, жена Мартына Давыдзика, стояла за плетнем и кричала своим низким голосом:

— Все вы смотрите, все прощаете, все милуете... Касьяничиха валялась в ногах... Я вцепилась бы зубами в эти ноги!

— А почему же ты не вцепилась?

— Потому что у меня проценты были уплачены.

— Еще бы не уплачены, когда ты ксендзу носишь молоко, творог, масло!

— Хорошее, потому и берет.

— И у других не плохое.

Голоса доносились все тише. Ханна выпустила руку Мазяк.

— Что ж ты, Оленька?.. Смотрю я на тебя, а ты смотришь на Семена?

Мазяк остановилась.

— Я смотрю на Семена? Если хочешь знать, твой Семен сам привязывается ко мне.

— Чего Семену привязываться к тебе? — старалась спокойно говорить Ханна. — Думаешь, он не слышал про тебя?

— А что он мог про меня слышать?

— Сама знаешь, — бледнея, сказала Ханна.

— Врешь ты, и все вы врете! — крикнула Мазяк. — А еще подруга! Очень мне нужен твой Семен!

— Вот я и хотела тебе сказать, — говорила задыхающимся голосом Ханна, — и хотела... Ты и помни...

Она прошла вдоль заборов, выбралась на холм и остановилась. Все было плохо.

Она пошла назад мимо костела, мимо дома Варваса.

ВТОРАЯ ГЛАВА

5

В юности Варвас не верил в бога.

А семья его верила. И знакомые семьи верили. И костел стоял против сквера и Пенкной улицы — огромный, старый костел. И ксендз был знаком с детства, а веры не было.

Варвас страдал: не было бога, не было бессмертия. Страдание, несправедливость, хаос, смерть!

Он не мог представить себе хоть сколько-нибудь сносный мир без бога. Если в начале был хаос и в конце будет хаос, то какая цена добру, любви, каким-то временным проблескам гармонии?

Эти старые, общеизвестные мысли он переживал впервые, и они были для него убедительными и страшными.

Он ненавидел бога за то, что его не было. Ненавидел и все время думал о нем.

Прочел множество книг. Один мыслитель опровергал другого. На каждую мысль можно было придумать противоположную.

Варвас чувствовал себя несчастным. Он видел людей, бредущих в костелы, — и презирал их. Слушал атеистов — и презирал их.

Брал палку и уходил за город. По Луковскому шоссе ходил, по Брестскому. Пешеходные тропинки извивались между пирамидками ремонтного щебня, под тополями, вязами, березами. Крестьяне трудились в полях, то шоссе проезжали телеги, изредка автомобили. Варвас шагал километр за километром, иногда впадая в настоящее отчаяние.

А люди жили и не чувствовали ужаса от бессмысленной своей жизни.

— Эй, пане, пашешь? — спрашивал Варвас крестьянина.

Крестьянин бессмысленно шествовал по полю, лошадь его бессмысленно переставляла ноги и поматывала головой. Бессмысленные слепни впивались в нее. И бессмысленно переворачивалась под плугом сероватая, сухая, скупая земля.

По человеку катился пот.

Крестьянин вытирал ладонью пот и смотрел на Варваса.

— Что, пане, будет урожай или не будет? — спрашивал Варвас.

— Как пан бог захочет.

Крестьянин понулал лошадь. Варвас шел дальше своей дорогой.

Все было бессмысленно и возбуждало злобу. Самую большую злобу возбуждала смерть.

Она была рядом. Что бы Варвас ни делал, смерть была рядом. Варвас ловил стрекозу, ударял ее прутиком — и сложное бытие стрекозы превращалось в смерть.

Он забрасывал в реку удочку. На удочку попадалась щука, большая, зеленоватая, скользкая. Он бросал ее на луг и не верил, что она умрет. Но щука умирала. Необыкновенно быстро для своего большого тела.

Варвас входил в воду по колена, по грудь, по шею, по нос. Еще шаг — и вода кроется ноздри. . .

Несколько вздохов — и вот она, так называемая смерть!

Смерти так много, она побеждает так легко, что непонятно, как может существовать жизнь.

Сердце Варваса бьется, но оно может остановиться в любую минуту.

А солнце? Разве не проще для него не существовать?

Только тупицы могут надеяться на ежедневное появление солнца!

Завтра солнце не поднимется!

Варвас ложился спать, убежденный в том, что солнце не поднимется, что сердце перестанет биться!

Разве не безумная смелость, не бессмысленная, тупая доверчивость — ложиться ежедневно спать?

Он спит, не видит, не слышит, а мимо него, через него несется вселенная. Она тронет его своим лепестком, и от него останется только пепел.

Варвас боялся засыпать. Он сидел на

постели, поджав ноги, и смотрел в темноту.

В доме на разные голоса храпели. Громом гремели шаги редких пешеходов по улице.

Варвас прикладывал руку к сердцу. Оно еще билось. Он закрывал глаза и вдруг с ужасом просыпался.

Ему было так невыносимо, так тоскливо и скучно, что все чаще появлялась у него мысль о самоубийстве.

Он забросил учебу, целыми днями стоял у печи, у стены, у окна или лежал на постели и не то думал, не то не думал.

Он превращался в болезненного, тощего юношу.

Мать повела его к врачу. Варвас язвительно улыбался, слушая врача. Говорил:

— Ну и что с того? А зачем? Нет, по моему, это излишне. Я не боюсь болезни. . . Ах, я могу умереть! Вы думаете, для смерти непременно нужна болезнь?

Мать плакала. Доктор сохранял важность. При прощании он пошептал матери несколько слов. Мать со страхом смотрела на него. Должно быть, доктор послал Варваса к другому доктору — к психиатру.

И вдруг Варвас выздоровел.

Выздоровел чудодейственным образом.

Брел весенним вечером по Стодольной улице. Это была пустынная улица. По левой ее стороне шумела каштановая аллея. Варвас раньше катался по ней на велосипеде. Сейчас он брел по правой стороне, по каменному тротуарчику, разглядывая сточную канаву.

Ветер был нежен. Гудели майские жуки. Над городом пылала заря.

Варвас думал, как всегда, что ему нечего делать в мире, что он не хочет принимать участия в тупости, которую именуют жизнью. Он думал написать сочинение о том, что недостойно жить. Размножить в пяти экземплярах, распространить среди гимназистов, послать директору и ксендзу.

Придумывая обращение к читателям, увидел у сточной канавы корову.

Корову белую с черными пятнами. С веревкой на шее. С высокими рогами. Она стояла и щипала между камнями траву.

И тут произошло с Варвасом чудо. В него точно хлынул водопад. Вернее — светопад. Шумящий, всесокрушающий поток света. В светопаде, сокрушаясь в прах, неслись обломки всех его мыслей, и сам он

не то несся, не то через него все это несло.

Он смотрел на корову изумленными глазами.

Он обошел ее. Корова взглянула на него и продолжала щипать траву. Она смахнула хвостом несколько мух.

Варвас трепетал от счастья. У него вдруг прорвалась не мысль, нет, а какое-то постижение:

«Вот корова, существо с рогами, выменем, полным молока, жующая траву. Не может быть это существо так, ни с того, ни с сего! Пан бог существует, раз существует корова. Бог, бессмертие, гармония!»

Никогда он не испытывал подобного сокрушительного счастья. Он перепрыгнул через канаву и пробежал несколько шагов. Оглянулся: корова щипала траву!

Он подпрыгнул, перебежал на аллею и прислонился к каштану. Велосипедист промчался мимо него, загорелый, голоногий. На лакированных щитах велосипеда играла заря. По чесучевой рубашке велосипедиста висел шарф. Шарф купался в потоке света.

Варвас пошел вприпрыжку, легкой походкой. Он захотел догнать велосипедиста и побегал. На него залаяла собака. За чугунной решеткой гуляли гимназистки-пансионетки. За пансионом гудел паровоз.

С неослабевающей силой Варвас помнил: как при взгляде на корову он не то что подумал, но вдруг постиг, как аксиому, без доказательств, бога, бессмертие, гармонию.

До этого он был замурован в камень. Ослепительный удар молота раздробил камень. Все осыпалось.

Новорожденный Варвас вылез в мир.

Новый мир сверкал и благоухал. Новый мир был полон счастья.

Варвас смотрел на черный, грязный паровоз, на грязного машиниста, высунувшегося из будки, и переживал восторг от того, что паровоз катится. Улица была милая. В домах жили милые люди со своим счастьем, со своими болями. Но боли казались сейчас Варвасу не болями.

Вышел в поле. Солнце село за рощу. Облака стали темнокрасными, потом тусклыми. Но и в тусклости не было смерти. Сероватые, перламутровые, полные нежности тона охватили небо. И трепеща и вздрагивая, на западе поднималась звезда.

Так через неуклюжее, медлительное и даже малоумное животное, корову, Варвас прозрел.

Он стал много есть и пить. Попрежнему вскакивал на велосипед и, придя из гимназии, учил уроки.

Через год окончил гимназию. Он мог стать врачом, офицером, финансовым служащим, учителем, но, чтобы ничем посторонним, кроме человека и человеческой души, не занимать своих мыслей, он стал ксендзом.

6

Когда Варвас приехал в Орхово, в Орхове только что отстроили костел и дом ксендза. Теперь поляки из Орхувка и осадники из Орхова могли молиться у себя по соседству, а не ходить за двенадцать километров в Сосницы.

Правда, сосницкий ксендз прославился ревностью к вере. После того как Орхово стало Польшей, он с несколькими преданными женщинами отправился в старую православную церковь в Старых Лядах. Поп Феодосий встретил его на паперти.

Ксендз оттолкнул его. Феодосий распростер руки, но ксендз уже проскочил мимо.

Женщины вбежали в церковь за ним. Они увидели ненавистный алтарь. Ксендз, подхватив скамью, метнул ее в царские врата.

Вбегали еще преданные женщины, срывали со стен иконы, швыряли их за окна, дробили ногами на глазах подавленных прихожан.

Ксендз стоял на амвоне и молился, воздев руки. Потом, придвинув алтарь к царским вратам, стал наваливать под алтарь и на алтарь богослужебные книги. Женщины волокли скамьи и табуреты, обливая все керосином.

С вдохновенным лицом ксендз вынул спички.

Медленно выходили католики из церкви и вышли только тогда, когда занялся алтарь.

Сосницкий ксендз был яростный ксендз, но все-таки ходить к нему за двенадцать километров было далеко.

Для поляков Орхувка и для осадников поставили это стройное кирпичное здание на вершине холма над Бугом, над железнодорожным полотном и над деревнями. Потому то с колокольни костела виднелись не только Орхово и Орхувек, но и Сосницы, и Лозици, и Старые Ляды среди гречишных и картофельных полей.

Первую проповедь Варваса прихожане слушали с удивлением. Из проповеди явствовало, что Христос — веселый, полный жизни и радости бог. Христос ходил по солнечной стране, плавал то по бурному, то по умиротворенному озеру, бродил среди виноградунов, взбирался на горы, поощал свадьбы — и все это с радостью, чуть ли не с ликованием.

Это показалось странным, люди с беспокойством переглядывались. Они привыкли к тому, что Христос скорбит, а не радуется. Недоумение возросло, когда прихожане столкнулись с ксендзом по своим христианским нуждам.

Осаднику Карпиньскому потребовалось окрестить внука. Отправляясь в кабриолетике к ксендзу, он прикинул, сколько с него возьмут. Ксендз, новый городской человек, по мнению Карпиньского, должен был заломить. Может быть, тридцать пять, а может быть, и все сорок золотых.

Варвас принял его в кабинете и принял так вежливо и ласково, что Карпиньский счел уместным, прежде чем говорить о крещении внука, заговорить о новом костеле и о том, что этот костел немного напоминает старый костел в Рыпине, в который Карпиньский ходил молиться мальчишкой.

Варвас сказал, что не знает рыпинского костела, но что очень хорошо, если у человека пробуждаются к дому молитвы светлые чувства.

На вопрос о том, сколько будут стоить крестины, Варвас ответил:

— Дадите, сколько можете.

Карпиньский испугался: повидимому, ксендз хотел так много, что стыдился называть сумму.

«Новая городская штучка» — подумал Карпиньский. Злость придала ему смелости, и он сказал торопливо:

— Меня, пане ксенже, очень устроили бы двадцать золотых.

К его удивлению, Варвас совершенно спокойно, как будто дело шло о чем-то постороннем и его мало касающемся, согласился:

— Хорошо. Пусть двадцать золотых.

Карпиньский гнал коня и посмеивался. «Не на такого напал. — думал он. — Я не сробею от сутаны вашего святейшества». Но тут же с сожалением подумал, что мог бы дать не двадцать золотых, а пятнадцать, на что, повидимому, ксендз, не ожидавший такой смелости, согласился бы так же безропотно, как и на двадцать.

Он рассказал жене историю с ксендзом, и завтра ее знали не только на хуторах, но и в Орхувке.

За следующие крестины Варвасу предложили пятнадцать золотых. Потом он стал получать по пяти.

И так по всем требам. Одни думали, что это хорошо; другие сомневались, хорошо ли. Во всяком случае, подобная дешевизна казалась странной.

Сосницкий ксендз узнал про непостижимые суммы в пять золотых. Он решил, что Варвас — жесточайший и жаднейший человек, который без жалости будет искоренять своих конкурентов, и объявил ему войну.

Встретив преданную женщину, он высказал мысль, что все крещенные за пять золотых, в сущности, как бы некрещенные, ибо, по всей вероятности, только сотая часть святого обряда совершена над ними.

Слова сосницкого ксендза внесли смуту в умы. На крещенных Варвасом стали смотреть как на некрещенных и не знали, что с ними делать. Крестить вторично? Но разве можно человека крестить дважды?

Девушки боялись венчаться в Орхове. Вдруг муж когда-нибудь скажет: «Иди от меня к дьяволу, вот привязалась ко мне! Живет со мной невенчаная, как потаскуха, а лезет туда же...»

Поэтому к Варвасу обращались бедняки; зажиточные отправлялись в Сосницы.

Но Варвас об этом не грустил. Орхово вдохновляло его. Леса, холмы, река — все было полно силы. Здесь по-настоящему свободно и сильно, как никогда в городе, рождались у него мысли.

Он записывал их в тетради и видел, что у него готовится целое исследование по самому нужному и сложному вопросу современности — по вопросу о так называемом кризисе современной культуры.

7

Регину Токарскую, бывшую орховскую учительницу, Варвас встретил во Влодаве на берегу Буга.

Высокая, белокурая, уронив руки вдоль тела, она смотрела в зеленоватую глубину, как человек, который собирается туда броситься.

Увидела ксендза, узнала, поздоровалась. На вопрос о здоровье ответила, что здоровье плохо и дела плохи. Она сказала это просто и спокойно, повидимому, не для

того, чтобы вызвать сочувствие, а как говорят люди о вещах для них естественных и привычных.

Ни страданий, ни бедствий Варвас не признавал.

— Я не верю, что ваши дела плохи, — сказал он.

Бывшая учительница удивилась ясной улыбке Варваса, ясности и твердости его тона. Они долго стояли и разговаривали о земных бедствиях и о земном счастье, и когда Варвас стал прощаться, Регина сказала:

— Я провожу вас немного.

И пошла с ксендзом по гребле.

Остались позади город, предместье. Буг. Кочковатое болотце лежало по стороннему греблю. Вороны летели над болотцем. Ветлы шелестели листьями.

— Мне не очень мила эта дорога, — заметила Регина. — Я отправлялась некогда в Орхово с надеждами, а уехала оттуда в отчаянии. Но не стоит об этом вспоминать. Впрочем, ни о чем не стоит вспоминать. Меня жизнь повернула таким углом к себе, что все, что ни происходит со мной, все плохо.

Однако она ощущала желание говорить Варвасу о своей жизни. Должно быть, чаша несчастий переполнилась, и неожиданная теплота в малознакомом человеке расстрожила ее сердце.

— Я только что вернулась из Белостока... Послушайте, что у нас делается... Моя племянница способная девушка, отлично окончила школу. Родители хотели сделать из нее учительницу, так сказать, работницу на народной ниве. На экзаменах она решила все задачи, написала все диктовки, ответила на все вопросы. После каждого экзамена прибегала ко мне счастливая, разгоряченная, и я говорила ей: «Так, так, все правильно, Яня. Молодец, выдержала!» В положенный день она отправилась в гимназию за ответом. Мать готовила праздничный обед. Вернулась Яня с распухшим от слез лицом, со шляпкой на затылке... «Не может быть!» — закричал отец. Яня упала на постель и рыдала. Отец побежал в гимназию. Не приняли! Имя и фамилия «Янина Токарская» были выписаны крупными буквами на листе провалившихся и непринятых. Вот разговор брата с директором: «Не принята, не принята, пане Токарский!» — «Как же это может быть, пане профессоже?» — «Слабы знания!» — «Как же слабы, когда

всеобщее одобрение?» Брат умолял меня пойти и узнать, в чем дело. Я пошла. Вот мой разговор с директором: «Вы преподаватель, как вам не стыдно — вы приходите, просите! Но ведь, если я не ошибаюсь, она не ваша дочь?» — «Нет». — «Тогда, быть может, ее отец — офицер?» — «Тоже нет». — «Чиновник или герой освободительной войны?» — «Пане профессоже, вы прекрасно знаете: ее отец — рабочий, ткач на фабрике Сокола». — «Так чего же вы хотите? Вы хотите, чтобы эта девушка обучалась вместе с детьми героев?» Действительно, чего я хотела? «Вы правы, — сказала я, — хотя моя племянница полька и живет в польском государстве, но это недопустимо». Я ушла ни с чем. У нас, пане ксенже, так мало гимназий, что люди не могут учиться. Вы знаете, на народное образование у нас отпускают два миллиона золотых, а на церковь — двадцать пять.

— Я в этом не виноват, — заметил Варвас. — А что было дальше с вашей племянницей?

— Сейчас я скажу, что с ней было дальше... Я хочу сказать, что польское образование — это проблема. Бедных не принимают в правительственные гимназии, а в частных — дорого. В первом классе платят по триста золотых в год, а в последнем — по тысяче. Что должны делать родители, желающие дать образование детям?

— Это большие, но в свете тех идей, которые я вам высказал, не страшные проблемы.

— Не страшные проблемы? — Регина покачала головой. — Но ведь люди живут, и для них это страшно. Яня поступила в гимназию Штеймана. Штейман — еврей, когда-то, в русские времена, журналист. Последние двадцать лет — педагог. Двадцать лет существует в Белостоке его гимназия, редчайший случай для частной гимназии еврея. У Штеймана некоторый процент освобождала от платы за обучение. Яня надеялась попасть в это число. Гимназия Штеймана — номер триста три. Вы знаете, как гимназисты и гимназистки правительственных и уважаемых частных гимназий, например гимназии имени Сенкевича, гордятся своими погончиками! С какой заботливостью они пришивают их к рукавам! А учащиеся Штеймана не пришивали, а просто прикалывали погончики, чтобы снять при первом случае. Но Яня пришила. Гордая девушка пришла. Мать предупрежда-

ла: «Смотри, нарвешься!» И Яня нарвалась. Из-за этого номера у нее вышло столкновение с молодыми «христианами-стрельцами». Ее избили, а в результате Штейнмана вызвал в Брест попечитель учебного округа: «Что у вас происходит? Ученицы вашей гимназии на улице бьют поляков! Вы своим воспитанием разлагаете христианских детей!» Штейнман понял, что это смертельный подкоп, и молчал. «У вас слишком большой процент христианских детей». Штейнман не выдержал и пожал плечами: «Христианские дети сами поступают ко мне». — «Большинство ваших учителей — евреи!» — «Есть и христиане». — «Но недостаточно. Передайте гимназию христианину, в противном случае мы ее закроем». Штейнман до того был потрясен, что, уезжая, потерял свое пенсне, которое носил сорок лет. Яню, конечно, исключили. Вот социальная справедливость в Польше! Разве это человечно, разве это возможно? Ведь мы — самая гуманная страна Европы. Ведь мы на самом рубеже с такой темнотой, как Россия. Ведь мы должны гореть, как ясное пламя.

— Все это не страшно, — сказал Варвас. — Не страшно потому, что в основании жизни и даже всех ее так называемых уродств лежит гармония.

Он долго объяснял, почему в основании уродств лежит гармония. На Регину действовали не столько слова Варваса, сколько его голос и улыбка. Она поймала себя на том, что хочет быть убежденной Варвасом. Пусть он не прав. . . все равно, пусть!

Ее поразило своеобразие мыслей Варваса. Она не сводила с него глаз, он ей нравился. В самом деле, у него интересные мысли!

Дом Варваса стоял на холме рядом с костелом. С крылечка Регина увидела знакомый вечерний Буг и деревенские хаты. За домом шумел бор.

Все здесь возбуждало неприятные воспоминания. Впрочем, то новое, что сейчас получала она от Варваса, было сильнее горечи.

«Конечно, он неправ, — думала она, — но то, что он говорит, интересно, и с ним хорошо».

Варвас пригласил ее в кабинет. Приятная тишина — не отсутствие звуков (звуки сюда доносились: лай собаки, шелест ветра) — кабинет наполняла приятная, какая-то человеческая тишина.

— Как хорошо у вас! — сказала Реги-

на, перебирая книги. — У меня тоже когда-то были книги. . . Теперь у меня нет книг.

Поздно вечером отправилась она домой. В дороге она была счастлива. Мир Варваса и ее собственный существовали рядом, не мешая друг другу.

Ей так понравилось счастье, что в первый же свободный день она собралась в Орхово опять. Последнюю часть пути сделала лесом, чтобы никого не встретить, и никого не встретила.

Ксендз говорил с ней, глаза его сияли. Это был убежденный и счастливый от своего убеждения человек. И она снова почувствовала счастье, счастье от того, что ходит, подметает свою комнату и жует хлеб.

Посетив Варваса несколько раз, Регина поняла, что хочет быть с ним каждый день, что не может позволить Варвасу ходить одному по Орхову, что хочет кормить и поить его из своих рук, окутывать его своим дыханием.

8

Она окончила педагогический лицей. Но не могла получить место в школе, потому что школ в стране было не так много, чтобы ежегодно предоставлять места молодым учителям.

Она уже пришла в отчаяние и написала отцу во Влодаву, что все ее попытки не приводят ни к чему, как вдруг ей предложили преподавать польский язык в частной русской гимназии.

Получив работу, она ощутила прилив веры и благодарности за то, что живет. За то, что есть Польша, за то, что у ней. Регины, есть душа, молодость и надежды. И у Польши есть молодость и надежды. И все это, гармонично слитое, она понесет человечеству.

Она думала, что всякий учитель в Польше есть учитель. Но с первой же недели преподавания поняла, что это не так.

Учителя правительственной гимназии получали от двухсот пятидесяти злотых. Кроме того, бесплатное лечение и при проезде скидку со стоимости железнодорожного билета. Для них устраивали курсы повышения квалификации.

Это были уважаемые люди, которым помогали делать свое дело хорошо.

Для учителей русской гимназии высшей ставкой было сто тридцать три злотых. Никаких скидок на железнодорожные би-

леты, никаких санаториев, никаких курсов. Мало того, их даже не принимали в профсоюз.

К своему удивлению, Регина увидела, что она даже не может быть членом профессионального союза.

Денежное ее положение было плохо. Отец, старый и больной, жил во Владеве, в которой провел всю жизнь, и ему приходилось посылать и посылать.

А что можно было посылать?

Она получала то семьдесят злотых в месяц, то пятьдесят, то тридцать пять. В последние месяцы чаще всего тридцать пять.

И как она получала эти деньги!

В русской гимназии учились дети русских бедняков, плотников, столяров, печников, которым никак нельзя было доказать, что они не русские. Они платили скудно от своих скудных доходов, поэтому обычно касса гимназии пустовала. Когда поступали деньги, учителя бросались к кассе и делили между собой содержимое: кому — злотый, кому — полтора.

К весне стало ясно: над гимназией собирается гроза. Комиссия за комиссией являлась в гимназию и угрожала закрыть ее за недоброкачественную балку в потолке, за скрипящие половицы, за плохо выбеленные стены.

Регина, как полька, отзывалась с пылающим лицом в сторону представителя комиссии и говорила:

— Я полька... преподаю здесь польский язык. Мне непонятно... Это же причина несущественная... Здание старое, но оно простоят еще сто лет.

— Драгоценная пани, — говорил представитель, — что вы называете причиной существенной?

Он смотрел на нее такими ясными глазами, что у Регины пропадали все мысли. Она забывала сказать, что соседняя правительственная гимназия помещается в здании более скверном и что, следовательно, мнение комиссии лицемерно. Лицемерие же — самое отвратительное из того, что может позволить себе правительство.

Теперь почти все денежные поступления шли на ремонт помещения. Весной учителям выплачивали по десяти злотых в месяц и наконец совсем перестали платить.

Это опять было связано с приездом комиссии.

Новая комиссия обнаружила, что микроскоп не так хорош, как рекомендованный

министерством просвещения. И не так обставлен физический кабинет, и недостаточное пособий в кабинете по естествознанию.

Комиссия постановила закрыть гимназию, если немедленно не будет все так, как должно.

С членами этой комиссии Регина не разговаривала. Она знала только одно: гимназия, в которой она училась, не имела и десятой части того, что имела русская гимназия.

То, что делало правительство, было лицемерием, обманом, насилием. Нельзя было работать спокойно, и нельзя было спать спокойно. Она вдруг ощутила, что волна несправедливости катится по стране. И страшнее всего то, что волну эту нельзя было изобличить, нельзя было привлечь к ней внимание, нельзя было сказать: «Смотрите, катится!» Она катилась под знаком самой высокой справедливости.

Андрушкевич, преподаватель математики, сказал Регине:

— Польша сама не знает, чего хочет. С одной стороны, она хочет, чтоб у нее оставались колонии, где могло бы процветать рабовладельчество, — это и удобно и приятно для поляков. С другой стороны, она хочет, чтобы все были поляками.

— Да, да... возможно, — говорила Регина, чувствуя, что перед ней разверзается бездна.

Она продала пальто и книги и послала отцу деньги. И чтобы хоть немного загладить то, что делало польское правительство, приняла участие в сборе денег для гимназии.

Она была секретарем комитета по сбору денег. Вместе с двумя членами комитета она являлась к русским адвокатам и врачам и заставляла их жертвовать на гимназию.

Она была так возбуждена, глаза ее так горели, что один вид ее предупреждал: «Только посмейте не пожертвовать! Вы знаете, чем это кончится для вас?»

— Все будет в строгом секрете, — говорила она, получая деньги.

Но все-таки этих денег было мало, и решили особенно грандиозно устроить традиционный зимний вечер.

На этом вечере поставили пьесу Островского, декламировали Пушкина, пели Чайковского.

Русские, поляки и евреи заполнили коридоры и комнаты. Говорили по-русски. Даже поляки говорили по-русски. И, гово-

ря по-русски, говорили то, что им никогда не пришлось бы в голову говорить польски: говорили о России, о русской культуре и революции.

И когда появился какой-то подозрительный человек, Андрушкевич отозвал его в угол и спросил:

— Что вам здесь нужно?

Шпитцель сделал вдохновенные глаза, но Андрушкевич крикнул:

— Только, пожалуйста, не на этом веере! А то набью морду!

И шпитцель скрылся.

Буфет был дареный, его собирала Регина. Вечер принес три тысячи злотых. Микроскопы и прочие пособия приобрели. Регина торжествовала: справедливость была в таком же состоянии.

Но сам у Рeginу постигло несчастье.

Андрушкевич зашел к ней на квартиру.

— Мы обвинены в том, что развращаем поляков, — сказал он, — и эти развращаемые поляки — вы! Против гимназии хотят возбудить дело.

Регина поняла. Молча присела к столу и написала заявление об уходе из гимназии.

На прощанье Андрушкевич ее обнял, и она его обняла.

Ночью, лежа в постели, думала: правильно она поступила или нет? Может быть, она наносила вред Польше? Может быть, гоняясь за справедливостью к отдельным людям, она нарушала справедливость по отношению к государству?

Тут она вступала на землю неведомую. Тут она не могла прийти ни к какому выводу. Все было неясно и неопределенно на этой земле.

Она вспомнила, с какой любовью, с каким благоговением в первые месяцы своей работы она говорила ученикам о возрожденной Польше и ее правительстве.

Мой боже, она говорила с внутренним трепетом! Лицо у ней пылало, она помнит. Она хотела внушить любовь к правительству, которое, когда она получила работу, показалось ей вдруг чудеснейшим из правительств. Ибо все другие обманывали, а польское не обманывало. Потому что зачем ему обманывать? Зачем возрожденной стране обман? Возрожденные люди протягивают друг другу руки.

Она продавала свои немногочисленные вещи. Она даже продала свой тулупчик, потому что отец заболел и потребовались деньги на лечение. И осталась на зиму

в легком сереньком пальтишке, которое даже не было вполне демисезонным, а было скорее летним.

Она думала о том, что, быть может, ей придется просить милостыню. И это не было страшно, только было противно.

Но ей не пришлось просить милостыню. Ее назначили в польскую государственную школу в Орхово.

Она не поверила. Почему ее, когда о ней известно нехорошее?

Но бывают же у людей удачи. Если бы не было у людей удач, люди не могли бы существовать.

Регина приехала в Орхово. Тогда в Орхово школа помещалась в трех хатах.

В каждой классной комнате на стене против входа — белый польский орел на красном фоне. Над орлом — католическое распятие. По одну сторону орла — портрет Пилсудского, по другую — Ридз-Смиглы.

Полицейский начальник Сикорский советовал повесить еще портреты местного воеводы и куратора округа. Регина сказала: «Конечно, повесим», и не повесила.

Он был в курсе всех школьных дел, этот полицейский, и давал Регине советы. Кроме того, он внимательно следил за посещением учениками школы. Ежедневно он являлся к Регине и просматривал журнал.

Учеников было много, занимались в две смены. По вечерам пятилинейная керосиновая лампа коптела у доски. В тесной комнате воздух был невыносим. Парты для экономии делались во всю комнату, и когда ученик выходил к доске, он шагал по парте, толкал товарищей и поднимал шум и смех. Если же он пробирался на четвереньках под партой, то хватал своих товарищей за ноги, и тогда поднимался еще больший шум.

Это было скверно. Ну что ж, деревенская школа есть деревенская школа, и не в этом было бедствие Рeginы.

Уезжая в деревню, она думала: в деревенской глуши она будет делать то, что требует совесть.

В русской деревне она узнала, что русских нет. В деревне были тутэйшие.

Орховцы не были русскими, они были тутэйшими. Слово «русский» запрещалось произносить.

Всякий иностранец, взявший в руки паспорт обитателя восточных воеводств, мог убедиться в том, что Польша монолитное

национальное государство. Тутэйшие были как бы вроде поляков. Тутэйшие!

Сейчас же после приезда она получила инструкции. Она не успела еще прочесть их, как пришел Сикорский и спросил:

— Я слышал, пани получила почту. Нет ли каких-нибудь инструкций?

— Есть, но я еще не читала их.

— О, это ничего! — сказал Сикорский и прочел инструкции.

Отныне она должна была доказывать русским детям, что они не русские, а поляки.

В методичке указывалось, как это нужно делать:

«— Иванюк, — условно спрашивалось в методичке, — как твоя фамилия?»

Условный Иванюк отвечал:

«— Иванюк.

«— Ха-ха-ха! — добродушно и несколько удивленно смеется учитель(ница). — Дети, вы слышите: он говорит, что его фамилия — Иванюк.

«Весело заинтриговывая, учитель(ница) оглядывает класс. Когда всеобщее внимание возбуждено, он (она) таинственно, как важнейшую, святую новость, сообщает:

«— Твоя фамилия — Ивановский.

«Общее волнение в классе. Удивление. Восторженные клики. Учитель(ница) должен переждать волнение и спокойно и просто объяснить:

«— Земля эта (указать район данной деревни) искони польская. (Привести исторические примеры.) Поэтому совершенно ясно, что здесь живут только поляки. Как же случилось то, что здесь живет человек, который думает, что он Иванюк или, быть может, даже Иванов? Это случилось потому, что русские некогда захватили польскую землю и заставляли Ивановских называться Иванюками. Но теперь этому конец. Тем более, что найдены интересные документы».

К инструкции были приложены документы: портреты князей и королей, с которыми за честь и свободу польской земли сражались предки Иванюка, Ивановские. На хорошей, глянцево́й бумаге были напечатаны портреты этих предков, чудодейственно сохранившиеся в архивах. Кроме того, прилагались выписки из хроник о тех боях, в которых принимали участие предки совместно с королями и князьями.

Все это надлежало демонстрировать с благоговейным чувством преклонения и восхищения перед предками Иванюка,

с легким укором о том, что сам Иванюк, отныне Ивановский, плохо говорит по-польски, а дома у него и вовсе не говорят по-польски. Пусть родители говорят по-русски, отвечать Ивановский должен по-польски.

Регина читала инструкцию, багровая. Она бросила ее на стол, потом на пол. Потом поддела ее носком туфли; инструкция полетела к стене. Фотоснимки с найденных в архиве портретов разлетелись по комнате.

«Что это такое? — спрашивала она, сдавливая ладонями виски. — Преподаватель должен выступать в подобной роли? Учитель, который должен учить совести, честности, кристальности?»

В сопроводительной бумажке к инструкции рекомендовалось в каждом классе находить от трех до пяти старых славных польских деятелей.

В помощь учителю прилагалась карманная печатня. На ней можно было набрать необходимый текст к портретам и архивным документам, с точным протечатанием избранной учителем фамилии.

Она сбросила на пол коробочку-печатню и хотела раздавить ее, но коробочка была крепкая.

Как быть?

«Я не буду этого делать!»

Однако она сделала так, как повелевала инструкция.

Сикорский встретил ее в орховских песках. Была осень, светило бледное солнце, от песков веяло едва ощутимым теплом. Регина шла в туфлях, до краев полных песком, и думала о том, что преподавание подвигается с трудом: дети смеются, возможно, издеваются, непослушны, рассеяны, босы, голодны, болезненны. У Жуквича лысая голова. Что это такое? Вылезли или не выросли? Страшно смотреть на него. Как-то она полюбопытствовала, что они едят. Они ничего не едят! Хлебают воду, в которую замешана горсть муки.

— Так, так, — смутилась она. — Ну, а что едите еще?

Сын Карпиньского, рыжий плотный мальчишка, крикнул ей:

— Пани научителька, что вы их спрашиваете: ведь они дикари!

На скамьях осадников захохотали; на скамьях тутэйших замер всякий шорох.

Она шла и думала об этом. Она еще не вникла в причины нищеты в Орхове. Де-

ти объясняли путанно, с крестьянами ей не удалось разговаривать.

Шла, низко опустив голову. Сикорский эжикнул ее, подошел, поцеловал руку, сообщил, что в тот день, в который будет намечена беседа с условным Иванюком, он тоже придет в школу, чтобы придать событию более важности и, так сказать, блеска и поздравить счастливица от лица власти.

Она хотела сказать: «Я не собираюсь заниматься этой ложью и ужасом», но вдруг почувствовала, что не может этого сказать, потому что Сикорский убежден в том, что она — патриотка, восхищенная ловкой ложью правительства, считающая инструкцию актом большой правительственной мудрости. И если Регина разрушит это его убеждение, то он немедленно донесет в округ, ее уволят с работы, и уволят уже навсегда, и тогда от недоедания, а может быть, и от настоящего голода умрет ее отец... А что будет с ней — неизвестно...

Она улыбнулась Сикорскому и сказала: — Это хорошо, пане Сикорский, что вы решили прийти.

— Надо было бы еще пригласить и ксендза, но наш ксендз, к сожалению, существо особенное и малоприкосновенное.

— Я плохо его знаю, — сказала Регина, потому что действительно с ксендзом за это время она не сказала двух слов.

Сикорский пришел на первый урок.

Это был позорнейший день в ее жизни — она растоптала свою человеческую честь. Голова ее горела, руки противно дрожали, плечи пронизывала ломота.

«Что это за правительство, которое заставляет делать подобные вещи!»

Она думала над этим всю ночь, хотела себя уверить, что это необходимо для спасения государства, и никак не могла уверить.

Она решила объявить полькой дочь Мартына Давыдзика, Надю, и его сына Васю — поляком. Тихая и умная девочка Надя. Пятнадцать лет. Лучше всех говорит по-польски... Брат моложе и учится в другом классе. Его только поставить в известность, что он, как брат польки, — тоже поляк... Хорошие, разумные дети... Фамилия, правда, трудная... Регина долго соображала, комбинировала и не совсем удачно превратила ее в Давыдзиковскую.

Разложила папку с фальшивыми документами на кафедре.

Класс сидел без движения, пяля глаза

на пылающее лицо учительницы и на торжественного Сикорского.

Сикорский был при оружии и знаках отличия.

Регина действовала по инструкции. Она осмотрела молчаливо класс... Она ничего и никого не видела от волнения и стыда. Но она делала все так, как должна была делать... Всплеснула ладонями и заговорила.

Класс ошалел. Даже дети осадников сидели, разинув рты.

Надя Давыдзик сидела ни жива, ни мертва.

Из уважения к ней Регина пробралась к ней в уголок и показала портрет ее предка, славного Яна Давыдзиковского, дружинника королевы Ядвиги.

— Ты читай подпись! — хриплым, торжественным басом говорил Сикорский, потому что у Регины путались мысли и она забыла это сказать.

Надя шевелила губами.

— Громче, громче!

Надя прочла, заикаясь:

— «Знаменитый дружинник Ян Давыдзиковский... перед битвой...»

— Возьми портрет и повесь у себя в хате! Сообщи обо всем своим родителям!

— Приношу поздравление, — сказал Сикорский, поднимая руку и щелкая шпорами.

Уроки в этот день сорвались. Надя плакала. Ей представилось, что ее родители теперь не ее родители. Пришлось объявить ей, что она, Надя, только потому и полька, что происходит от своих родителей-поляков.

Испуганный Васька скрылся из школы.

Вечером Сикорский предложил учительнице пойти поздравить семью Давыдзиков.

Регина, сломленная всем происшедшим, безвольно согласилась.

У Давыдзиков ругались. Мартын сидел на колоде, свертывая папиросу. Давыдзиха доила корову и кричала из хлева:

— Я им покажу, чтоб я была когда-то католичкой! Если я ношу молоко ксендзу, так детей я ему не отдам. Своими руками задушу, а не отдам.

— Чего ты понимаешь? — бормотал Мартын. — Взяла и разорвала портрет!

— Я сто таких портретов разорву... только пусть посмеет принести еще! Какая паскудная девчонка!

Давыдзиха увидела учительницу, которая шла мимо тына, и, вместо того чтобы смолкнуть, закричала еще пронзительнее:

— Уже и господу богу не дают молиться... Выстроили себе каменицу на холме и хотят загнать туда наших детей! А господь захочет — и каменица рухнет...

Регина прошла мимо калитки, не зайдя во двор и не поздравив. Этот день лег на ее сознание камнем. До этого дня она была одна, после него другая.

Если лгать можно в школе, на уроке, то почему нельзя лгать дома — отцу, брату, мужу?

Она сидела в комнатке, видела забор, покосившийся и замшелый, и чувствовала, что все в жизни отвратительно и безнадежно.

Пришли новые инструкции — немедленно организовать кружки: хоровые, драматические, по игре в мяч. Кружки для взрослых по изучению польского языка. И т. д. и т. д.

«Пусть дети бывают дома как можно меньше!»

«Репрессируйте сопротивляющихся родителей!»

Она должна была подчиниться и передать списки сопротивлявшихся Сикорскому.

Нужно было объявлять поляком следующего школьника, но Регина откладывала торжество со дня на день. Так наступила весна. Вместо десяти новоприобретенных поляков не было, в сущности, даже и двух.

Повидимому, Сикорский донес об этом в округ, потому что приехал инспектор. Проверил все ее школьные дела, был с нею очень любезен, но под конец осведомился о причине невыполнения инструкции.

Регина сказала:

— Очень трудно: население враждебно.

Тогда инспектор сказал:

— По положению, пани, у нас на креслах учителю полагается револьвер. Но пани как женщина, наверно, не умеет стрелять. Не умеет? Я так и думал. Вот это плохо! Я всегда говорил, что в таких трущобах нужны учителя, а не учительницы. У учительниц мягкость, лиричность...

Инспектор приезжал в начале весны, а к лету появился новый учитель, Жульчинский. Мужчина с острой бородкой, маленькими глазками и револьвером.

— Очень хорошо. Я рада, что вы приехали и смените меня, — сказала Регина, понимая, что вступает в область смерти.

Ее оставили внештатной учительницей. Но когда и где потребуются новые штаты?

Она поселилась во Влодаве. Она раздо-

была урок и пыталась прожить с отцом на этот заработок.

И тут, во Влодаве, на берегу Буга, в смутную минуту встретила Варваса.

И вот получилось то, что случилось. Она хотела видеть его каждый день. Она любила его. Что было делать ей с этим новым несчастьем?

Умер отец. И тогда в горе появилась у нее безумная мысль. Мысль была настолько безумна, что Регина тотчас же отбросила ее.

Но мысль вернулась и уже не показалась такой безумной.

Сгорая от стыда, она написала письмо Варвасу.

Она ведь молода для этой роли... Но, быть может, он не побоится, потому что в жизни у нее нет ничего такого, чему бы она могла посвятить себя... Мысли же его привлекают ее...

Варвас ответил, что он не боится ее молодости.

И вот она — господня Варваса.

9

Ксендз стоял на крыльце. Обутые и босые ноги уходящих певцов мягко ступали по дорожке. Тихо звучали голоса. Казалось, люди забыли свое несчастье и успокоились.

Высыпали звезды. Квакали лягушки. Справа квакали, слева квакали. Самые большие и самые могучие квакали за Бугом?

Варвас глубоко вдохнул теплый воздух и пошел в столовую.

На столе его любимая пища: рыба, жареный картофель с капустой, молоко, желтый мед.

Регина сидела на своем месте, поджав губы, полуопустив глаза. Спросила тихо и грустно:

— Что вы позволите: картошку с капустой или рыбу?

Варвас догадывался о причине сурового лица и грустной речи: Ханна во время беседы стояла от него слишком близко. Стояла на лесенке. Стояла и смотрела на него во все глаза. И, разговаривая со всеми, он как бы разговаривал прежде всего с ней.

Варвас положил себе картошки и капусты.

— Есть очень хорошая простокваша, — грустно заметила Регина.

Грусть ее возрастала. Ей хотелось, что-

бы Варвас спросил ее: «Что с вами, здоровы ли вы?» Но Варвас ничего не спрашивал и ел. Он съел всю капусту и всю рыбу, и, когда принялся за молоко, Регине стало так грустно, что она потеряла всякое желание есть и молча сидела над пустой тарелкой.

Разве Варвас не должен был обеспокоиться? Но он мельком взглянул на чистую тарелку.

— У пани пропал аппетит. Впрочем, весной всегда пропадает аппетит.

— Почему весной всегда пропадает аппетит?

— Весной человека смущают надежды.

— Может быть, — сказала Регина и встала из-за стола.

Варвас пил молоко и не удерживал ее. Она ушла в кухню и прислонилась к окну.

За окном была весна. «Весной человека смущают надежды!» Да, Варвас прав... надежды, надежды! Эти надежды точно ключом открывали для нее весну. Она ощущала ее так, как не ощущала никогда. Даже когда училась в гимназии, а потом в лицее, когда выезжала с отцом на рыбную ловлю, когда в детстве ходила босиком по лужам!

В открытое окно влетал свежий и чистый ветер.

— Это моя весна, — прошептала Регина, расстегивая блузку и высовываясь из окна.

На земле было темно. Один единственный огонек светился в деревне, в полиции, у Сикорского.

— Моя весна!.. И как все плохо... — Она припала к подоконнику. — Какой Михал был ласковый в ту первую встречу во Владове и как неласков теперь!

Иногда ей казалось, что Варвас — святой и ни о чем таком с ним нельзя и помыслить.

Тогда она успокаивалась и клялась себе, что будет думать только о добродетели. Ей хотелось обмывать больных детей, разносить голодающим сухари, подметать чужие дворы, стирать чужое белье и всем этим быть хоть немного тоже святой.

Но когда она видела блеск его глаз, его улыбку, слышала его разговор с людьми, она убеждалась, что Михал не святой. Нет, конечно, святой, только не католический святой, а святой своей собственной святостью.

И тогда она не хотела стирать чужое белье, подметать чужие дворы. Тогда она

хотела стоять на коленях перед Михалом и требовать от него небесного счастья и небесной муки.

Окно в кабинете Варваса хлопнуло: он закрыл окно и сейчас ляжет спать.

Он редко спит в спальне. Он любит спать в кабинете.

Сегодня, в весенний вечер, когда ветер так чудесен и земля точно распахнулась навстречу теплу, Регина горячими, дрожащими руками стлала постель Михалу.

Сначала она мечтала только о беседах с Михалом.

— Вы идете в лес? — спрашивала она осенью. — Можно пойти с вами? Я не буду мешать, я буду собирать грибы.

Михал кивал головой, и она шла с ним. В руках его была трость, в кармане — записная книжка. Изредка он останавливался и писал. Тогда Регина застывала на месте.

Ей было достаточно того, что они вдвоем в лесу.

Когда Михал садился на бугорок, Регина опускалась поблизости, но все же довольно далеко.

— Я вам не помешаю своим вопросом?

— Нет.

Он смотрел в небо, он слушал птиц, он дышал сосновым воздухом, от которого люди делались такими здоровыми и сильными, что могли жить сто лет. Она слушала его и думала о том, что он будет жить в Орхове сто лет. А она — будет ли она жить рядом с ним сто лет?

Он говорил о боге, о жизни, о человечестве. О всем он говорил так, точно это было его личное достояние: бог, человечество, жизнь.

После того, что она пережила в своей жизни, после всех смут и волнений, она чувствовала всегда глубокое успокоение, слушая Варваса. Действительно, нет ничего в мире достоверного кроме того, о чем он говорит... .

В эти минуты любовного восхищения перед Михалом она чувствовала себя таким ничтожеством, что хотела быть только подножием для него.

Самой большой сладостью казалось ей быть подножием. Он наступит и пройдет. И больше ей ничего не нужно. Это высшая форма любви: ничего для меня, но все для тебя.

Пошли осенние дожди. Тучи, туман, дождь. Не было деревни, Буга, леса. Была тишина. И в тишине шел дождь.

Варвас отправлял службы и требы, остальное время читал и гулял. В плаще, в высоких сапогах.

— Что вы находите в дождливом лесу? — спрашивала Регина.

Варвас [находил холмы долины, покрытые туманом, мокрые сосны, большие грибы, зверей, устраивавшихся на зиму, почерневшие от дождя дороги, тучи, задевавшие вершины огромных сосен. И находил себя самого, свое удовольствие шагать по тропам, холмам, дорогам, ощущая свою силу и радость жить.

Ему нравились дождь, мокрая шляпа, сырой ветер. Ему нравилось жить.

Ему нравилось размышлять, есть, ходить, мыться. Каждое совершаемое действие наполняло его теперь удовлетворением. А будущее, казалось, принесет еще большую радость.

Поздней осенью Регине все чаще хотелось подойти к нему и взять за руку.

А что будет после этого — неизвестно.

Зимой сверкали снега. Варвас ходил по лесу на лыжах. Она видела его высокую черную фигуру на снегу. Варвас скользил вниз с холма к Бугу и пропадал на равнине.

Зимой пришел в деревню голод. Варвас распорядился кормить несколько человек.

Сначала Регина чувствовала гордость и радость. Помогать — это было то, к чему всегда лежало ее сердце. Но потом, совершенно для нее незаметно, в сердце ее рядом с гордостью появилось другое чувство. Она боролась с ним, но не могла преодолеть его.

Она не хотела кормить Ханну. Высокую, широкоплечую, широкобедрую, полногубую и, несмотря на голод и девичество, полногрудую. Она не хотела, чтобы Ханна приходила в дом Варваса. Это было недостойное, унижительное чувство. Никогда Регина не думала, что она способна испытывать подобное, но она не могла справиться с собой — и испытывала.

Когда Ханна благодарила и уходила, Регина бежала к зеркалу. Она видела бледное лицо, бледные губы, голубые глаза, бесцветные волосы, тонкие, узкие плечи, слабые руки. Минуту, пока в ее памяти стояла Ханна, ей было страшно, но потом ей начинала нравиться собственная плотская слабость. Через нее как бы сияла внутренняя сила.

Сила ее заключалась прежде всего в том, что она, Регина, понимала Варваса. Никто

не знал его так, как знала она. Роясь в отсутствии Михала в его записных книжках, она находила любопытные мысли.

В одной из книжек она прочла: «Нет ничего фантастичнее того, что мы существуем. Все может быть, раз существуем мы и существует мир».

— Все может быть... все, — шептала Регина.

Ей казалось, что она выплывает в безграничный мир. И в этом безграничном мире только двое — она и Варвас. Варвас, который понял все, и она, которая поняла Варваса.

Она смотрелась в зеркало и видела, как улыбка появлялась на бледных губах, как наполнялись светом голубые большие глаза.

Она смотрелась пять минут, пятнадцать минут. Наконец убеждалась в том, что она не так плоха. Тем более, что Варвас не может любить грубой женской красоты. Зачем ему у женщины широкие бедра и полные груди?

Зимой она все чаще ловила себя на мысли, что Варвас, как всякий мужчина, пусть еще не любя, пусть еще не сознавая своей любви, но повинуюсь голосу природы, требует от нее счастья.

Но он не требовал.

И тогда, когда в дверь кухни раздавался тихий стук и на вопрос: «Кто там?» звонкий голос отвечал: «Это я, пани», Регина чувствовала, как руки и ноги ее начинают дрожать от самого мучительного, самого недостойного на земле чувства.

Ханна входила, разматывала платок, снимала желтый коротенький полушубочек, расшитый зеленой, красной и желтой ниткой, разувала лапки, подходила к плите и говорила:

— Такой мороз на дворе, пани!

— Таково желание господа, — замечала Регина.

Ханна стеснялась есть хлеб Варваса даром и всегда просила работы. Обычно это было мытье полов или стирка.

— Грязное белье в захованке, — говорила Регина.

Даже ноги у Ханны — и те были хороши. Золотистая кожа, красивые пальцы.

Она ходила своими красивыми ногами по полу кухни, как царица. Своими голыми по локоть руками ставила бадью, наливала воду, принималась стирать. Через десять минут румянец пылал на ее лице.

Она сообщала печальные новости. Умер Макаревич... Так, ни с того, ни с сего...

покашлял и умер. Умерла десятилетняя дочка Василисы. Пришла из школы, слегла и умерла.

Регина говорила: «Да, да, очень печально, но таково желание господ», и прислушивалась к комнатам. Варвас мог каждую минуту войти в кухню и увидеть эту широкую, молодую спину под старой кофтой, эти руки, точно сделанные из полированного дерева. Она ругала себя за то, что позволяла Ханне работать, но и не позволять ей работать, признаваться в своем бессилии, она не могла.

Варвас иногда заходил в кухню. Разговаривал с Ханной, расспрашивал ее, смотрел на нее. И если он разговаривал ласково, Регина чувствовала в душе смерть. «Конечно, — думала она, — он любит ее. . . Мой боже, неужели, неужели? Неужели он не питает отвращения к женской чувственной красоте, которая, как более грубая, всегда готова покорить духовную?»

Потом ее мучили угрызения совести. Она старалась думать, что Ханна несчастна, и Варвас просто ласков с ней как учитель и мудрец. Но назавтра повторялось старое.

К весне Регина поняла, что ей мало готовить обед Михалу, мало взять его за руку.

И сегодня, в этот первый теплый день, сердце ее колотилось, и голова была безмерно тяжела. Ее тонкое тело казалось ей огромным, ей, как в детстве, хотелось пойти по земле босиком. Скоро распустится ландыш и сирень. Скоро птицы полетят на родину, на север.

Варвас еще раз стукнул рамой окна.

Регина бесшумно прошла в коридорчик, к двери кабинета. Она слышала, как Михал брал с полки книгу, как опраивал лампы. Вот скрипнули пружины дивана. . .

«Ах, Михал, Михал!»

Ноги ее дрожали, сердце колотилось. Ей хотелось открыть дверь.

ТРЕТЬЯ ГЛАВА

10

На глазах людей раскрывалась земля. Летели утки. Поднимали из болот, из затопленных лугов и полей свои песни лягушки. Их звонкое, мелодичное курлыкание раздавалось не только вечером, но и днем. Соки бежали по деревьям, вылезала трава, зацвела мать-мачеха, ветрени-

ца, полетела в легком, прозрачном воздухе первая муха.

Уже начал кричать в лесах самец белый куропатки. Эхо разносило его голос, похожий на смех человека. Свистели кулики. Петр Гагалюк, навещающий такие трущобы, куда не заглядывали лесники, услышал глухарей.

Огромные черные птицы сидели в чаще вокруг прогалинки, наполняя окрестность пением, шипением и вздохами.

Перед восходом солнца утреннюю зорю трубили журавли. Они располагались на озерцах, на открытых мелях, там, за болотами, и, собираясь утром в отлет, трубили нежно, тонко и взволнованно. Ни с чем нельзя было сравнить этот немного печальный зов.

Летели гуси, гогоча и бормоча из-под облаков, любопытные, суетливые, хлопотливые.

Всегда люди всем сердцем слушали перелетную птицу. Хотя недосыгаема она была для человека, потому что садилась в тех перелесках, на тех озерах и болотах, в той глуши, которая принадлежала Жонсницким, Замойским, Грабовским, но ведь Жонсницкие и Грабовские не могли лишить людей трепета, который наполнял все живое. Не могли это сделать и секвестраторы, отнявшие коров, коней и телеги.

Женщины выходили в огороды. Кусты смородины, малины, крыжовника торчали голыми, гладкими ветвями. Куры яростно искали пищу. Уцелевшие собаки бегали по своим делам.

Женщины вскапывали гряды. Труд их успокаивал; они ощущали надежду. Закапывали рукава, подтыкали подолы и работали с утра до вечера.

Мужики совещались, как с оставшимися в деревне конями управиться с работой.

Давыдиха рассказывала:

— Несу я ксендзу молоко. . . В том месте, где тропочка идет через ельник, слышу: сидят в чаще и говорят. . . По голосу сразу узнала Густава: «Теперь многие, — говорит, — продадут землю. . . рады будут хоть по три злотых получить за морг».

— Так и говорил? — спрашивали Давыдиху.

— Не сойти мне с этого места!

— Осадники сидят как ястреба и ждут чужого несчастья.

— На своей родине они, в Польше. Вот и сидят.

— Никогда не будет здесь Польши!

— А кто говорит, что будет?

— Ты же говоришь!

— Я говорю? Убей меня, если я это говорю!

— Не ссорьтесь! — вмешался Петр. — Убить надо того, кто пойдет за помощью к ястребам или к Жонсницкому, пока есть у нас хоть один конь!

Стояли на поле, на своем лучшем орховском поле. Холмистый лес Жонсницкого окружал поле. Оно рожало пшеницу, овес, лен, гречу. На остальных землях орховцы сажали картофель и капусту.

Озимые шевелились под ветром, нежно-зеленые, прозрачные. Высокое чувство переполняло Петра. Точно он знал, что такое жизнь, точно он был тем человеком, которому подчиняются и лес, и облака, и река. Это чувство было чувством слияния со всей жизнью. Петр не давал себе в этом отчета, — он просто чувствовал, что сейчас ему на поле хорошо.

Яровая полоса ожидала человека. Петр шел по ней, разглядывая каждый вылезший камень, каждый ком. Земля была теплая, влажная. Она мягко принимала на себя босую ногу.

По всему полю белели человеческие фигуры. Трофим Хорук с Семеном приехали на возу. С поднятыми оглоблями воз стоял у куста. Старый Хорук шел за плугом, молодой что-то приколачивал в возу, гоня по лесу эхо.

— Сторонкой обошел Хорук наше сощещание, — сказал Петр. — Как мы собираемся, так его нет.

— Не надо нам его помощи, — заметил Касьяник. — Бедный человек, а такой беспощадный! Из-за его помощи у меня корову отобрали.

В запрошлом году Хорук помог ему конем. И вот за эту помощь пришлось ему расплачиваться так, что не удалось и гроша собрать для налога.

Касьяник стоял, смотрел, как спокойно и хорошо работали Хоруки, и хотел, чтобы отец и сын напоролись на кол, чтобы у них пропало все, что они ни сделают. Вот оглядываются они... Чтoб они шею свернули себе, когда оглядываются!

Петр старался не смотреть, как работали Хоруки, но тем не менее видел каждый шаг коня и человека.

Кроме Хоруков, работали еще пять хозяев. Остальные смотрели. А ведь солнце делало свое дело, и земля ждала!

Тонкий, сухой, как бы поющий звук ко-

лес донесся из леса. Так пели только дрожки Жонсницкого.

Он выехал на поле рысью. Рядом с ним сидел горожанин. Петра это не смутило бы. Но его смутило и обеспокоило то, что дрожки несколько раз останавливались. Жонсницкий показывал горожанину на поля бичом, горожанин приподнимался и в свою очередь показывал на поля рукой. Что им тут нужно на чужих полях?

— Что же это они считают наши полосы?

— А может, они не считают, может, это так просто на весенний день показывают. . . — робко проговорила Авдотья.

11

Может быть, потому, что весна ласковая, жаркая и благословенная, может быть, потому, что гнев удесят�рял силы людей, но на поле работали круглые сутки.

Были такие, что, не дождавшись коня, поднимали полосу на себе, на жене, на своих детях, а соседи шли с мотыгами и лопатами, углубляя отвал, позволяя земле дышать, отдавая ее живому прикосновению воздуха.

И чем было труднее, тем у людей просыпались большее упорство и какая-то сладость от того, что они борются и будут бороться со своим вековечным врагом.

Хоруки вспахали свою полосу. По целому ряду примет Трофим установил, что год предстоит урожайный, и весь устремился в будущее, забыв про секвестраторов. Семен предложил Петру коня, но Петр поблагодарил:

— Спасибо! Боюсь, конь у вас тощий. еще ноги протянет на моей полосе, проклянет меня твой отец. А расплачиваться нечем. Другим помогай, всем не можешь.

Скинув рубаху, Петр поднимал землю лопатой. Сначала ему показалось, что он никогда не кончит, онеменот плечи, согнутся ноги. Но потом перешагнул за какую-то черту, и тело его стало каменным и неумолимым

Авдотья, шагавшая за ним с мотыгой подносила ему воду, но он отказывался пить, потому что вода тяжелеет, и пил только трижды: на заре, в обед и вечером

Поднял свою землю и помог Мартыну Давыдзнику и Касьянику. Три дня и три ночи не уходил с поля, а на четвертую пошел ночевать в деревню.

Солнце село за маленькую тучу. Справа от нее плыли вечерние дымно-серые и голубовато-зеленые облака. С холма открылась серая блестящая вода, утопившая в себе облака, впитавшая солнечный блеск, разлившаяся от холма до горизонта, перелосанная узкой лентой железнодорожно-го полотна с блестящей пружкой моста.

И хотя Петр дошел до такого состояния, что мог упасть и заснуть, он шел, отдаваясь всему этому приволью, которое могло быть для человека счастьем, а было проклятьем и горем.

Спал до вторых петухов. Когда ступил на пол, Авдотья проснулась и спросила:

— Ты куда?

— Сегодня же суббота. До Ефима.

Звезды разных величин и разного цвета, то рассыпанные далеко друг от друга, то сбитые в плотные кучи, окружали Орхово. Петр шел и слушал, не идет ли кто-нибудь за ним.

Никто за ним не шел. Он один шел по ночной улице.

И у хаты Ефима было пусто, как и у всякой другой хаты в этот ночной час. Осторожно отворил дверь и сразу же почувствовал молчаливое скопление людей.

Было тихо. Кашляли в руку, стояли плечом к плечу. Петр прикрыл за собой дверь.

— Кто запалил папиросу? — спросил в темноте Ефим. — Не годится сейчас палить папиросу.

— Тише... потуши...

— Да я уже потушил.

И вдруг тихо и совершенно ясно, яснее, чем говорил Ефим, сказали:

— Доброе утро, товарищи!

Ясным русским голосом. Таким ясным и сильным!

После несчастий последних дней, после грядкого труда, после победы, которая ощущалась всей душой, после всего этого нечеловеческого напряжения Петр дрогнул, и ему захотелось заплакать. Заплакать от обиды, радости, от страстного желания закричать: «Мы здесь! Да слышишь ли ты нас?»

А русский человек говорил. Сначала он предложил всем заняться утренней зарядкой. Играла музыка. трубили рожки, там, над Русской землей, вставало солнце.

От голоса, от музыки Петр почувствовал, как успокоение вливалось в его сердце. Теперь говорила женщина. Она пере-

давала последние известия о заводах, колхозах, шахтах, степях, лесах, морях.

Она говорила о смельчаках и героях, которые куда-то летели на самолетах, взбирались на горные вершины, добывали в непостижимых количествах рыбу, вырубали, как не вырубали нигде, уголь и еще что-то делали и еще. Они работали и побеждали.

Потом мужчина передавал сводку посевной. Это место все слушали с неослабевающим трепетом, точно видели необозримые пространства Русской земли, колхозное черное, душистое поле, солнце, которое поднимается по одну сторону этого поля и опускается по другую.

Потом, после трехминутного перерыва там, в России, запели песни. Запели песни. Такие ясные, такие простые слова запели. что невозможно было удержаться, чтобы не подпевать. И когда, затаив дыхание, кто-нибудь подпевал, Ефим сейчас же говорил:

— Помолчи, помолчи! Эх, помолчи!

Люди подпевали в своем сердце.

Они слушали веселые, праздничные песни и походные красноармейские песни, слушали баян и симфонический оркестр.

Полтора часа, не шелохнувшись, стояли плечом к плечу. Расходились так же осторожно, как пришли.

Некоторые шли так, что непрочь были бы встретить полицейского. Встретить. подойти к нему, поднять кулак и сказать: — Ну?

И когда полицейский закричал бы: «Что это есть?», сказали бы: «Посторонись, это я. Я — не тутэйший. Я — русский!»

Но полицейский спал в этот утренний час. И ничем не отличалась хата Ефима от других хат. Только разве тем, что стояла она на песчаном пригорке и от забора можно было видеть дорогу на самую Влодаву.

Рассветные сумерки сменились зарей. Розовый поток света побежал по Бугу. Голубое мешалось с розовым. Бежал ветер, припадая к воде и рябя воду.

— Не поддадимся, — сказал Петр не то ветру, не то секвестраторам, не то всей Польше. — Не поддадимся — и все!

Ирэна, жена молодого Витковича, спустилась к Бугу с бельем по крутой тропинке. Подняла юбку выше колен. Баба была розовая от света, а белье, которое она полоскала, сверкало, как радуга.

Петр пожелал ей здоровья.

— Уже и посеялся? — спросила Ирэна.

— Уже и посеялся.

— Тебе и коня не надо, — сказала Ирэна, заходя глубже в воду.

12

Когда-то Жонсницким принадлежал весь Седлецкий уезд, чуть ли не самый город Седлец, а здесь, недалеко от Бреста, имелись всего какие-то семь тысяч гектаров леса.

Но старый Адольф Жонсницкий вел такой образ жизни, что сыну своему не оставил в Седлецком уезде ни морга. И сын его, тоже Адольф, уже безвыездно жил в лесном прибужском доме.

Зыгмунда, внука старого Адольфа, орховцы увидели пять лет назад. Он скрыл старый дом и поставил на его месте маленький великолепный замок «Высокий Холм».

Со всей округи приезжали смотреть на белые матовые стены, на окна с яркими зеркальными стеклами, на изумрудный узор наличников, на башни и плоские крыши.

Перед фасадом были цветники, но они нисколько не походили на цветники. Это были поля. Поля цветов.

Четверть гектара перед замком занимали сплошные поля гвоздики, маков, лилий. Цветы росли среди травы, создавая впечатление дикого холма. А сзади к «Высокому Холму» подступал лес.

В России Зыгмунд разделял воззрения социал-демократов и дважды был арестован. Его социал-демократические воззрения перемещивались с мечтами о гордой, независимой Польше, и рабочее дело, о котором он думал, принимало в его душе своеобразный оттенок.

Он был организатором партии «Молодая Польша», которая после образования польского государства приобрела большое влияние.

Социал-демократические воззрения Зыгмунда, освобождаясь от всего лишнего, скоро предстали в своем чистом виде: он хотел видеть Польшу над другими народами. Судьбу ее он полагал грандиозной. Распятый польский дух в воскресении получит ослепительную мощь.

С этой точки зрения социал-демократическое дело было небольшим, частным делом, уместным в русской деспотии, но совсем не уместным в Польше.

В самом деле, польский рабочий был

прежде всего поляком. Что должно быть ближе его сердцу: повышение заработной платы или мощь Польши?

Эти новые «социал-демократические» взгляды Зыгмунд выразил чрезвычайно осторожно, с помощью многочисленных и неопределенных терминов в декларации «Молодой Польши».

Однако он не захотел стать официальным вождем партии. Официальным вождем он предложил Дукельского, ловкого, блестящего человека, с огромными связями в деловых кругах, которого он и вытянул из политического небытия, дал ему воздух, горизонт, положение. Лидерство его казалось Зыгмунду весьма полезным. Себе же Зыгмунд оставил действительное руководство партией.

Главным своим делом на первых порах он считал борьбу с коммунизмом в Польше.

Ничто не вызывало в Зыгмунде такого отвращения, как коммунизм. Это учение провозгласило союз трудового человечества. По этому учению не существовало ни первых, ни вторых народов.

Подобные идеи не были, конечно, новостью для Жонсницкого, но в эпоху своей социал-демократической молодости он не обращал на них особенного внимания. Теперь же он увидел всю их катастрофичность.

Он был на высоте могущества, суровый и беспощадный. Казалось, он видел жизнь Польши от истоков до вечности, в которой она должна была получить пышнейший расцвет.

Занятый высокой борьбой и подготовкой к окончательному захвату власти в государстве, он несколько выпустил из рук организационные партийные дела. Но он не беспокоился. Он хорошо знал, что такое революционная политическая партия и что такое партийная идея. Он помнил, как жили и работали русские революционеры. Среди них были люди самые разнообразные, но одно у них было общее — преданность идее и презрение к врагам.

Все это, думал Зыгмунд, есть в еще большей степени и в польской рыцарской партии «Молодая Польша».

Он не сразу заметил свою ошибку: не только рядовым членом польских политических партий, но даже вождям и идеологам были безразличны партийные идеи и идеалы. Идеи и идеалы были только

приемами, для того чтобы пробираться и взбираться.

Он ничего не мог понять, когда Дукельский стал выражать идеи, противоположные идеям партии.

Как действительный лидер партии, Зыгмунд решил призвать Дукельского к ответу и вдруг увидел, что к ответу он не может его призвать, потому что члены партии склонны своим вождем считать не Зыгмунда, а Дукельского.

Дукельский образовал новую партию «Христиан-стрельцов». Половина старой партии последовала за ним. У оставшейся появился вождь, Павловский, идеи которого тоже не имели ничего общего со старыми идеями партии.

Жонсницкий оказался в одиночестве. Может быть, мешал его крутой, жесткий нрав? Его непримиримое стремление к цели? Может быть, надо было больше мягкости, душевности и даже уступчивости?

— Вы в партии Дукельского? — спрашивали его. — Или в партии Павловского? Так спрашивали его, Жонсницкого!

Он понял, что у него много врагов. И враги не только те, которых он считал врагами, но и те, которых он считал единомышленниками и друзьями.

Они были его врагами, ибо боялись, что он захватит то, что хотели захватить они. Зыгмунд посторонился. Посторонился, уверенный, что его отсутствие будет невозможно, катастрофично. Но его отсутствия не заметили.

Тогда он покинул все и уехал в прибужские леса.

Этому содействовала отчасти и жена, родом из Влодавы, в юности проводившая летние месяцы на дачах графа Замойского.

— Если тебе нравится жизнь в лесах, — сказал Зыгмунд, — плюну на все и превращусь в медведя.

Леса, последнее достояние Жонсницкого, были величавы и прекрасны. Любовь старого Адольфа к пуше, какое-то мистическое упование на нее сохранили леса в неприкосновенности. Они шумели, наступая на поля, деревни, на самую реку, вековые, упитанные, возвращенные сыростью, бесконечной жизнью, вернувшейся в землю, и солнечным светом. Зыгмунд с женой ездили по лесным тропам верхом, ходили пешком, плавали на лодках по лесным озерам, — величавый мир окружал их, и казалось, возможность всегда прикасаться к этому величию могла успокоить лю-

бую человеческую душу. Но она не могла успокоить душу Зыгмунда: сила, разлитая в природе, не успокаивала, а возбуждала его.

В лесном уединении стали ощутимее не только измена товарищей и поражение, но стало ощутимее и самое домашнее из всего — жена и то, с чем он никогда не мог примириться в ней.

Зыгмунду казалось, что Хэлена слишком задумчива здесь, в прибужских лесах. Ее прошлое было связано с этими лесами. Может быть, не стоило поселяться здесь? Но Зыгмунд не считал возможным склоняться перед чем-нибудь, а тем более перед прошлым своей жены. Пусть будет, что будет!

Он хотел деятельности. Он продал часть леса и поставил замок.

На башне замка, в знак присутствия владельца, взвился флаг: алый сокол на голубом фоне.

Зыгмунд посетил соседних помещиков: Грабовских, Замойских, Зендовичей. Они стали посещать его. Он испытывал их мысли, упорство, силу. Способны ли идти или не способны? Способны объединяться или не способны? Способны идти за вождем или не способны?

Потому что воеводство, объединенное идей, могло представить сокрушительную силу.

Такой идеей была — Польша.

Не нечто расплывчатое, городское, а определенное: «Польша на земле», «Польская земля — полякам».

Эта формула была теперь ясным и точным выражением идей Зыгмунда с Польше.

Эта простая формула, раскрываясь, обнаруживала необычайное богатство. Помещики не могли не откликнуться.

Вся земля должна принадлежать им. Все что мешает: крестьянское тупое сопротивление, государственная опека, невидимый отвратительный ход вещей, вызывающий оскудение (так называемые «экономические законы»), — все должно быть сокрушено.

Политика Польши станет прозрачной политикой осознавшей себя страны.

— Виват! — кричали молодые Грабовские Зыгмунду.

А вокруг них, вокруг «Высокого Холма», простирались леса. Они погрузились в себя замок с его башнями и флагом если бы он не стоял на холме. Но замог

стоял на холме, и холм дал ему величие. Флаг реял над зеленым морем вершин, всегда шумящим, беспокойным, но всегда таинственно-покорным воле человека. Леса окружали Орхово, они пригнали хаты к самой реке, на красные обрывы, откуда Буг в весенние бури рвал глыбу за глыбой вместе с хатами.

— Виват! — кричали помещики Зыгмунду.

Они точно летели на башне над миром. Здесь пили вино. Драгоценное, солнечное вино далеких и всегда чаемых южных стран.

Ужинать спускались в столовую. Под окнами пестрели поля гвоздики и мака. Ели польскую еду, которая дает силу мышцам и ясность уму.

Молодые Грабовские и другие были действительно решительные люди, каких естественно создают суровая лесная природа края и постоянная борьба с населением. Но у всех у них был один недостаток — бедность. Для нужд, которые видел Зыгмунд, их богатство было бедностью.

Этот недостаток только при одном условии не имел значения — при условии совершенного богатства Зыгмунда Жонсницкого.

Но богатства Зыгмунда для борьбы за власть в государстве были ничтожны. Тем более, что Дукельский повел политику охраны лесов. Вдруг объявили, что польские леса — польское неприкосновенное богатство.

И вот шумело это богатство под голубым небом, по берегам озер и многоводной реки, и только ничтожные проценты мог взять Зыгмунд от этого богатства. А он не пожалел бы, он оголил бы землю!

«На моих руках пути, — думал Зыгмунд, — и опять от тебя, Дукельский!»

Он стал искать других путей. Ясно было, что это не мог быть путь займа или субсидии. Займодавец и меценат потребуют главенства для себя. Они не будут благоволить перед Зыгмундом. Это мог быть путь самостоятельной добычи денег.

Целый ряд идей принимал Зыгмунд и отвергал. И только этой весной у него родилась идея, которая, чем большим сомнениям и искушениям он подвергал ее, тем более она крепла.

Он рассматривал карты, фотографии, пейзажи, статистику путешествий. Число туристов падало. Люди все меньше путешествовали ради путешествия. А раньше

как любили трудиться всю жизнь, для того чтобы под конец, в какие-нибудь семьдесят лет, вырваться на волю, на морской простор и плыть из страны в страну, вдыхая беспечальный морской ветер, разглядывая небесные зори, плыть со свободной душой, зная, что все на земле уже сделано, вся борьба позади, впереди только счастье и покой.

Счастливым казалось, что сил у них много, потому что всю жизнь они затаивали страсти, им казалось, что теперь они съедят весь мир, пожелают всех женщин, всю музыку, все пальмы, но на деле им только хотелось сидеть на палубе парохода, кутаться от ветра и дремать.

Они плавали из страны в страну, ко всему равнодушные, немного испуганные своим равнодушием, и безропотно отдавали деньги тем, кто у них требовал.

Изучая статистику, Зыгмунд видел, что путешественники отпадали — категория за категорией. Перестали ездить не только семидесятилетние, но и двадцати- и тридцатилетние. Должно быть, люди выросли, присмотрелись к миру, и их мало привлекали простые удовольствия.

А вместе с тем, как никогда, люди жаждали удовлетворения. Врачи, инженеры, учителя! Они делали свою жизненную работу и тосковали по радостям. Все в жизни было скучно, бедно, нежеланно.

И вот из изучения современного человека у Зыгмунда явилась идея. Она могла превратить глухое место Польши, какие-нибудь сосновые леса около белорусской деревушки, в вожделенное место современности.

Сначала Зыгмунд испугался своего замысла. Но чем больше он думал, тем больше приходил к выводу, что замысел хорош.

Острый, смелый, он обращался к той стороне человека, которая в последнее время все более требовала к себе внимания, — к потребности человека скинуть цепи и окунуться в какой-то источник первозданности.

Из Варшавы приехал архитектор, с которым Жонсницкий разработал план двадцати цветочных домиков. С приехавшим из Варшавы ученым садоводом разработал все, что касалось растений: цветов, цветочных площадок, зарослей трав, прудов, ручьев.

— В это дело, — сказал Зыгмунд жене, — я верю. Оно даст сотни тысяч. Лю-

ням нужны забвение и отдых. За забвение и отдых они отдадут все. Теперь пляшут у меня Дукельский и Павловский!

Хэлена спросила тихо:

— Очень большое дело?

— Очень большое.

— И будешь принимать на работу людей?

— Какой странный вопрос! Как же можно обойтись без людей?

— Зыгмунд... тогда, быть может... ты примешь на работу одного человека... Он очень бедствует... На-днях я получила письмо. Он мне написал впервые в жизни... Я думаю, что сердце твое теперь успокоилось...

Глаза Зыгмунда вдруг стали мертвыми. Хотя знал, от кого письмо, спросил:

— От кого письмо?

И Хэлена просто, как будто письмо она получила от подруги, ответила:

— От Стася.

Зыгмунд сидел в кресле у окна. Из окна он видел участок двора, на котором садовник разделявал поле под гвоздику, Забаву, гончую суку, с поднятым хвостом. Забава принадлежала Зыгмунду. Но он крикнул тонким, срывающимся от гнева голосом:

— Гони ее, Владэк, к дьяволу!

Садовник удивленно поднял голову. Зыгмунд высунулся из окна:

— Ну! — крикнул он.

Владэк ударил суку сапогом в живот. Собака вскрикнула, завyla и бросилась в кусты.

— Зачем ты это? — спросила, бледнея, Хэлена.

— А затем, что я не люблю негодяев!

— Это ты о ком?

— Негодяев много. Разве в своей жизни я не встречал предательство и измену там, где должен был встречать только благодарность и служение? Просил я или не просил не произносить при мне этого имени?

— Но ведь с тех пор прошло много лет, и я думала...

— Ты думала, что порок за давностью лет превращается в добродетель?

— Я этого имени не произносила десять лет.

— Почему же теперь решила произнести?

— Потому что у меня все-таки есть материнское сердце.

— Материнское сердце! Твое материн-

ское сердце на языке здравых людей называется иначе.

— Прошу назвать.

— Я не намерен называть.

— Я очень прошу.

— Очень просишь? Пожалуйста! Такое сердце называется сердцем потаскухи.

— Это чудовищно! — прошептала Хэлена. — Ты опять сходишь с ума? Приди в себя!

— Я не схожу с ума, не беспокоюсь. Наоборот... теперь я прихожу в разум... И вот из самой глубины разума я тебя спрашиваю: а то, что сделала ты, не чудовищно? — Он опять не понимал, как Хэлена могла делать то, что она делала. Правда, в то время она не была его женой, но ведь и в то время она была Хэленой! Он не понимал, как она могла так легко обращаться со страшнейшими для женщины вещами: он встретил Хэлену молодой девушкой, а она, не имея мужа, имела уже сына! Она призналась ему в этом спокойно, как революционеру. И он отнесся к этому по виду спокойно.

У нее овал лица был такой нежности и глаза такого сияния, как у святой! И, однако, все это — распущенность. Тайком Хэлена позволяла негодяю делать со своим телом все. И негодяй делал с ним все.

И сейчас, глядя в ее бледное, ненавидящее лицо, Зыгмунд сказал то, что его мучило:

— Пойми: ведь ты родила! Молчишь и только мечешь на меня стрелами из глаз? Хочешь меня убедить, что это было так свято, что ты даже и не заметила?

— Я слышала об этом от тебя тысячу раз. Зачем же ты на мне женился?

— Естественно, я мог не жениться. Но я женился. Женился — и ненавижу. Живу с тобой — и ненавижу тебя. Я подозреваю, что, вдобавок ко всему, ты еще посылаешь мои деньги этому молодчику.

— Это уж слишком! Постыдитесь, владец «Высокого Холма!» Я от вас получаю деньги каждое утро, и каждый вечер вы с меня спрашиваете отчет. Вы — Жонсницкий, а в доме у вас порядок такой, как в халупе. Вы боитесь человеку доверить сорок золотых, вы из меня сделали экономку! Вы не хотите нанять лишнего человека. На этом вы не соберете богатств. Ради чего вы собираете деньги? Ради миража! Ради политической власти? Зачем сна вам? Когда я с вами познакомилась,

вы говорили иное. Вы называли себя революционером...

— Ради миража? — усмехнулся Зыгмунд. — Тебя оскорбляет, что я спрашиваю отчет в своих деньгах? Да, я должен знать каждый свой грош, потому что я хочу бороться. Тебе это не нравится? Ты хочешь, чтобы я погрузился в эти леса и болота?

— Я ничего не хочу, — сказала Хэлена и вышла из комнаты.

Дверь хлопнула. Чашки звякнули на столе.

— Я тебя прошу, — крикнул Зыгмунд, распахивая дверь, — я тебя прошу не хлопнуть дверью. Тебе это не к лицу... Мать! Батрачка — и та постыдилась бы такого материнства... Сын! Чей сын? А ты просишь у меня за него! Нет меры твоему бесстыдству!

С новым треском Хэлена захлопнула дверь в свою спальню. Она придавила ее спиной и повернула в замке ключ.

За окном были солнце, сосны, солнечные полосы в лесу. Она спустила шторы.

«Я лучше сдохну, чем возьму в рот кусок твоего хлеба!»

Она сбросила юбку и блузку, потому что они были его, и надела капот. Капот был тоже его, но ей казалось, что он был менее его.

Пять лет назад они в последний раз разговаривали о Стасе. Зыгмунд ударил Хэлenu по лицу и душил ее.

— Тебя хапал холоуй! — кричал он.

— Это не человек, — говорила Хэлена, запахивая капот, — это зверь. Потому все его и покинули. Я несчастна, бог меня карает. Я вышла замуж за зверя.

Она услышала голос Зыгмунда на дворе. Зыгмунд разговаривал с Владэком. Он смеялся так громко, точно смеялся под ее окном. Он нарочно так смеялся, зверь! «Панна Марья, что делать со зверем?»

В дверь тихонько постучали.

Еще раз.

— Кто там?

— Это я, — ответила Кася.

— Уходи отсюда, Кася, и не стучи ко мне! Я больше ни до чего не касаюсь.

— Пани, там вас Хацкельс спрашивает.

Хэлена легла на постель и накрыла голову подушкой. От волнения ее стала бить лихорадка. Она завернула на ноги одеяло.

Панна Марья, какая у Хэлены судьба! Ведь у ней был Бруно. Зачем же судьба отняла у ней Бруно? Студент Бруно...

Она только что окончила гимназию... Бруно, высокий, тонкий, взволнованный... Бруно, Бруно, дорогой мой! Бруно со своими фантастическими и увлекательными желаниями разрушить ветхую жизнь... Как она верила ему! Он страдал за народ и ее научил этому страданию. Она не понимала, как можно жить и не страдать от того, что кругом страдают. Война, угнетение, насилие! И среди всего этого обличителем стоял Бруно. Она понимала его с полуслова, потому что он говорил ее мысли, ее слова. Поэтому так беспредельно она его любила. Как она его любила! Панна Марья, как она его любила! Теперь, через столько лет, невозможной кажется ей эта любовь. Такой невозможной и такой небесной! Потом Бруно арестовали... Что с ним? Жив, умер? Бежал за границу? Конечно, нет. Он не бежал за границу. Разве Бруно бросил бы народ и ее, мать своего Стася? В свои самые черные минуты она старалась себя уверить, что он бежал. Но ведь она знает, что это не так. Он в тюрьме. Он жив. Бруно не мог умереть! На-днях его могут выпустить. В последнее время в газетах статья за статьей о прощении. Как только она прочла первую статью, у ней затрепетало сердце. Это было в дни раздумий. Она пришла к какому-то рубежу. Она вспоминала молодость, мечты, свою чистоту. И все, что было потом, в эти дни раздумий показалось лживым. В детстве она понимала орховскую нищету и народные страдания... в детстве! Не говоря уже о юности... А теперь? И вот Бруно выпустят из тюрьмы, и они встретятся. Панна Марья, что будет, если они встретятся?

Хэлена сбросила подушку. Годов точно не было. Она не ощущала никакого увядания в своем теле. Попрежнему это было сильное, красивое тело. Только тогда оно было тоненькое тело, которое вот-вот могло надломиться, а теперь это было пышное, полное здоровья, выносливое ко все-му тело.

Зыгмунд за окном крикнул:

— Если она еще раз прыгнет на крыльцо, руби ей ноги! Тут же на крыльце руби!

— Зверь! — сказала Хэлена.

Она встретила его через несколько лет после исчезновения Бруно. Как это бывает у женщин — непонятно, но ей показалось, что она даже не любила Бруно, полюбив Зыгмунда. До того любовь к Зыгмунду не

походила на любовь к Бруно. С Бруно было все так, точно Хэлена жила в своей душе. А здесь вся она заговорила, здесь участвовало все: все ее помыслы, все ее тело. И счастье было такое, что она не могла ночи провести без Зыгмунда. Когда муж уезжал, она не находила себе покоя. А сын Бруно был отдан. Стась был отдан. Жонсницкий потребовал, чтобы мать навсегда отказалась от сына, чтобы она забыла, как рожала и как кормила его. Она отдала его в Орхово, в крестьянскую семью. Она отдала сына потому, что больше любила мужа. Без сына она могла жить, без мужа — нет. Видит бог, это было так, хотя сына она тоже любила... А что случилось с ее страданиями за народ? Когда она встретилась с Зыгмундом, его осенял ореол русского революционера. Он боролся с царским самодержавием! Он казался ей больше Бруно. Бруно перед ним был мальчиком и по годам и по делам. А что оказалось потом? Потом в Польше революционер Зыгмунд угнетал народ. Зыгмунд подробно объяснил, почему он это делает. Хэлена испугалась. Но она была женой Зыгмунда, она любила его. Она старалась понять и оправдать его. Что ж, она добилась успеха... она поняла его. С каждым годом она все более приходила к мысли, что страдания неизбежны, что народ всегда страдал и всегда будет страдать, что ничего изменить нельзя... Панна Марья, она изменила и народу и своему молодому желанию бороться за него!

Еще раз в дверь стучала Кася. Должно быть, Хацкельс сидел на кухне и не уходил. Она вспомнила: сегодня он собирался привезти цесарок. Он причмокивал губами, когда говорил, какие у него цесарки.

«Цесарки — хорошо, — подумала Хэлена. — Но нет, я не выйду, я не могу выйти».

Она плакала. Она сравнивала первую любовь и вторую и видела, что первая была настоящая, хотя настоящего женского счастья она не успела испытать с Бруно. Но сколько там было трепета, сколько было чистоты! Однажды она долго не встречалась с Бруно... Шла по улице с подругой... И вдруг на противоположной стороне увидела Бруно. И он увидел ее. Он перешел через улицу. Она затрепетала, когда увидела, что он идет к ней. С чем можно сравнить охватившее ее блаженство? Это было счастье. от которого чело-

век переставал себя ощущать. Точно чело- века не было, а было только счастье. А вторая любовь? Что теперь осталось от этой второй любви?

В первый год брака Зыгмунд нашел фотографию Бруно.

Юноша с огромными, немного грустными глазами, чуть дрогнувшими в улыбке губами (он не выдержал процедуры съемки и улыбнулся фотографу), в рубашке с отложным воротником.

— Это он? — спросил Зыгмунд.

Хэлена что-то пролепетала.

Зыгмунд смял фотографию и принялся ее топтать.

— Топчи! — приказал он жене.

Хэлена закричала, застонала, разум ее помутился, и она топтала тоже.

... Панна Марья, она топтала его грустные глаза, его лицо, его душу! Целую неделю Зыгмунд не притрагивался к ней не разговаривал с ней, не смотрел на нее.

И от этого она страдала. Она любила Зыгмунда.

Как, панна Марья, две такие любви могут уместиться в человеке?

А сын? Стасик... дорогой, милый мальчик! Какой он был худой, когда она видела его в последний раз!

— Какой он был худой! — рыдала она в отчаянии.

Она видела перед собой высокого, худого юношу с такими же, как у отца, глазами. Она говорила ему, а он молчал.

Хэлена сжала ладонями голову, потому что голова не могла вместить той боли, которая хлынула в мозг.

Стась молчал, потом повернулся и пошел.

— Стась! Я тебе буду высылать деньги.

Он не обернулся.

Раз-другой мелькнул среди сосен его серенький костюм и пропал.

Растерянная, она продолжала шептать: «Я тебе буду высылать деньги!» Потом пошла, не зная куда, спотыкаясь о корни.

Она обещала ему высылать деньги. Она ни разу не выслала ему ни золотого!

«Что же делать, что же теперь делать?»

Она долго боролась со своей любовью к сыну. Все-таки он был сыном греха. Все-таки она зачала его без благословения церкви... без благословения родила... Стась, маленький, худой Стась, дитя ее Бруно, родился без благословения церкви. Она любила преступно, не думая ни о чем.

Что будет с ней после смерти, если сейчас такая мука?

Она рыдала, лежа на животе, уткнув голову в подушку. Потом все тише, все примиреннее.

Опять постучала Кася. Хэлена спросила грустно:

— Ну, чего тебе надо, Кася?

— Пани, какие яйца взять для бабки?

— Я не знаю, Кася. Бери какие хочешь!

— Я возьму те, что лежат в захованке, в камышевой корзинке.

— Хорошо, возьми те!

— Пани, а что сказать Хацкельсу?

— Скажи ему, что сегодня я не выйду. Пусть оставит цесарок!

— Пани, пан уехал в деревню.

— Хорошо, Кася, пусть уехал.

— Приезжал Сикорский.

— Бог с ним! Ты убрала в столовой?

— Все убрала.

— Ну хорошо! Иди, я очень устала!

Хэлена сняла капот и легла под одеяло. Под одеялом было тепло и уютно. Страдания потеряли остроту. От них остались тяжелая грусть и готовность быть мученицей.

Солнце повернуло за дом. Штора висела темная, тоже усталая. Усталый ветер отодвигал уголок шторы и бесшумно влетал в комнату. На дворе залаяли псы.

— «Пусть лают!» — подумала Хэлена. — Мне все равно».

Псы полаяли и перестали.

13

Зыгмунд садился на дрожки, когда увидел полицейского начальника Сикорского.

Сикорский ехал верхом. Зыгмунд прежде всего оглядел коня, хотя знал его так же хорошо, как и самого Сикорского.

— Подтяните! — сказал он.

— Да нет, что вы, не требуется!

— Не требуется?! Счастливый человек! Не то что палец, ногу можно пропустить!

— Я к вам с разговором.

— Всегда рад нашим разговорам.

— Привез секретное письмо от Вагмана.

— Рад секретному письму от Вагмана. Только сомневаюсь, чтобы он сумел написать толково.

Письмо Вагмана было на десяти листах. Зыгмунд перелистал, сказал:

— Много слов у Вагмана! Таким письмом можно бить по голове... Расскажите коротенько, дорогой, в чем там дело?

Как только Зыгмунд услышал имя Вагмана, на его губах появилась улыбка, и письмо он держал так, что мог рассыпать все листы.

Сикорский сделал таинственное лицо и рассказал, что, по последним известиям из Варшавы, политическое положение напряжено. У многих стран есть желание превратить Польшу в орудие своей политики.

Зыгмунд усмехнулся:

— Не поздно ли спохватились в Варшаве?

Сикорский не обладал умом для разрешения подобных вопросов, но, чтобы не уронить себя, неопределенно кашлянул.

— Многие страны, пане Сикорский, имеют желание превратить Польшу в орудие своей политики. А как мы с вами можем этому помешать? Мы сидим в глуши, ходим по этому песку, и вокруг нас такая дичь, какая, быть может, найдется только в Африке.

— Конечно, — пробормотал Сикорский, по блеску глаз Жонсницкого поняв, что Жонсницкий не склонен примириться со своими бывшими партийными товарищами. — Тем не менее, — продолжал он тихо, — особенно интересно то, что Вагман получил пространное распоряжение из Варшавы от самого Дукельского.

— Ах, от самого Дукельского! От светила! Тогда склоняюсь. Пан Сикорский, повидимому, уверен, что, когда Дукельский стал министром и диктатором, он стал умнее. В чем же заключается пространное распоряжение Дукельского?

— Дукельский предлагает возбуждать у русского населения любовь к Польше.

— Ого! Молодец! Я думаю, что этому очень хорошо содействуют секвестраторы и, в частности, ваша деятельность, пане Сикорский.

— Что делать, что делать... исполняем свои обязанности! Если вы намекаете на то, что произошло недавно, так скажу вам, что это государственная необходимость обороны. Нужны деньги на флот.

— Именно на флот. Флот только и можно построить, взыскав с крестьян недоимки.

Сикорский не понял, смеется Зыгмунд или говорит серьезно, покосился на него и опять неопределенно кашлянул.

— Я вам скажу: у каждого государства есть своя логика, — сказал Зыгмунд. — Возбуждать любовь у русских! Я вам скажу: логика секвестраторов — это настоя-

шая логика Польши, потому что Польша— бедное государство. Это известно всем, а также мне с вами. Кроме того, Польша есть польское государство, то есть государство для поляков. Какими же мерами Дукельский предлагает возбуждать любовь к Польше у не-поляков? Быть может, он думает воскресить идею маршалка о федерации? Но ведь нужно быть Пилсудским, чтобы поднимать подобные идеи! А чем кончилась, между нами, его затея? Устроили позорный процесс и всю бело-русскую громаду сгноили в тюрьме. А почему? Потому, что у государства есть своя логика. Поляки любят Польшу, и Польша любит их. Вот как мы молимся! Когда я стану у власти, я не любви буду добиваться у русских, а трепета.

Сикорский слегка развел руками.

— Скажите, пожалуйста, вы, который приехали просить нежности к тутэйшим, скажите, вы убеждены, что это люди? Скажите, положи руку на сердце! Что они делают со своей землей? Истощают ее, как холера и чума. Скот — вот что является решением Польши по этому вопросу. Скот, который должен работать на нашей земле под свист бича. Скот, который нужно выгонять по утрам на работу и вечером загонять по хлевам. Только в этом смысл существования тутэйших в Польше. А собака Дукельский после своего ренегатства совершенно сошел с ума.

— Напомню, что по отношению к евреям его мысли приняли более отчетливый характер, и есть надежда, что еврейство в Польше будет искоренено.

— Все это танцы!

— О чем вы говорите, что это танцы?

— Танцы Дукельского. Вы думаете, Дукельский искоренит евреев? В свое время он собирался искоренять и тутэйших. А потом отбил каблучками фигурку и поклонился им. Кой-что он заработал на этом; в шапку ему бросили монетку. Ничего не выйдет, пане Сикорский! Никакой поддержки этому безумию вы у меня не получите. И к помещикам не обращайтесь, и осадники думают, как я! Не смущайте себя этим бредом!

— Тем не менее, — не отступал Сикорский, — на предпоследней странице есть проект обращения к помещикам. Дукельский призывает подумать о судьбе отечества и сделать то, что не удавалось до сих пор, — дать тутэйшим излишки помещичьей земли.

— Гениально! Покажите мне это место! Обращение Дукельского было написано торжественным стилем.

Зыгмунд захохотал.

— Пойдемте, пане, пить настойку! — сказал он. — Люблю выпить рюмку, после того как узнаю что-нибудь умное. Напишите Вагману, что я приветствую его и Дукельского и буду продавать тутэйшим излишки польской земли.

Через час Сикорский уехал. Через четверть часа после отъезда Жонсницкий в зеленом охотничьем костюме и желтых сапогах тоже выехал верхом.

В гмине не было ни войта, ни Рыдзевского. Письмоводитель сидел и писал бумажонку.

— Сиди, сиди! — сказал ему Зыгмунд. — Вот перепиши этот мой документ и повеси его на дверях и на стене!

Письмоводитель вынул стопку чистых листов, транспарант и стал переписывать. На лице его отобразилось удивление.

— Что, нравится?

— Проще пана, люди очумеют от счастья.

— Пусть чумеют! Только смотри, пиши покрупнее, а то у вас в гмине наводят экономию на чернилах.

Через два часа на стенах и дверях гмины висело объявление о том, что Зыгмунд Жонсницкий продает крестьянам излишки своей земли. Покупателям банк будет предоставлять ссуду.

ЧЕТВЕРТАЯ ГЛАВА

14

Стась вошел во двор, в обыкновенный двор-колодец, где пахло мокрым асфальтом, кухней и еще чем-то сложным, противным, но, несомненно, человеческим.

Гаражик Стася был распахнут. В дверях стоял полицейский, за ним мелькал чесучовый китель хозяина дома Кавалка.

Сердце Стася заколотилось. Он подошел к гаражу. Полицейский равнодушно посмотрел на него.

— Что такое? Кто открыл без моего ведома гараж? — спросил Стась.

Кавалэк разговаривал с полицейским и не счел нужным обратить внимание на Стася.

— Что такое происходит в моей школе? Я уплачу...

— В его школе! — пожал плечами Ка-

валэк. — Довольно мне, пане Шенинг, морочить голову!

От его спокойного, делового тона, от сигары, торчавшей во рту, от золотистого кителя шло такое могущество, что Стась растерялся, как терялся при встрече с ним всегда. Он презирал себя за эту растерянность страшным презрением, он клялся говорить с ним веско, угрюмо и даже пренебрежительно. Он имел, в конце концов, право требовать. И ничего не получалось.

Полицейский писал за столоком акт.

— Я улачу, — сказал Стась. — Прошу отсрочки... Разве нельзя мне поверить, если я прошу? Ученики внесут, и я заплачу...

— А вот это? — Полицейский указал на ящик со слесарными принадлежностями.

— И это! — буркнул Кавалэк.

— У меня ученики небогатые. Мне, конечно, трудно...

Стась замолчал. Слова, приходившие в голову, были такие жалкие, что не стоило их говорить.

— Мелет человек, мелет! — сказал, наконец, Кавалэк. — Когда это вы мне заплатите? Откуда это у вас будут деньги? У вас всего два ученика. Да у вас и прав нет на преподавание! Я пошел вам на встречу: разрешил работать в моем гараже и вонять на весь двор.

Полицейский опечатал гараж, пожал руку Кавалэку и пошел, поскрипывая сапогами. Кавалэк оглядел двор, тусклые скна во двор, что-то пробурчал и пошел тоже.

Мальчишка Янэк в соседних дверях наблюдал происшествие. Это был бедный мальчишка, сын швеи из подвала. Стась не раз катал его в машине.

— Что они делали там?

— Описывали мое имущество. Это чашенько водится между людьми.

Стась посмотрел на опечатанные двери и последним из трех действующих лиц покинул двор.

Противно было, что улица залита асфальтом и дома многоэтажны. Нельзя было понять, что такое мир, почему в нем многоэтажные дома, почему они стоят веками и не падают.

И если когда-то, например еще вчера, нравилась голая асфальтовая улица, то сейчас хотелось травы, простой травы, от которой пахнет травой, псом, босыми детскими пятками.

И сесть бы в эту траву и сидеть и сказать миру: «Холера, сука!»

Сейчас он ненавидел всех. Больше всего себя. В жизненных испытаниях, которые выпадали на его долю, он всегда оказывался битым.

Свернул в переулок. Среди бульжника пустынной улицы росла трава. Из окна четвертого этажа свешивалась девушка. Она переговаривалась с подругой на балконе третьего этажа.

Стасю стало противно от того, что девушки веселы, толсты и, повидимому, ни о чем прискорбном не думают.

На мосту через Вислу он остановился. Солнце садилось за реку. Река рвалась к облакам, огненная, живая, совсем не похожая на то, что было вокруг нее. Несмотря на то, что по мосту звенели трамваи, несмотря на то, что на пражском берегу свистел паровоз узкоколейки, собиравшийся тащить вагоны в Яблонну, несмотря на то, что у дебаркадера толпились пароходы и подходил большой белый пароход, шума колесами, а с моста виднелись другие мосты, фабричные трубы и безмятежные высокие здания столицы, несмотря на то, что всего этого было очень много вокруг, — река не подчинялась этому и оставалась сама собой.

Она походила на небо, на облака. Она была сродни солнцу. И Стась почувствовал: сейчас она сродни ему.

Он понимал ее, и она понимала его. Он ненавидел все человеческое, и она ненавидела. Она плыла к огненному небу.

Нужно было решить, что делать. Сегодня Стась остался, можно сказать, без имущества и надежд.

«Зайду в кино» — решил он.

Кино «Сфинкс». Грудастая красавица со звериным животом и лапами смотрит на него.

Не стоит отдавать пятьдесят грошей, чтобы смотреть на мираж и подлость.

Он не пошел в кино.

Из костела неслись звуки органа, сильное, но жидкое хоровое пение. Костельное пение Стасю не нравилось, но орган нравился.

Нищие сидели на паперти и в притворе. Должно быть, очень богатые нищие: с красными, толстыми мордами, со счастливыми глазами.

Длинноволосый мужчина приложился к распятию у двери, опустил пальцы в каменную каплицу, перекрестился освященной водой. Женщина обмыла деревянное полированное бедро Христа, поцеловала

обмытое место, перекрестилась водой и прошла вперед.

Нищие смотрели на Стася и тянули руки. Он посмотрел им в глаза, и двое опустили руки, а три старухи забормотали мольбы.

Орган сразу захватил Стася, но не успокоил его и не умиротворил. Ксендз в белом одеянии молился у алтаря.

Люди, проходя мимо алтаря, опускались на колени на деревянные скамьи. Одни застывали на минуту, другие, — кому доставляло наслаждение молиться вблизи алтаря, — надолго.

Стась прислонился к колонне. Его последнее предприятие — автомобильная школа — лопнуло. Больше у него нет старого автомобиля, купленного за пятнадцать злотых на автомобильной сваке и с огромными усилиями приведенного в порядок.

Орган смолк. Запели. Пели пронзительно и как-то чересчур восторженно. Потом смолкли. Ксендз в бело-синем одеянии поднялся в проповедальню. Круглолицый, красивый ксендз заговорил звучным, на весь костел, голосом. И руки его простирались над паствой в такт его словам.

«Я бы мог быть ксендзом, — подумал Стась. — Если бы у меня была другая мать, я стоял бы здесь и возвышался над людьми».

Длинноволосый мужчина молился на коленях невдалеке от него. Должно быть, он был несчастен. Щеки его ввалились. Наверное, его выгнали с работы.

Стась задумался.

Невысокий, полный молодой человек остановился около него, взгляделся, сказал:

— Стась!

— Мой бог! — воскликнул Стась. — Юзэф!

— Тише, люди богу молятся!

Они прошли к выходу. Орган тихонько разливался на хорах. В притворе Юзэф приложился к распятию. На Стася пронзительно черными глазами смотрела нищенка. Стась усмехнулся и приложился тоже.

— Так ты в Варшаве... Я думал, что тебя, быть может, уже и в живых нет... Послушай, Юзэф, ты преуспеваешь. Костюмчик на тебе стоит не менее тридцати злотых. Что с тобой случилось?

— В некотором роде преуспеваю, — сознался Юзэф. — Какой вечер! Совсем лето.

Вечер был действительно хорош. Теплый

и тихий в небе, между застывшими облаками, и, пожалуй, не менее хороший на земле, на тротуарах, у витрин, между красно-золотыми трамваями, автомобильными фарами и велосипедистами.

— Ничего себе вечер, — согласился Стась. — Ты надолго в Варшаву?

— Я в Варшаву по делам, — сказал многозначительно Юзэф, следя за тем, какое впечатление на Стася произведут слова: «по делам».

На Стася слова произвели впечатление. Он внимательно посмотрел на друга. Юзэф взял его под руку.

— Зайдем в пиварню, если пан Шеннинг попрежнему любит позволить себе бокальчик!

— Попрежнему люблю. Но надо сказать: денег ни гроша.

— Не беспокойся, плачу я. Я, понимаешь ли, зашел в костел... все-таки достопримечательность. У нас, в Белостоке, есть хорошие органисты, однако тут просто блеск.

— А я зашел в костел, чтобы при божьем содействии решить, какой вид смерти избрать для себя.

— Значит, все попрежнему?

— Попрежнему.

— А я вывернулся!

Он засмеялся. Ему приятно было сообщить Стасю, что он вывернулся, — Стасю, свидетелю бесконечных его бедствий.

Когда-то они вместе бродили по Западной Польше в поисках работы. Не сходные как по внешности, так и по характеру, но сроднившиеся по общей судьбе.

Они пробовали учиться в Германии в политехнической школе. Они продержались в школе с большим напряжением полгода, и, наконец, голод выбросил их на улицу.

— За три года ты не изменился, — говорил Юзэф. — Такой же, ей-богу, худой и мрачный. А я растолстел. Помнишь, я был так худ, что стыдился ходить в рубашке. А теперь есть все: грудь, плечи, спина... Зайдем в эту пиварню?

— Мне все равно, в какую. Зайдем в эту!

У стойки и за столиками посетители пили пиво. Кельнеры бегали, сверкая бокалами. Пела радиола. Девушки и женщины пили вместе с мужчинами.

Стасю вдруг стало хорошо. Несмотря на свое сегодняшнее несчастье, он ощутил какое-то удовлетворение от того, что

в этом непонятном мире можно бездумно пить пиво.

— Кельнер, прошу два марцевого! — заказал Юзэф. — Ты что себе позволишь к пиву? Сыру?

— Могу позволить себе сыру.

Кельнер убежал.

— Теперь я вижу, что тебя посетило благополучие, — заметил Стась. — Открой секрет, каким ходом?

— Сейчас скажу. Но прежде о тебе. У тебя так-таки ничего?

— Ничего. Была шоферская школа... Я возлагал на нее надежды... Никогда в жизни я не писал матери, а тут, когда увидел, что все разваливается, написал... Ну, так вот: сегодня школа закрылась, хозяин гаража все продает с молотка.

Кельнер принес пиво и сыр. Сыр был нежножелтый. Стась взял в рот и почувствовал, как хорошо есть сыр. Он усмехнулся детской своей радости и положил в рот весь ломоть.

— Твой ход?

— Мой ход? Женился! — Юзэф захохотал. Он так всегда хохотал: негромко, но сильно, больше в себя, чем наружу.

— Мой ход — женитьба. Старый, как жизнь, способ для бедного человека стать на ноги. В Седлеце, где меня мучила жизнь, прошел слух, что в Бресте требуется киномеханик. Я двинулся в Брест. Вылез из поезда в темный, мокрый вечер. Валит снег. Поднялся на мост в город. Посвистывает ветер. Иду без галош, башмаки полны воды, скольжу, цепляюсь руками за перила... Киномеханика, конечно, не требовалось. Собачья жизнь: на обратную дорогу денег нет, в животе пусто, валит мокрый снег... На последние деньги завернул в гостиницу «Альпы». Хозяин — пожилой человек. Работает вдвоем с дочерью. Дочь открыла мне номер. Потрогала печку. И я потрогал. Знаешь, когда платишь последние деньги, все особенно интересно. «Теплая», — сказала барышня. «Это когда она была теплая, — спросил я, — на прошлой неделе?» — «Нет, в самом деле, теплая». — «Не говорите глупостей», — сказал я. Одним словом, мы поругались. Отец пришел мирить: «Зося, печь холодная, надо выпить для гостя». — «Ах, пожалуйста!» Зося пошла за дровами. Я видел, как она шла по коридору. Ты бы посмотрел, Стась, как она шла по коридору! Ты знаешь, девушка на

голову выше меня, щеки розовые до самых висков, до самых ушей. Я никогда не видел такого потока румянца. Серые глаза, Стась, ей-богу, совсем мохнатые от натуральных ресниц. И губы полные. Ты знаешь, какие я признаю губы: чтоб они вздрагивали от одного твоего взгляда... Так вот у Зоси это было... Вот какое богатство шло по коридору. Жаль, что ты не видел, как она несла дрова! Я был тогда худой, щуплый, меня прямо с ума свело все это изобилие. Я подошел к печи и сказал: «Дайте уж, я вам помогу». Отрезала: «Мне не нужна ваша помощь!» Ну, говорить я умею. Раз мне отвечают, ответить я сумею... И потом с отчаянья человек на что угодно готов. Я думал, что у ней не меньше двух десятков женихов. Ни одной персоны! Оказывается, она в Бресте — не красавица. В Бресте красавицы — тоненькие барышни, от которых меня в ту мою голодную пору тошнило. А Зося почиталась слоном. И вот получилось, что я через пять дней стал женихом. «Буду, — думаю, — резать кур для господ постояльцев». Что мне еще оставалось делать? «Буду, — думаю, — двор подметать. А то, может быть, просто номерным меня поставят. Буду жить тихо, мирно... А каждый вечер — упоение: будет постилать тебе кроватку такая особа, за которую здесь, в Варшаве, человеку руки и ноги оторвут». Теперь о моем тесте. Он деревенского происхождения и в молодости ходил тряпичником, как и мы с тобой, между прочим, ходили. Только нам не повезло, а ему повезло. Он собирал тряпки так же, как и мы: по портным, по домам и даже по деревням. Но он делал то, чего мы не делали: сортировал тряпку и сортированную продавал дорожке. Одним словом, купил в Белостокѣ ветхую фабричку, а потом подвернулся и отель. И так как тряпка ему надоела, то на фабрике хозяйничал управляющий, а сам он жил в Бресте в «Альпах». Никогда я не думал, что сослужит мне службу мое тряпичное прошлое. Хозяин растрогался, когда узнал, что я собирал тряпку. А дочь я пленил другим... Одним словом, через месяц на собственную свадьбу я резал гусей, уток и уложил здорового кабанчика.

— Твой ход — индивидуальный, — сказал Стась. — Ему не так легко последовать.

— А в общем здорово?

— Здорово!

— Старик выделал в приданое за дочкой одну чесальную машину.

— Не много!

— Согласен. Не много. Он предложил мне заводить фабрикой или получить в собственность чесальную машину. Я предпочел последнее. Я стал собственником чесальной машины. Понимаешь, наконец-то я стал собственником! В цеху их было три. Я сидел целый день и смотрел, как работает моя машина и рабочий на моей машине. Чесальная машина перемешивает сорта и цвета. Хорошая машина! Я снизил заработную плату своему рабочему. Он бросил у меня работать. Я нанял безработного за половинную плату. Потом у разорившегося соседа приобрел два шарпачных станка. Я работал бешено, собирая грош за грошем. И, надо тебе сказать, жена работала так же бешено. Она увидела мою энергию и оценила ее... Потом свою чесальную машину я перенес в сарайчик к шарпачным, потом еще кое-что добыл... Одним словом, пей пиво, есть чем заплатить!

— Одним словом, ты фабрикант?

— Фабрикант.

— Это так невероятно, что я, с твоего разрешения, съем еще сыру. До тех пор буду есть, пока не наемся. Что хорошо в нашем государстве, так это сыр и пиво!

— Знаешь, зачем я в Варшаве?

— Я слушаю тебя.

— Я член «христиан-стрельцов»!

Две женщины прошли по залу, внимательно оглядывая мужчин. Хозяин возился у радиолы. Две женщины вопросительно посмотрели на Стася и Юзефа.

— Я не признаю партий, ты же знаешь,— проговорил Стась. — По-моему, и ты не признавал.

— Старый мой друг, Стась, с годами люди делаются мудрее. К тому же я всегда был старше тебя на пять лет. Одним словом, я признаю Дукельского. У него много недостатков, но что такое Дукельский сегодня? Это идея польского единства и польского могущества. Понимаешь, в нынешний тревожный момент, когда грозит война, среди хора министерского лепета один Дукельский мужественно провозгласил польское единство. Польская ткань, польская сталь! Ты понимаешь, что это значит?

— Гм! — запнулся Стась.

— Тут, дорогой мой, не «гм», а очень существенные вещи. Оставив в стороне

сталь и коснувшись только ткани, можно сказать, что это обозначает не только ткань в Польше, но ткань в Польше в польских руках. Понятно?

— Вполне.

— «Довольно иноплеменных» — вот что сказал Дукельский. Это, знаешь, о ком он сказал? О евреях. Причем не просто сказал, а основываясь на современной философской мысли Варваса. Варвас удивительный философ! Как все философы, конечно, путанный, но в разумении еврейства достигший кристальной ясности. Ты не знаком с его статьей? Только что вышла из печати. Я тебе дам. Дукельский — молодец, видит, как ястреб и сразу хватается что нужно. «Шпионаж и предательство везде,— заявил Дукельский.— Польские блага в руках иноплеменников! Еще год такой политики и государству — смерть!..»

— Предположим, — сказал Стась.

— Ты хочешь этой смерти?

— Мой боже, дай мне сообразить!

— Нечего соображать! Ты этого не можешь хотеть. И я этого не хочу. Никто из поляков этого не хочет. Поляки должны действовать.

— Предположим.

— Есть в Белостоке фабрика сукна Сокола, — тихо заговорил Юзеф. — Она около моей фабрички. Хорошая фабрика — семьсот рабочих. Я пришел к выводу, что эта фабрика должна быть моей.

— Хороший вывод!

— В Белостоке я не последнее лицо. Вагман, начальник железнодорожного узла, — начальник наших белостокских «стрельцов». Я его заместитель. Инициатива в моих руках. Мы решили осуществить призыв Дукельского. Мы в Белостоке, Стась, будем действовать, и мы уже кое-что сделали. Теперь слушай: в Варшаву я приехал за поляками. Нужны решительные, ничего не боящиеся варшавские поляки. У меня уже есть небольшой список... Как ты относишься к этому списку?

— А как я должен к нему относиться?

— Или одобрительно, или отрицательно.

Юзеф раскрыл блокнот и положил перед Стасем.

— Я никак не отношусь к списку.

— Хорошо, согласен. А как ты относишься к тому, что еврей Сокол владеет фабрикой в польском городе, и к тому, что не должен больше ею владеть? Как ты относишься к этой идее?

— Я могу одобрить ее, как и всякую другую идею. Ты же знаешь мои взгляды: любая идея и верна и не верна.

— Великолепно, — сказал Юзэф. — Я твой друг, и я помогу тебе стать на ноги. Сегодня ты встретил свою судьбу. Выйдем отсюда!

За дверьми сразу вмещались в людской поток, в теплоту позднего вечера, в блеск асфальта, в противную вонь выхлопного газа. Стучали женские каблочки. Мужчина любит мягкую каучуковую подметку, женщина — стук каблочки. Мальчишки продавали спички и папиросы. В «Золотой улей» вошла парочка. В «Золотом улье» сверкали зеркала, бомбоньерки, конфеты. Какие великолепные продавщицы продавали в «Золотых ульях»!

Когда у Стася не оставалось ни гроша, он нарочно заходил в эти сияющие храмы, чтобы смотреть на роскошь. Роскошное человеческое тело продавщиц было очень уместно среди прочей роскоши.

Из всех «Золотых ульев» самый великолепный был на углу Нового Света и Иерусалимских аллей. Какие там двигались руки: полные у локтей, тонкие у кистей! Когда продавщица выходила из-за прилавка, видны были ее ноги. Есть ли у другого существа на земле ноги, подобные ногам женщины? Эта простая легкость линий, соединенная с силой! Голодный Стась стоял, смотрел и чувствовал ненависть, и ненависть успокаивала его. Потому что в ненависти он чувствовал себя способным на все. Он выходил из «Золотого улья», засовывал руки в карманы и шел мимо магазинов, бензиновых колонок, ателье и театров, чувствуя, что он не отдаст даром свою жизнь.

Юзэф свернул в переулок. Придержал Стася за локоть и рассказал свой план.

— Сложно! — решил Стась.

— Не так сложно! Ты будешь капитаном команды. Ничего противостественного в твоей деятельности не будет. Польша — для поляков. Эту идею ты так же можешь принять, как и всякую другую. Не правда ли, ведь каждый народ занимает на земле определенное место? Он за эту землю проливал кровь, он на эту землю проливал пот, он хочет на этой земле заниматься торговлей, ремеслами, наукой. Соколы крови за нашу землю не проливали, потом ее не удобряли, а все плоды ее захватывают. Что ты можешь возразить против этого?

— Ничего. Я уже сказал: все идеи верны и не верны в одно и то же время.

— Тогда становись капитаном! Капитан — это важно. Понимаешь, я боялся, кого мне дадут в капитаны. Это дело такое, что нужен человек свой, доверенный...

Юзэф водил Стася из переулка в переулок. Мелькали окна, балконы, доносились человеческие голоса. В одном переулке играли на скрипке. Скрипач вил тоненькую нить мелодии, как паук паутину.

— Ну, хорошо, — сказал Стась. — Кавалек лишил меня хлеба. Почему мне не помочь тебе проделать то же с твоим Соколом?

— Bravo! Наконец-то!

— А сколько ты будешь мне платить?

— Скажу честно: денег у организации мало. Но ты можешь взять натурой. Например, ты можешь отобрать у еврея магазин, аптеку или еще что-либо.

— Есть у вас в городе хороший кинотеатр?

— Еще бы! О кинотеатре Зеликман знают в Варшаве.

— Тогда вот что... — сказал Стась.

И опять они свернули в переулок, в тихий, в котором ничего не было, кроме камня мостовой и камня домов, — ни звуков скрипки, ни людских голосов.

Друзья стояли посреди мостовой и договаривались. И когда, наконец, договорились, Юзэф ударил Стася по плечу, подхватил его под руку и повлек на Маршалковскую.

— Не сомневайся в том, что поступил правильно! Ты будешь защищать поляков, а поляки первые кандидаты на обладание высшими способностями. Знаешь статью Варваса о созревании в человеке высших способностей?

— Иди ты! — сказал Стась.

— Не «иди ты», а послушай, ведь ты тоже философ! Для созревания высших способностей, говорит Варвас, нужна тишина. Дух тишины наиболее соответствует природным качествам поляков, следовательно, поляки имеют все шансы развить в себе высшие способности прежде других народов. И так же тиха польская природа. Ее поля, леса, холмы — все призывает в ней к умиротворению. В ней нет ни грандиозных гор, вызывающих сумрачность и беспокойство, ни морей, не считая нашего Малого польского моря. И в этом высоком понимании миссии тишины — отсутствие настоящего моря, символа вечного беспо-

койства, шума, борьбы, знаменательно. Да, польские холмы, леса, озера, польские реки и польское небо исполнены тишины. О польском небе Варвас говорит удивительно.

— Замечательный философ!

— Нет, ты вдумайся и увидишь, что замечательно. Миссия Польши чудесна. Польша не хочет ни философствовать, ни завоевывать. Польша хочет петь. Она хочет петь своею жизнью, покоем, умиротворением, поэзией. Спокойная, радостная жизнь и вытекающее отсюда новое знание — вот что принесет Польша человечеству. Стась, слушай: Польша принесет рай. Польша призвана быть вождем на новом пути.

— Послушай, что с тобой? Ты просто сдержим!

— Это я пересказываю тебе статью Варваса. Статью об евреях я дам тебе специально. Тебе придется ее проштудировать. Варвас рассуждает здорово. Он говорит, что дух евреев прямо противоположен духу поляков, а тем более миссии Польши. Польша должна концентрировать элементы польского духа, рассеянные среди народов. Каждый народ, по Варвасу, имеет свой основной элемент. У евреев — элемент мирового беспокойства, смуты. Евреи всегда возмущали мир. Знаешь, почему сын божий воплотился среди них? Потому что свойства народа были таковы, что более всего соответствовали тому перевороту и возмущению, которые должен был принести на землю воплощенный бог.

— Вот это действительно здорово!

— Ей-богу, здорово! Ты теперь видишь сам. Всегда христиан смущало: почему Христос воплотился среди евреев, а не среди иного, христианского, или, так сказать, в будущем христианского, народа. И вот ответ налицо.

— Здорово, здорово... Отсюда после воплощения Христа в существовании еврейского народа нет смысла?

— Ты попрежнему гениален, Стась! Вот именно, после воплощения Христа существовать евреям, особенно на польской земле, нет смысла.

— А скажи, ты на самом деле пленен идеей о том, что Польша хочет петь своей жизнью?

— А ты разве не хочешь петь своей жизнью?

— Я хочу есть и пить, — сказал Стась. Они вышли на Маршалковскую около Венского вокзала. Напротив сияла молоч-

ными огнями «Полонья». Слева, по широкому простору Иерусалимских аллей, доносилось свежее ночное дыхание Вислы.

Юзэф намеревался отпраздновать соглашение ужином в «Полонье», но Стась не согласился идти в «Полонью» в старом костюме.

— Плюнь на свой костюм и пойдем!

— Нет, уж я не позволю плюнуть на свой последний костюм.

— Завтра у тебя будет новый.

— Не приставай! — сказал Стась.

Юзэф исчез за стеклянной дверью. Стась пошел по Маршалковской.

15

В поезде ели бутерброды с колбасой и апельсины.

На поезд бежали дороги, обсаженные тополями, холмы, мельницы, деревни — все то, что составляло пейзаж и содержание его родины.

Стась знал эти дороги по собственному опыту. Для босых ног осенью они неприятны.

Подростком он ходил по ним босиком весной, летом и осенью. Однажды отправился из одной деревни в другую, и осенний дождь сек его всю дорогу. Он шел босиком, в коротких штанах, набросив на плечи куртку. А ведь у него была богатая мать, которая из дому в магазин ездила на автомобиле!

И всегда, при редких встречах, она хватала Стася в объятия и шептала слова любви.

Отвратительная бывает у женщины любовь!

Стась дернул за ремень, окно скользнуло вниз — он выбросил апельсиновые корки. Корки было полетели, но по ним ударил ветер и прибил к земле. Потом ветер стал трепать оконные занавески, нести пыль, и Стась опять закрыл окно.

Отряд ехал в третьем классе, но Стась со старшими товарищами — во втором.

Его товарищи принадлежали к тем необыкновенно счастливым людям, которые принимают жизнь такой, какая она есть.

Богатые есть богатые и должны пребывать богатыми.

Бедные есть неудачники, которые могут стать богатыми.

Евреи есть евреи и подлежат искоренению.

Католики есть католики, и им принадлежит мир.

Вот все, что они знают и что кажется им важным. Кроме того, они знают, как есть, пить и насиловать. От еды, питья и насилия они испытывают наслаждение и презирают людей, которые от этого не испытывают наслаждения.

В поезде они рассказывали друг другу о количествах. Одни помнили количества на память; другие вынимали записные книжки; третьи подсчитывали узелки на шелковой нитке, царапины на корпусе часов.

Они гордились культурой своей родины. Этой культурой для них были пивные, публичные дома, мотоциклы и патефоны. Остальное принадлежало к архаическим тупостям и для счастья новых людей не могло иметь значения.

Им хорошо жилось.

Еще год назад Стась смотрел на подобных счастливицев с отвращением.

Он мечтал о Человеке, о человечестве. Перед ним носились неопределенные, но величавые идеалы. Какое-то нежнейшее человеческое состояние, которого он достигнет. Теперь он видел, что этого нежнейшего состояния в природе нет.

Оно бывает только в сердце, когда сердце нежно, когда оно созревает, когда, в силу атавизма, полно нежности.

Да, в силу атавизма! Как в материнской утробе человек бывает и протоплазмой, и лягушкой, и по-звериному волосат, так и созревающее человеческое сердце полно атавистических чувств.

К ним принадлежат любовь, нежность, самозабвение.

Некогда они выработались в мире и были нужны миру, но потом погибли под напором более мощных чувств: жадности, злобы, желания господствовать.

Вот последнее откровение мира: жадность, злоба, желание господствовать.

Добро не оправдало себя. Посеянное, оно не приносило ничего. Когда человек делал добрые поступки, например раздавал свои богатства бедным, ничего в мире не менялось, ни малейший трепет движения не проходил по миру. Но стоило человеку только пожелать чужого богатства, как мир охватывало волнение. Он извергал новые силы. Жизнь кипела, буйствовала. Люди объединялись, изобретали способы защиты, борьбы, победы. Они шли вперед.

И так в любой области, где проявляется

так называемое зло. Могучая и чудесная сила — зло!

Когда Стась пришел к этому выводу, ему стало страшно. Он хотел проклясть мир и отказаться от него. Но гордость отчаянья поднялась в нем. Он точно бросил вызов миру: раз ты такой, то и я буду такой! Если правда в этом, надо быть мужественным и принять ее.

Однажды в свое обычное, трудное, безденежное время Стась шагал по улице, опустив голову.

Вдруг услышал стук.

К его ногам упал ручной хронометр.

Ремешок расстегнулся, и драгоценные часы соскользнули с руки шедшего впереди офицера.

Стась поднял. Никого вблизи не было. Никто ничего не видел.

Какое-то чувство самозабвенной нежности охватило Стася. Ни о чем не думая, он догнал офицера и вручил ему потерю.

И только через несколько минут понял, что поступил как атактивист, как человек невероятно отдаленных времен, когда «добро» представляло еще реальную силу.

Разве он не должен был воспользоваться помощью случая?

К его ногам упало несколько сот золотых — жизнь на целый год.

Разве он не должен был вцепиться в добычу? Разве он не должен был защищать ее зубами, кулаками, хитростью?

А он пошел и отдал из своих рук свою жизнь! Кому? Офицеру, который мог купить завтра без всякого для себя ущерба новый хронометр.

Как это можно назвать?

Позором!

Стась шел за офицером согнувшись, втянув щеки. Он хотел броситься на него, чтобы отнять свой хронометр.

Но уже было поздно.

В тот вечер на собственном опыте он познал бессмыслицу добрых чувств, добрых поступков. Они не приводили ни к чему.

Теперь, когда он решил, какие свойства человека прогрессивны и утверждают жизнь, он доброжелательно относился к своим товарищам по дружине.

Они ели, пили и насиловали. Должно быть, так и надо!

Они чувствовали просто, но их простые чувства соответствовали победным свойствам жизни, представляли самую победив-

шую жизнь. И отсюда только и могло быть какое-то движение и развитие.

Рядом со Стасем сидел Бобровский, си-
лач с толстыми щеками и волосатыми ру-
ками.

С первой встречи он почувствовал рас-
положение к Стасю и предложил дружбу.

Молодчик Бобровский бывал в Белосто-
ке и теперь рассказывал подробно об
евреях Белостока.

Белостокские евреи отличались от дру-
гих евреев тем, что при равном с евреями
других городов богатстве и предприимчи-
вости они жили ближе к русской границе,
то есть к местам чумы, и профилактиче-
ские меры поэтому могли применяться к
ним шире и глубже.

Стась выкурил одну за другой две папи-
росы и согласился с Бобровским относитель-
но глубоких профилактических мер.

Члены отряда оделись туристами.
Стась, кроме того, купил себе светлокори-
чевый костюм из бельской шерсти. Такой
костюм соответствовал весне и не требо-
вал пальто.

На станциях Стась выходил. Приятно
было гулять по перрону в новом костюме
и, может быть, впервые чувствовать, что
имеешь какое-то место в жизни.

На маленькой станции он пошел в буфет
выпить сельтерской.

Рядом с ним покупала булку и колбасу
девушка. Стась нечаянно ее толкнул и по-
просил извинения. Она оглянулась и кив-
нула головой.

Это была бедно одетая девушка, в де-
шевенькой юбочке, жакеточке и шляпке
с крылом.

Девушка была маленькая, худенькая.
Плечики ее напоминали плечики десяти-
летнего ребенка, по носу и щекам высту-
пали веснушки. Но когда она улыбнулась,
Стась ничего этого не заметил, а заметил
только глаза. Глаза у нее были такие, ка-
кие принято называть «лучистыми».

Еще вчера Стась прошел бы мимо нее,
как мимо всех других женщин, ненавидя,
потому что любовь невозможна для нище-
го. А сейчас он чувствовал такое осво-
бождение и такие надежды, что сказал
громко:

— Вот так глаза!

Девушка удивленно посмотрела на него,
приняла от продавщицы пакетик, подняла
чемодан и пошла к выходу.

Стась пошел за ней. Впервые в жизни
весело пошел за женщиной.

Очень тоненькая и очень худенькая. Та-
кие женщины его никогда не привлекали.
Его привлекали женщины, имевшие всего
много. Но сейчас ему было так легко, что
захотелось пойти за девушкой из-за одних
ее глаз.

— У пани тяжелый чемодан.

— Я выносливая. — Она улыбнулась и
пошла быстрее.

Она, конечно, ехала в третьем классе.

«3» «3» «3» — под каждым окошком, на
каждой дверце пестрели огромные безвкус-
ные таблички с тройками. Маленькие ва-
гоны, огромные таблички!

На следующей станции Стась вышел
спять.

— Ты что-то зачастил, — сказал Боб-
ровский.

— Воздух, воздух... Весна! Я так
отравлен выхлопником, что не могу нады-
шаться.

Он вышел не для девушки. Он про нее
почти забыл. В самом деле, она не привле-
кала его. Но когда он увидел ее в окне
вагона и она посмотрела на него как на
знакомого, ему захотелось подойти к ней.

Надо было что-то сказать, но он не
знал — что и прошел мимо. Сказать ка-
кую-нибудь веселую глупость или веселую
истину, вроде того что «пленен глазами»,
или сказать поэзию: «Смотрите, пани, как
хорошо! Завтра появятся одуванчики!»

Стась повернул назад, но тут поезд тро-
нулся, и Стась побежал к своему вагону.

Мелькали холмы, поля, сосновые и бе-
резовые рощи. Рощи появлялись вдруг
среди бесчисленных меж и полей. Иногда
настоящие дремучие пущи. И несколько
секунд казалось, что ничего вокруг нет
кроме первобытной лесной жизни. Ветря-
ная мельница. Стоит на холме, раскинула
руки и машет осторожно и важно.

По узкой подножке вдоль вагона про-
шел кондуктор и заглянул в купе.

Узенькие полосы полей бежали к гори-
зонту и, поворачиваясь, вальсировали. У
ручья крестьянин возился с конем. Конь
упал и придавил оглобли.

Через минуту и конь и крестьянин ис-
чезли за косогором. И опять бежал на-
встречу широкий мир, в котором Стась
получил наконец какое-то место.

Отстегнул ремень. Оконное стекло скольз-
нуло вниз. Стась выглянул навстречу ве-
сенней земле. Его охватил весенний ветер.
Он бросил кепку на кресло. Ветер растре-

пал его волосы. Он плюнул, и ветер понес его слюну вдоль поезда.

На остановке девушка топталась около своего вагона.

Это была маленькая станция среди косогоров и рош. От нее шла дорога не то к местечку, не то к деревне. По дороге неся велосипедист, завернув полы пальто на руль. Легкая пыль вылась за ним.

— Замечательная весна! — сказал Стась девушке так спокойно и ровно, точно знал ее с десяти лет. — Сразу такое божеское тепло!

— Я была только что в Друскениках, там так хорошо!

— Пани снимала дачу?

— Что вы! Мне дачи не снять. В Друскениках дача моего хозяина, он сдал ее в наем. Я отвозила дворнику распоряжения.

Она сказала о том, что у нее хозяин, просто, точно это было выгодно для девушки в беседе с мужчиной. Стасю сначала это не понравилось, — сейчас ему хотелось иметь дело со свободной, зажиточной девушкой, — но, когда он заглянул ей в глаза, понравилось.

— Ох, эти хозяева! — сказал он. — Я бы выкопал пруд и утопил в нем всех хозяев. Девушка засмеялась.

Она смеялась милым смехом, а голосом, несмотря на свое маленькое тело, говорила низким.

— Как господа люблю, утопил бы всех! Пани, я угощаю вас яблоками.

Торговка продавала красные яблоки, величиной с детскую голову.

— Мне такое не съесть.

— У пани острые зубы. Вот возьмите еще парочку!

— Мне некуда брать. Я уроню.

— Мир народил яблок для людей. Прощу есть!

Она откусила яблоко. Оно было сочное. Она его съела с наслаждением, и Стась свое съел с не меньшим.

Худая девушка, имевшая хозяина, была ему не нужна, но ему было приятно разговаривать с ней, видеть ее глаза и чувствовать, с какой охотой она говорит с ним и ест его яблоки.

— Почему вы так не любите хозяев? — спросила она с полным ртом.

— А вы любите?

— Я тоже не люблю.

— Почему ж это вы не любите хозяев?

— Почему не люблю? А вот не люблю.

— И утопили бы в пруде?

— Не знаю.

— Вижу по глазам, что утопили бы.

— Нет, честное слово, не знаю.

— А что сделали бы?

— Заставила бы работать.

— Хотел бы посмотреть, как это вы заставили бы работать хозяина моего гаража Кавалка!

Они съели еще по яблоку. Стась узнал, что девушку зовут Яней и что она едет в Белосток.

Руки у нее были маленькие и смуглые. Шляпа с крылом придавала лицу немного наивное выражение. Пожалуй, Яня была очень мила.

Поезд опять неся. Стась сидел рядом с Бобровским, и Бобровский рассказывал, как перед отъездом он пришел проститься со своей старой знакомой и не застал ее дома. Он сидел на диване и разговаривал с шестнадцатилетней дочкой знакомой. Девушка говорила, говорила, а потом положила голову к нему на колени и стала смотреть в глаза. Нельзя было оказаться невежливым, и он расстегнул на ней блузку, потом остальное. А потом пришла мать. Она увидела самое последнее... и — такая умная женщина! — вышла за дверь и дождала.

Молодчики смеялись. Стась не смеялся. Рассказ Бобровского оскорбил его. Не тем, что Бобровский рассказывал о таких вещах, о которых не следовало рассказывать, и не тем, что женщины так невзыскательны, а тем, что Бобровский как бы указал Стасю на его глупость. До сих пор Стась думал, что женщины очень взыскательны, трудно доступны, и вел себя с ними сообразно своему представлению. Никогда за всю жизнь он не слышал столько рассказов о женщинах, как за эти несколько дней от молодчиков. И все рассказы о пристойных, уважаемых женщинах! Как же глуп был Стась! Что стоит, например, эта пристойная шестнадцатилетняя дочь уважаемой женщины? Ломаный грош! А может быть, настоящая ее цена огромна? Столько, сколько река стоит или море. Потому что это, может быть, стихия. И стала стихия Бобровскому.

На Белостокском вокзале пахло дымом. Пути от путей отгораживали железные щетиновые заборы. Нужно было бесконечно долго идти вдоль них, и молодчики с рук-

заками за плечами и альпенштоками в руках шли и ругали заборы.

С первых же шагов они почувствовали себя хозяевами. Стася захватило общее возбуждение... Действительно, вот вокзал, низкий и длинный. Вот мост, переброшенный через пути. Вот паны железнодорожные служащие, которым частенько завидовал Стась: какая у них блестящая форма, рост, упитанность, властный голос, тесная корпорация!

Он толкнул одного железнодорожника так, что тот отлетел к вагону, толкнул, потому что иначе ему пришлось бы ступить в лужу, и ничего — железнодорожник промолчал: он сообразил, с кем имеет дело.

Город показался Стасю обширным, слабо освещенные улицы — глубокими. Вывески тесно покрывали фронтоны домов. Деревья еще не шумели листвою и своей тонкой графичностью придавали улицам легкость.

Ночевали в соседнем с костелом костельном доме «Светоч», против детского приюта сестер-бернардинок.

Костел — из простого красного кирпича и тем не менее величественный.

Около костела — фигуры апостолов. И почерневший деревянный крест бочком и, как всегда, не у места.

Во время чаепития пришел Юзэф с плакатами, объявлениями, листовками и планами Белостока.

Он советовал быть осмотрительными и бесстрашными. Он напомнил, что порабощение и частичное уничтожение еврейского населения необходимы для блага страны.

— Таковы пути истины, паны католики, — говорил он, — таково завещание веков нам.

После чая и общей беседы Юзэф со Стасем вышли на улицу осмотреть места будущих операций.

— Богатый город, — сказал Стась, — магазины всех видов. Торговля и промышленность, так сказать, во-всю. Если ты получишь фабрику Сокола, ты достигнешь в жизни всего, чего хотел. Но имей в виду — кино должно быть моим!

— Все в твоих руках.

Над городом клубились тучи. Мохнатые, неуклюжие, они то разрывались, обнажая звезды, то накатывались друг на друга. Точно какие-то небесные медведи, топтались над самыми костельными крестами, над еврейской аптекой Моргулиса, наискосок от костела.

Рядом с костелом стоял дом ксендза, бе-

лый, оштукатуренный, под скандинавской крышей.

Разве не пора Стасю иметь собственный дом? В этом доме должна жить женщина, которая будет принадлежать только ему. Любить только его, рожать детей только ему...

Стась засвистал и взял Юзэфа под руку. В эту минуту он почувствовал, что победит. Он почувствовал упорство убиваемого, который собрал все силы, для того чтобы сбросить с груди убийцу.

Тучи, сырой, теплый ветер, часы на ратуше, и ботинки стучат по тротуару: «так-так, так-так».

— Они не вывернутся у нас, — сказал Юзэф. — Мы сожжем их так, что глаза у них полезут на лоб.

На возвратном пути они постояли на паперти костела, посмотрели направо, на рынок Костюшки, налево, вниз, на деревья парка и расстались.

Молодчики спали, кроме Бобровского. Для Стася он занял постель рядом. На столике красовались бутылка вина и папиросы.

Стась пил дрянное вино, чтобы не обидеть великана, и курил, хотя сейчас ему не хотелось курить.

Бобровский рассказывал о том, как отец женил его мальчишкой на зрелой женщине, и жена не подпустила его к себе и даже спать ему подстилала в сенях. Ему было стыдно пожаловаться отцу, и он молчал. А потом, через годик, стал подсматривать в щелку, как раздевается жена, как моется...

Что было дальше с Бобровским и его женой, Стась не слышал — он заснул.

Юзэф ко дню вступления отряда в Белосток подготовил все, что мог.

Это были дни подъема антисемитской волны. Во Львове проповедь Дукельского уже успела дать плоды: студенты Львовского университета убили своего коллегу еврея.

От него требовали, чтобы он сидел во время лекций на особом, еврейском месте, но он стоял у стены.

Тогда студенты подстерegli его в саду и затащили в кусты. Убивали спокойно и обстоятельно: ни на теле, ни на костюме не обнаружили потом никаких следов борьбы. Должно быть, юноша не сопротивлял-

за не веря в свою участь. Для удобства за шею его даже расстегнули галстук и воротничок и только после этого перерезали шею.

Убийц не обнаружили, хотя весь Львов знал их.

Весть об убийстве разнеслась по стране мгновенно, и поэтому, когда белостокский союз «христиан-стрельцов», во главе с Юзефом, организовал торжественное шествие по городу, еврейские магазины закрывались и евреи исчезали с улиц.

После демонстрации Юзеф отправился на фабрику к Соколу.

Посреди фабричного двора, у сверкающей кучи антрацита, еще не старый, но уже седой Сокол разговаривал со служащим. Он сразу стал путаться в словах, когда увидел Юзефа.

Юзеф, — руки в карманах, папироса во рту, — равнодушно оглядывал двор и фабричные, давно известные ему строения.

— Чем я обязан посещению пана? — спросил Сокол.

— Предложение такое, — сказал Юзеф, — и самое последнее: вы передаете мне фабрику, причем я согласен на уплату известной суммы. . . в рассрочку.

У Сокола побурели и без того бурые щеки.

— Пусть пан идет, куда хочет!

— Я стою на своей польской земле, пане Сокол! Не забывайтесь!

Сокол, не отвечая, зашагал в контору. В кожаной куртке, в старой, засаленной кепке, богатейший человек города.

— Пеняй на себя, Сокол! — крикнул Юзеф. — Дальше не будет мира, дальше будет война.

Вначале Юзеф хотел устроить бойкот сукну Сокола. Но вместе с Вагманом они рассчитали, что один бойкот — трудное, хлопотливое дело с неизвестными результатами. Бойкот плюс физическая сила — дело с точными результатами.

Зося следила за всеми перипетиями составления плана борьбы. Она почти поэтически увлекалась борьбой.

Она так верила в успех, что утвердила все расходы на отряд Стасы.

Ближайшим помощником Юзефа был Бучиньский, владелец аптеки в тихой улочке около вокзала. Должно быть, по причине здорового воздуха, напоенного ароматами близких полей, и населения окраины, не в пример центру, выносливого и терпеливого, аптека работала плохо, и все мысли

Бучиньского сосредоточились на том, чтобы отнять аптеку у провизора Моргулиса, прекрасную аптеку в центре города. Такую богатую, что Моргулис купил дом, в котором помещалась аптека.

Провинциальной Зосе хотелось в Варшаву. Иметь дом в Варшаве, в Аллее роз или где-нибудь около Лозенковского парка. . . А потом в Париж! Одно несчастье в Париже: что ей делать в Париже со своим огромным, здоровым телом? Придет буйволица в Париж — и все шарахнутся от нее.

Но все равно она приедет, хотя бы на неделю.

Она была уверена, что красивые женщины должны быть буйволицами, но что делать с требованиями века и городского стиля?

Городской стиль и век требуют маленьких женщин, которые могут свободно и легко двигаться в маленьких пространствах комнат, улиц, кабинок автомобилей и самолетов.

Но на берегу моря кто сравнится с Зосей Водзиславской? Поэтому после Парижа — морской берег: Средиземное море, Индийский океан. . .

Не будет она всю жизнь сидеть в Белостоке, в деревянном домишке на берегу Бялой, мутной, грязносинею, вонючей, — на берегу большой сточной канавы.

В тот вечер, когда в Белосток прибыла дружина «христиан-стрельцов», супруги долго в столовой за маленьким столом пили чай.

На столе, рядом с вареньем, лежал список магазинов, на которые готовился первый набег.

На большие магазины, на богачей. Чтобы всем стало ясно, что Белосток — земля польская.

Зося жевала булку с вареньем и говорила:

— Скоро настанет счастье нашего Бучиньского. . . Завтра настанет. . . Я пойду смотреть, как он будет отбирать аптеку. . . Я вообще буду смотреть за вами. . . Мужчины — народ ненадежный. . . на мужчин есть способ воздействия.

Она думала о вине и о том роде воздействия, к которому принадлежала сама: на мужчин можно легко воздействовать женщинами.

После чая ловила пространство. Говорили из Берлина, Лондона, Парижа.

В Берлине упрекали Польшу в непони-

мании исторических путей и сопротивлении логике истории. В Берлине говорили о государствах первой величины и о государствах второстепенных. Государства, пусть очень важные, но второстепенные, должны подчиняться ответственному пути через историю государств первостепенных.

— Неужели будет война? — Перевела стрелку на другую волну. — Надо торопиться! — И снова перевела стрелку.

Пространство хрипело и тоненько свистело. Потом запело мужским баритоном.

Зоя уселась поудобнее и принялась слушать.

18

— Панове, прошу вставать!

Одеяла зашиты в простыни. Хороши белостокские одеяла: легкие, пухлые! Точно в простыне не одно одеяло, а четыре. Не хотелось вставать в такую рань. Молодчики открыли глаза и потягивались.

Стась оделся первым. Через окно он видел двор, часть костельной кровли, еще какие-то крыши и трубы.

В семь часов утра вышли из дому и разделились на группы.

Шли на штурм десяти больших еврейских магазинов.

Штурмовали быстро и дружно: стекла витрин и вывески заклеивали обращениями к христианам, оставляя только полоски с еврейскими фамилиями владельцев:

«Свой — к своему».

«Христиане, покупайте у христиан».

«Довольно набивать живот кровопийцам».

Некоторые из стрельцов говорили короткие речи; в иных местах оцепляли магазины.

Стась перебегал от одной штурмуемой точки к другой, наблюдая за окружением и исправляя ошибки.

Вокруг все было прекрасно. Евреи пугались, поляки радовались.

Даже либеральные интеллигенты проявляли любопытство с оттенком радости.

Стась отметил про себя эту жизненную черту современного человека: живой, радостный интерес к чужому несчастью.

С ним заговорил не то адвокат, не то врач. Собеседник возмущался «стрельцами», но с таким веселым блеском в глазах, с такой улыбкой на губах, которую он хотел и не мог подавить, что Стась на полуслове повернулся к нему спиной.

Кино Зеликман Стась, чтобы не было потом никаких домогательств, решил штурмовать один. Только великана Бобровского он пригласил подойти на всякий случай.

Кино Зеликман! Кино было мечтой Стась. В годы отчаянной варшавской нужды он совершал героические поступки: трижды ходил к капиталистам и спокойным, веселым голосом просил в долг несколько тысяч. Под большие проценты. Дважды его выгнали вежливо, однажды невежливо.

Он не пал духом. Кино притягивало его. Он написал письма в Америку миллионерам. Написал честно, мужественно, откровенно. Написал, как человек пишет человеку. Все же они, — и Стась и миллионеры, — живут на одной планете, и вокруг — чорт возьми! — так называемая бесконечность. Разве не могут миллионеры услышать и понять голос человека? Он просил займы небольшую сумму, чтобы открыть кино. Самое маленькое, даже не в Варшаве, а где-нибудь в местечке. И стать на ноги. Целый год ждал он ответа. Пльотра. Два года. Из десяти миллионеров не ответил ни один.

Кино Зеликман!

Стась зашел к дворнику в своем рабочем костюме: в коротких туристских штанах, с рюкзаком за спиной, с длинным альпенштоком.

Коротко приказал дворнику:

— Прошу лестницу!

Дворник сразу сообразил, заторопился, извлек из сторожки лестницу и сам понес на улицу.

Стась внимательно оклеил фасад кино.

Обращения точно выливались одно из другого. Кроме того, на толстой оберточной, крепкой, как кожа, бумаге он выписал огромными буквами сверкающей черной краской:

«Христиане, читайте!»

Он работал не торопясь, до вечера было далеко. Около него толпился народ. Гимназисты и гимназистки читали обращение вслух. Пожилой еврей сказал Стасю:

— Молодой человек, молодой человек!

Стась обернулся и посмотрел на еврея. Тот смолк. Розовощекий седой человек в отличной английской шляпе. Наверное он хотел воззвать к человечности. Через пять минут он исчез. «Ни о какой человечности не может быть и речи, — напомнил себе Стась. — Никакого размягчения души, которое ведет к смерти. Ясность сил, направленных к самозащите, потому что Стась

хочет жить! Он имеет право жить, он будет жить».

Печатные обращения были, по мнению Стася, малы и невнушительны. Он решил переписать их от руки. Раздобыл в соседней лавке мольтбертик и писал на нем. Он чувствовал себя как на войне, как на охоте. Когда человек охотится, он, наверное, испытывает такое же захватывающее чувство. Обострены глаз, слух, ум.

Стась просидит у этих дверей хоть месяц, хоть два, пока хозяин не обанкротится. Нужно заставить его не только закрыть кино, но и бежать, бросив театр со всеми стульями, занавесками и аппаратом.

Высокая, полная женщина остановилась неподалеку. Легкое коричневое пальто, маленькая шляпка.

— Работайте, пане, — сказала она. — Я — Зося Водзиславская.

— Приношу почтение пани Водзиславской.

— Спасибо! Но лучше вы принесите нам победу. Нам и себе. О вас столько рассказывал мне муж!

— Рад, что он рассказывал обо мне достойные вещи!

Стась взобрался на лестницу и расклеил большой плакат. Когда он спустился, Зоси не было. Она отправилась дальше со своим инспекторским осмотром.

После обеда подошел Бобровский. Он дежурил у аптеки, а больные шли и шли в аптеку за лекарствами, ибо аптекарь Моргулис был не только провизором, но и доктором, получившим медицинское образование в Петербурге.

Больных уговаривали не заказывать лекарств Моргулису. Больные мялись, что-то бормотали и, улучив минуту, проскальзывали в дверь.

Тогда приняли решительные меры: зеркальные стекла засверкали под ударами бумажников. Несколько, особенно упорным больным христианам надавали, как говорится, по шее. Моргулис выскочил из аптеки, сначала закричал, а потом испугался и опустил железные шторы. Ему грозили кулаками и смертью, если он не перестанет отравлять поляков.

После обеда Моргулис повесил на дверь замок.

— Победа! — сказал Стась Бобровскому. — Молодцы!

В четыре часа из ворот дома рядом с кино Зеликман вышла женщина. Шляпка с черным крылом открывала круглый лоб.

Женщина не была красива, но она была приятна: вся легкая, от тупель до плеч.

Стась написал последнее воззвание и отошел на мостовую, чтобы издали осмотреть сделанное.

Даже с противоположной стороны улицы отчетливо читались его буквы.

Женщина подошла к нему:

— Прошу пана на два слова. Моя фамилия — Зеликман. Я владелица кино.

Под воротами она сказала:

— Прошу пана зайти ко мне в дом.

Стась пожал плечами. О владельце кино он думал как о пожилом, брюхатом человеке и уже в своих мыслях видел его с пожелтевшими щеками и чемоданом в руках, берущим билет в Америку.

Зеликман ввела Стася в просторную столовую с круглым столом, с огромным диваном и низким буфетом. На сверкавшей полированной доске буфета стоял бронзовый Ахилл.

На улице Зеликман выглядела спокойной, но здесь пальцы, которыми она оперлась о стол, дрожали.

— Я вас пригласила, чтобы спросить... Что происходит? Скажите, ради бога!

Стась сел на диван.

— Я думал, что пани пригласила меня для деловых разговоров. Ведь и без моего ответа понятно, что происходит.

Зеликман коротко вздохнула. У ней были яркие, красные губы, естественно-красные, без помады. Зубы поразили Стася. Они сверкнули. Таких зубов Стась никогда не видел. Только теперь он понял, что значит красота зубов. Они точно жили, прикрытые красными губами.

— Я хочу спросить пана, за что на меня гонение? Ведь это гонение, не правда ли? Чем я провинилась? Картины я демонстрирую всегда лучше... цены умеренные... Пан был у меня в театре?

— Не был.

— Пан может пойти и проверить все. У меня есть отзывы посетителей.

Стась смотрел то на женщину, то в окно. Когда он смотрел на женщину, он видел ее встревоженное, бледное лицо, маленькие круглые груди под зеленой шелковой блузкой; когда смотрел в окно — видел тополя, за топелями — дома. И то и другое ему нравилось, и он знал, что со своего пути теперь не сойдет и своей жизни не отдаст. Он сказал:

— Пани, я буду откровенен. Всю жизнь я жил, как собака. Меня бросила мать.

Каждый осел мог лягать меня. Если б вы знали, сколько раз меня били! И как били! Валили с ног и топтали. А я все искал справедливости... Я все думал: должна же наконец справедливость взглянуть на меня своим оком! Вот вы посмотрите на себя: вы одеты так, что видно, насколько хорошо ваше тело... Прошу извинить меня и не подумать, что я говорю грубость... Будем разговаривать о таких вещах откровенно, как врачи... Здоровье, нежность и легкость у вас везде. Вы знаете, какую для этого надо есть пищу? Клецки на воде и селедку с луком? Нет, пани, здесь надо питаться другим. Я тоже, пани, хотел бы быть таким, как вы. Я человек, у меня есть право на жизнь. А жизни мне никто не дает... Что ж! Я сам должен взять ее!

Он откинулся к подушкам и вытянул ноги.

— Значит, вы собираетесь, как в аптеке у Моргулиса, бить стекла в моем фойе? Я не могу понять... У нас такая цивилизация и наука...

Стась прошелся по комнате и сел на подоконник. Всегда, всю жизнь он был просителем. В такую комнату, как эта, он входил сгибаясь, мям кепку в руках, кланялся, бормотал. А теперь он сидел на подоконнике, курил и был, что называется, хозяином положения.

— Вы, пани, призываете имя науки. Но современная наука здесь ни при чем. Современная наука вам не поможет. В чем ее суть? В том, что она разрешает вопрос, сколько в таком-то веществе таких-то частиц и сколько — других и как меняются одни частицы и как меняются другие. Почему вы думаете, что из этого следует, что вы должны богатеть на польской земле, а я должен на нейдохнуть? Я дам вам совет, как разумному человеку: сдавайте свой театр и уезжайте! В Белостоке у вас все кончено.

— Такой ненависти даже у животных нет. Я напишу письмо президенту.

— Какому? Американскому? Пани, я говорю с вами на честном языке борьбы, то есть на языке истины.

— Но ведь это грабеж?

— Эти действия для меня жизненно необходимы.

— Но ведь все люди называют это грабежом!

Стась пожал плечами и вышел из столовой медленным, широким шагом: нужно было дежурить у входа в кино.

В пять часов засияли огни. Стась и Бобровский стояли на страже у входа.

Публика останавливалась.

— Проходите, христиане! — говорил Стась. — Скоро здесь откроется христианское кино — тогда вы придете и принесете свои пятьдесят, а то и все девяносто грошей.

Польки-билетерши попрыгали в театре. Если они уйдут, Зеликман их уволит. Если уволит, что будет с ними? Где они найдут работу?

Стась вошел в кино. Кассирша смотрела на него из кассы.

— Пошла вон! — приказал Стась.

— Проше пана, я есть служащая.

— Пошла вон! — Стась поднял альпеншток.

Кассирша захлопнула окно. Билетерша выскочила из-за портьеры и хлопнула дверь.

Потом кассирша приоткрыла окошечко и спросила:

— Что пан хочет?

— Ну!

И кассирша, застегивая на ходу пальто, побежала к двери.

Стась прошел по театру. Превосходный театр! С портретами артистов и артисток. Прекрасные фотопортреты! На отличной бумаге, со всеми оттенками живого лица.

Целая стена занята выставкой акварели. Великолепная, тонкая акварель!

И зрительный зал хорош. Балкон, роспись на стенах.

В семь часов в театр со своей прислугой спустилась Зеликман.

Закрыли дверь, повесили на нее замок.

На Стася Зеликман не посмотрела.

Отлично! Первый день прошел и принес ту победу, которую должен был принести.

(Продолжение следует)

Александр Прокофьев

* * *

Я выдумал песню, какую хотелось,
Я вдунул ей голос грудной.
Я выдумал песню, которая пелась,
Ей было неплохо со мной.

Она уже неба глотнула.

И рьяно
Плясала за дальней верстой,
А после за Нарвской входила в баяны
Веселой такой и простой.

И выдалась песне дорога прямая,
По ней, всем раздольем храним,
Идет гармонист, на басы нажимая,
И песня летает над ним.

Я знал, разлучаясь, что болью исходит
Средь новых и давних лужков...
А ныне навеки!

Пусть по свету ходит
И больше находит дружков!

Бродяжничай песня, печалей не зная,
Пусть слышится голос грудной!
А если замолкнешь, то все ж вспоминая,
Как было неплохо со мной!

ИВАН ФРАНКО

I

Сам Франко назвал себя «хлопским сыном». И это было для него не только паспортной приметой, но программным определением всего его творческого пути, который им неразрывно связывался с развитием творческих сил украинского народа и в первую очередь — всей массы забитых и отсталых западноукраинских крестьян.

В автобиографических записях он указывал, что родился 15 августа 1856 года, в селе Нагуевичах Дрогобычского уезда, в семье зажиточного крестьянина-кузнеца; мать его происходила из общинявшего шляхетского рода. Шести лет мальчик начал посещать сельскую школу, по окончании которой отец отдал его в Дрогобычскую немецкую, так называемую «нормальную» школу.

В гимназии проявился интерес Франко к родной украинской литературе, к украинскому фольклору. «Еще в младших классах гимназии, — вспоминал он, — я начал собирать народные песни, сперва от моей матери, а потом и в Дрогобыче распрашивал сведущих людей (ремесленников и т. п.).»

К периоду пребывания в гимназии относятся первые литературные опыты Франко. К концу гимназического курса он написал уже много оригинальных произведений — любовные стихи, драмы и поэмы, но главным образом работал над переводами. В 1874 году, — последний год пребывания в гимназии, — два стихотворения Франко — «Народная песня» и «Моя песня» — появились в львовском студенческом журнале «Друг», под псевдонимом Жеждалик.

В 1875 году Франко окончил гимназию, переехал во Львов и поступил на филологический факультет Львовского университета; одновременно он приобщился к оживленной общественно-литературной жизни львовского студенчества. «Вступив во Львове в «Академический кружок», — говорит Франко в автобиографической записке, — я неожиданно очутился в гуще споров языковых и национальных, которые для меня были до тех пор почти совершенно чужими и непонятными; поэтому я сразу не смог ориентироваться в них и долго коле-

бался то в одну, то в другую сторону». Вступление Франко в студенческую среду совпало с появлением «Писем» М. Драгоманова к галицкой молодежи.

Как сообщал позднее Франко Драгоманову, под впечатлением этих писем он «набросился на чтение Золя, Флобера, Шпильгагена»; еще прежде были прочитаны «с увлечением» произведения Льва Толстого, Тургенева и Помяловского, затем Чернышевского, Герцена.

Франко и большинство его товарищей были далеки в то время от какой бы то ни было активной политической деятельности. Арест в июне 1877 года был для Франко совершенно неожиданным, как и последовавший затем судебный процесс по обвинению всей редакции «Друга» (к которой принадлежал и Франко) в социалистической пропаганде и организации тайного общества. Девять месяцев он провел в тюрьме, а затем по судебному приговору был присужден к длительному тюремному заключению. Попав в тюрьму, по собственному признанию, человеком весьма далеким от понимания социализма, Франко выходит из нее убежденным социалистом-пропагандистом. В основанном им, совместно с товарищами по процессу М. Павликом, журнале «Громадський Друг» («Друг Общества»), — который, вследствие беспрестанных конфискаций, почти с каждым номером менял свое название, становясь то «Дзвоником» («Колоколом»), то «Молотом», — Франко печатает переводы статей Ф. А. Ланге о рабочем вопросе, А. Шеффле «Что такое социализм?» и собственные статьи, направленные против суеверного страха галицкого «общества» перед «нигилизмом» и социализмом.

Все это, усиливая «неблагонадежность» Франко в глазах галицкой администрации и галицких обывателей, явилось причиной второго ареста Франко в начале 1880 года и дальнейших политических мятарств.

Несмотря на крайне неблагоприятные внешние обстоятельства, Франко выступает в начале 80-х годов с двумя большими повестями из крестьянской жизни — «Борислав смеется» и «Захар Бон-

Познавательная ценность «бориславских рассказов» заключалась в реалистическом разоблачении капиталистической системы. Показывая жесткие условия существования украинского крестьянства, Франко приходит к выводу о необходимости поднятия культурного уровня масс, для того чтобы превратить стихийный протест против угнетателей народа в организованную борьбу и как можно скорее сделать для него возможным усвоение социалистических теорий.

В выводах Франко не было народнической идеализации крестьянской общины. Демократ и материалист, Франко был охвачен страстным желанием изменить существующие классовые отношения, хотя он и шел к этой цели сложными путями. Деятельность Франко можно сравнить с деятельностью революционных просветителей — Чернышевского и Добролюбова, отличительными чертами которых, по определению Ленина, являлась глубокая ненависть к крепостному режиму и ко всем крепостническим отношениям вообще: защита всесторонней европеизации страны и искренняя защита интересов трудящихся. Эта характеристика просветительства полностью совпадает с существом деятельности Франко.

Жизненные обстоятельства складывались для Франко все тяжелее. Аресты создали вокруг него и его товарищей атмосферу молчаливого бойкота, пресекавшего все попытки добиться работы. Оставалось одно — возвращаться в родное село, «садиться на землю», что сопряжено было с большими материальными трудностями. Поселясь у родных, Франко с болью отчетливо понимал, что является для них тяжелой обузой.

И все же приступы отчаяния не приводили Франко в состояние безвыходности. Он борется с нуждой, с лишениями, продолжает работать, несмотря ни на какие трудности.

В таких условиях были созданы две большие книги Франко, утвердившие за ним славу замечательного писателя, демократа и художника. Это были сборник стихов «З вершин і низин» (1887) и сборник прозы «В поті чола» (1890); в 1893 году первый сборник вышел новым, значительно дополненным изданием, явившись итогом первого двадцатилетия поэтической деятельности Франко.

Сам писатель впрочем смотрел на свой сборник весьма критически и расценивал его лишь как определенный этап развития — не только своего лично, но и всей галицко-украинской литературы.

Летом 1889 года, в результате доноса, а больше для того чтобы запугать народ перед близкими выборами, австрийское правительство усилило преследование свободомыслящих элементов Восточной Галичины. Были арестованы Франко и его товарищи, а также группа киевских студентов приехавших в Галицию на вакации. Продержав в тюрьме

три месяца, арестованных выпустили на свободу, не предъявив им никакого обвинения, не объяснив причин ареста. Результатом этого — третьего — тюремного заключения явился ряд поэм, написанных на основе рассказов евреев-арестантов, повесть «До світа» («К свету»), а также большой цикл «Тюремних сонетов», с особой выразительностью передающих настроения и думы поэта.

Вскоре после выхода Франко на свободу появилась сборник его повестей и рассказов «В поті чола», подтвердивший его репутацию как наиболее значительного писателя Галиции.

В этой книге с большой последовательностью Франко осуществлял свой основной творческий принцип «литература должна быть, по возможности, верным изображением жизни, однако не мертвой фотографией, а картиной, согретой собственным чувством автора, вдохновленной глубокой идеей».

Сборник «З вершин життя» и «В поті чола» подытожили длительный и плодотворный период формирования Франко-поэта, окончательно утвердили его значение как одного из наиболее значительных украинских писателей, а для Галиции — всегда прогрессивной, демократической и реалистической литературы. С этим должны были считаться и враждебно настроенные по отношению к писателю круги, его идейные враги.

Показательно в этом отношении присуждение Франко премии на драматическом конкурсе в 1893 году за пьесу «Украденне щасття», несмотря на то что конкурсная комиссия, составленная преимущественно из народоупов, естественно, не могла отнестись с должным беспристрастием к этому произведению Франко. «Украденне щасття» открыло в творчестве Франко, правда, непродолжительный, но довольно плодотворный период увлечения театром и драматургией. В течение 1892—1894 гг. Франко написал и перевел около десятка пьес.

Разнообразие и обширность литературных занятий Франко не заглушили в нем интереса к научной работе, проявившегося еще в университете. Одна за другой появляются его монографии, статьи, публикации историко-литературных, фольклорных и исторических материалов. Перелистывая годовые комплекты журнала «Життя і Слово» («Жизнь и Слово»), который Франко издавал в 1894—1897 годах, приходится изумляться колоссальной работоспособности писателя, его умению переключаться на самые разнообразные темы и, вместе с тем, способности всюду вносить свое, оригинальное и неповторимое.

Вся широкая, многогранная деятельность Франко была целиком подчинена объединяющему началу — активной политической работе. И в беллетристике, и в драматургии, и в науке, и даже в поэзии.

при всей ее лирической интимности, Франко прежде всего — борец, демократ, политический деятель.

Его широкая программа революционера-демократа исключала всякое политиканство, всякую игру в народолюбие ради личных выгод или формального выполнения отдельных параграфов партийной программы. И Франко, прислушиваясь на партийном съезде к речам крестьян, к их жалобам на недостаток культурных сил на селе, делал из них гораздо более последовательные и радикальные выводы, нежели весь синклит руководителей радикальной партии, к которой и сам он принадлежал.

Вторая половина 90-х годов была связана для писателя с целым рядом личных тяжелых переживаний.

Весной 1897 года Франко выступил кандидатом на выборах в австрийский парламент — рейхстаг, но не был избран: ему противостояла не только правительственная, административная машина, но и коалиция украинских буржуазных партий. Однако и всего этого оказалось недостаточно: на выборах понадобилось признать недействительными ряд голосов, поданных за Франко, чтобы обеспечить большинство желательному кандидату.

Вслед за выборами, которые Франко переживал очень остро и болезненно, на него свалились, одна за другой, новые беды. За помещенную в венском еженедельнике «Die Zeit» (1897, № 136, 9 мая) статью о Мицкевиче (в связи с приближавшимся столетием рождения поэта), заключающую в себе ряд полемических выпадов по адресу польского националистического «общества», Франко подвергся со стороны официальной польской прессы самым резким нападкам.

На этот раз травля Франко продолжалась сравнительно недолго, не потому, конечно, что смирились ярость и ненависть его врагов, а потому, что колоссально выросла популярность Франко не только в Галиции, но и в России и за границей.

Да и в самой Галиции уже росли кадры радикальной молодежи, для которой писатель был признанным идейным руководителем. Эта молодежь организовала и шумно отпраздновала в октябре 1898 года двадцатипятилетний юбилей литературной деятельности Франко. Наиболее примечательным событием этих дней явилось выступление самого Франко, в котором он сформулировал свои поэтические задачи.

1898 год оказался для Франко переломным. Во Львове начал выходить новый ежемесячный журнал «Литературно-Науковий Вистник», и Франко стал его деятельнейшим сотрудником, членом редакции и фактическим редактором.

Кроме редакторской работы, Франко много писал в журнале, особенно в первые годы, когда не был еще создан коллектив постоянных сотрудников. Ему принадлежат как публицистические,

критические и историко-литературные статьи, так и переводы. В журнале же он публиковал свою поэзию и прозу.

В разгаре этой наредко продуктивной работы Франко был застигнут жестокой болезнью, которая 28 мая 1916 года свела его в могилу.

II

На литературное поприще Франко вступил в пору культурного зстоя и упадка Западной Украины. Один из передовых публицистов того времени горько жаловался на то, что «в Галичине не хотят знать о народе и его нуждах и не знают и не умышленно закрывают себе уши и глаза на то передовое меньшинство, которое вот уже с сотни лет трудится в Европе для освобождения умов и воли народа от средневекового рабства».

Журналы поставляли идеалистски-сентиментальное чтение, заполнялись бессодержательными виршами или повестями из украинской жизни, переделанными с немецкого. И в то же время в полном пренебрежении находился такой талант, как О. Федкович, зачинатель реалистической литературы в Галичине, о повестях которого Тургенев писал «Тут только и бьется ключ живой воды, а в остальное — либо призрак, либо труп».

Литературная деятельность Франко с первых шагов была не только резко противоположна всей тогдашней галицкой «литературе», но и продолжала реалистические традиции, начатые Федковичем.

Одним из первых оригинальных стихотворений Франко был сонет «Народна пісня». Уже тогда в 1873 году, народное творчество, — творчий дух народа, — было для него «живящим родником «с прозрачною водою», который «тихою слезок среди степей журчит» и которому суждено «сердце наше чистым пламенем зажечь». Обращения к фольклору помогло поэту прежде всего найти свой поэтический язык, заговорить о народе простым реалистическим языком, без прикрас и побрякушек, без фальшивости сентиментального «народолюбия».

Поэтому такими живыми и значительными оказались, например, «Галицкие картинки» Франко. Цикл небольших стихотворных новелл о несчастном пьянице, спившемся оттого, что попробовал «у пана права добиваться» («В шинке»), о Максиме Цюнике, батраке, погибшем в Бориславской штольне от обвала («Максим Цюник»), о крестьянине Михайле, которого разорили недомки, довели его до самоубийства («Михайло»), о «бабе Митрихе, тяжким трудом и нуждой сберегшей пять гульден для сына, которого убила боснийская пуля, о маленьком Иване, который за посуленный грош босиком бежал по снегу за «панычем» и, простудившись, умер («Галаган»). Все эти этюды-кар-

тики создавали некий собирательный образ народа, образ, лишенный какой бы то ни было абстрактности и фальшивых красок. Традиционное в галицко-украинской литературе того времени сентиментальное народолюбие заменил в творчестве Франко подлинный гуманизм, не ограниченный национальными рамками.

Характерен в этом отношении цикл «Еврейских мелодий» (1883), где националистической предвзятости большинства галицких и польских литераторов в изображении еврейского быта противопоставлено необычайно теплое и сердечное отношение поэта к трудящимся евреям, таким же забитым и несчастным, как и трудящиеся украинцы и поляки. Вряд ли случайной является близость поэмы «Сурка» к шевченковской «Катерине».

В поэзии Шевченко и Франко существует теснейшая связь — искать ее следует в общности идейных тенденций обоих поэтов.

Сила поэзии и Шевченко и Франко — в их глубочайшем слиянии с народом и народным творчеством. Как и Шевченко, Франко, разрабатывая поэтические дары фольклора, был оригинальным поэтом-творцом, в совершенстве владеющим всем богатством народного слова, народной поэзии. Как и поэзия Шевченко, творчество Франко обогатило украинский литературный язык, сделало его способным выражать тончайшие оттенки настроений и в то же время показало образцы чрезвычайного разнообразия поэтической формы. Социальный оптимизм, свойственный народному творчеству, был основной чертой произведений этих крупнейших народных поэтов.

Чрезвычайно характерен тот факт, что целый ряд стихотворений Франко из сборника «З вершин і низин» вошли в народ как боевые песни борьбы, как гимны труду и борьбе за священные права на труд, на свободу, на землю, на счастье. Черты народности, высоко поднимая значение поэзии Франко, делают эту книгу центральной в творчестве поэта.

Дальнейшие этапы творчества Франко создавали у некоторых критиков и читателей неверное представление о постепенном «спаде» творческих сил поэта, начавшего с больших общественно-значимых тем и замкнувшегося будто бы потом в узком кругу личных настроений.

Больше всего упреков в отходе Франко от широкой общественно-значимой тематики, даже упреков в «декадентстве» вызвала книга лирики Франко «Зів'яле листя» («Увядшие листья», 1899).

Действительно, после книги «З вершин і низин» казались странными пронизывающие «Зів'яле листя» мотивы тоски и одиночества, мотивы гнетущей, неразделенной любви, приводящей поэта к мыслям о самоубийстве. В предисловии к первому изданию сборника «Увядшие листья» поэт писал:

«Герой этих стихотворений, тот, кто выявляет в них свое «я», — покойник. Это был человек слабой воли и пылкой фантазии, с глубоким чувством и мало приспособленный к практической жизни».

Это предисловие немало способствовало созданию у критики и читателей впечатления о пессимизме нового этапа поэтической деятельности Франко. Вот почему, выпуская позднее второе издание «Увядших листьев», Франко не только раскрыл мистификацию, но и дал ключ к правильному пониманию книги. По его признанию, это — сборник «лирических песен, наиболее субъективных из всего, что появлялось у нас со времени автобиографических стихотворений Шевченко, и одновременно наиболее объективных в способе обрисовки сложного человеческого чувства». Франко выражал надежду на то, что «нынешнее поколение найдет в них нечто такое, что откликнется в его душе вовсе не пессимистическими тонами».

Поэт был прав.

Жизненные неудачи, преследования завистников и политических врагов, безнадежная любовь, отдельные эпизоды которой вошли в книгу, — вот что обусловило общий тон и настроение сборника «Увядшие листья», однако не сняв основные мотивы первой книги лирики Франко, не заглушив революционного пафоса, пронизывающего все творчество поэта. Прелесть лирики «Зів'яле листя» заключена в сочетании, — органическом и неразрывном, — страстной восторженной любви к родному народу и большого личного чувства.

Характерной особенностью второго сборника стихов Франко является богатое использование фольклорных мотивов, опять-таки не в виде «подражаний» и «перепевов», но в оригинальной творческой переработке народной песенной ритмики и фольклорных образов. Ни разу, — ни до, ни после «Увядших листьев», — Франко не подходил так близко к фольклору.

Уже в следующей своей книге «Из дней печали» (1900), являющейся как бы эпилогом «Увядших листьев», он все чаще переключает свои настроения в общественный план, связывает их с народной бедой, с борьбой с темными силами, которые, как густой туман, —

Заслонили все пути,
Чтобы людям не пройти,
Чтобы скрыть от жадных взоров
Тропку, что ведет их в гору,
В кузницу, где куют в ночи
Не оковы, а мечи.

(«Среди долии село лежит»)

И — что особенно важно — выводы его отнюдь не пессимистичны. Показав в стихотворении «В село ходил» ряд тяжелых картин упадка жизни

западноукраинской деревни, поэт заключает стихи обращением к самому себе:

Ось поле діляма. В оді хатими
Я маю людськість, світло, мир нести!

С вершин и долин» и «Увядающие листья» (с допавлением «Из дней печали») демонстрируют огромный диапазон творчества Франко.

Уже в сборнике «Мой изумруд» (1896), появившемся между двумя книгами лирики Франко, ясно намечается поворот к темам «З вершин і низин».

В самой книге мы впрочем и не найдем того примирения с действительностью, какое часто навязывала Франко критика. Весь первый отдел книги («Поклоны») посвящен спорам с идейными противниками — с теми, кто обвинял Франко в отступничестве от родного народа, кто видел в скорбных песнях «Увядших листьев» только «декадентство». Именно к этим своим противникам обращается Франко от имени родины:

Наплай, сынок! Я лучше знаю
Тех «патриотов» хищных стаю
И фраз любовных произвол.

(«Говорит Украина»)

И, как бы отвечая на этот совет, поэт говорит:

Благословенна будь, о родина! Тебе бы
Блеск, почести должны быть возданы...
Но нет, лишь одного прошу тебе у неба:
Пусть не сбегут, от зла не видя даже хлеба,
Твои же лучшие сыны!

(«Сомнение»)

Декадентскую литературу Франко ненавидел так же страстно, как и породивший ее класс. В программном стихотворении «Декадент» Франко ярко выразил свое отношение:

Пусть в песне у меня и боль, и скорбь, и горе,
Все это потому, что такова судьба.
Ведь чувства и другие песне вторят:
Надежда, воля, твердость и борьба!

Критику декадентства мы находим и в статьях Франко. В одной из них он писал, что декадентство развилось во Франции после Парижской коммуны, как защитное средство буржуазии против мощной наступательной силы пролетариата. А в другой статье (1898) объяснял расцвет декадентства в польской литературе тем, что декадентство — мода, наиболее аристократическая из всех, какие за последние тридцать лет дошли до нас с Запада. А шляхетскому польскому обществу (шляхта помещает главный потребитель литературы в Польше) того и подавай. Довольно уже ее беспоконили грубые патриоты и радикальные «хлопома-

ны», довольно ей тыкали под нос неотесанные мужиков с их вечной нуждой и «вопросами желудка». Надоели ей уже и громогласные патриоты с вечными восклицаниями об отчизне. Людям, житейские идеалы которых колеблются между Монако, парижскими кокетками и английскими жеребцами, давно уже хотелось иметь литературу, соответствующую этим идеалам. И она действительно нарождается теперь» («Литературно-Научковый Вистник», 1898. II, стр. 69—70).

Вершиной творчества поэта, по справедливости следует считать его замечательную поэму «Моисей» (1905) — оригинальную разработку навеянной Библией темы о смерти Моисея, пророка, не признанного своим народом. В этой поэме отчетливо и громко звучит тема народа. В небольшом вступлении к поэме Франко обращается к народу так:

Народе мій, замучений, разбитий,
Мов паралітик той по раздорожжю,
Людським призиством, ніби струпом вкритий.

Вместе с тем, Франко верит, что наступит время, когда народ станет свободным:

Но время близко — ты с лицом открытым,
Сияя, вступишь в вольный круг народов,
Тряхнув Кавказ, взяв поясом Бескиды,
Покатишь Черным морем шум свободы,
Окинешь, как хозяин домовитый,
И дом и землю, позабыв невзгоды.

В течение сорока трех лет поэтической деятельности Франко его поэзия, проникнутая чувствами глубокого патриотизма, любви к родному народу, неизменно находилась на высоте передовых идей. На протяжении всей своей поэтической работы Франко оставался поэтом-борцом, ненавидевшим угнетателей и поработителей народа.

Франко не дожил до Великой Октябрьской социалистической революции. Он умер накануне ее, затравленный врагами, обессиленный титанической работой и борьбой. Но именно социалистическая революция осуществила мечты и надежды великого поэта — привела к свободной, счастливой жизни измученный, обездоленный народ, певцом которого был Франко.

Непобедимый советский народ, руководимый великой партией Ленина — Сталина, разбил шляхетские цепи, сковывавшие свободное, горячее слово поэта. Народу возвращен Франко таким, каким он был в действительности, — великим гражданином интернационалистом, смелым политическим борцом, певцом и другом трудящихся.

И. Айзеншток.

Иван Франко

* * *

Весенние песни,
Весенние сны,
Что так безутешны,
Безрадостны вы?

Или вам не встретить
Зелени в лесах,
Или вам не светит
Солнце в небесах?

Иль для вас и в поле
Цветок не расцвел,
Что далось вам в долю
Горе нищих сел?

Ах, дубравы живы,
Ясен солнца свет,
Лишь любви счастливой
В наших душах нет.

Птиц щебечут стаи,
Шум, запевки крик...
Только пропадает
С голоду мужик.

Цветы среди поля
Над травой встают,
Только тьма с неволей
Кровь народа пьют.

Лучше бы для моды
Распевать порой
О красе природы,
Чем о доле злой.

Только не для моды
Запеваю я,
И тоской исходит
Песенка моя.

Перевел Александр Прокофьев

НИКОЛА ПОЭТА

(ПО ИБСЕНУ)

Слышал ли ты, как вожаки
Медведя учат пляске?
Сначала на железный лист
Поставят без опаски

И разведут потом огонь
Под тем листом не малый,
А скрипкой бережат в душе
Стремленья к идеалу.

Медведь ревет — как будто страсть
В груди мохнатой тлеет,
А пятки голые огонь
Все жарче снизу греет.

Ревет медведь, звенит струна,
Насквозь его прогрело,
Он поднимает на дыбы
Свое большое тело.

А скрипка знай себе гудит,
И в подневольной пляске
То перестудит левой он,
То правой — без укаски.

Быстрее скрипка говорит,
Поет, хохочет, плачет,
Железо жжет, а грузный зверь
Быстрее за скрипкой скачет.

Уже бедняге не забыть
До смерти той науки, —
В его сознании слились
Огонь и скрипки звуки.

И так слились, что, коль струна
Занеет что есть мочи,
Он, в пятках чувствуя огонь,
Мгновенно затопчет.

Не у одних медведей так!..
В судьбе своей веселой
Должно быть, каждый, брат поэт,
Проходит эту школу.

Ирония его ведет
Под бубенцы и скрипки,
Чтоб голою он пяткой стал
На лист железный, зыбкий.

Под ним костер страданья жжет,
Любовь смычком играет,

Он пляшет, бедный, и поет —
И в муке умирает.

А если не умрет — в душе
Сольются неразрывно
Страданье с музыкой любви —
И это ли не дивно!

Как только где услышит он
Слова любви святые,
Вмиг пробуждаются в душе
Страданья неземные.

Горит под ним железный лист,
Пылают в небе строфы,
И подымается бедняк
Не на дыбы — на стопы.

Ирония ведет смычком,
Стучит костями чувство,
Поэт, рыдая, в пляс идет, —
И это все — искусство.

Перевел Вс. Рождественский

НАРОДНАЯ ПЕСНЯ

Взгляни на ручеек, сбегаящий с кургана,
Он тихую слезой среди степей журчит,
В нем месяца лицо, как в зеркале блестит,
И в серебре волны луч солнца блещет ряно.

В нем тайный ключ на дне трепещет неустанно,
Он, вечной жизни полн, без усталости бежит
И чистой влагою детей весны живит,
Что густо вокруг него раскинула поляна.

Живящий тот родник с прозрачною водой —
Народа творчество, где много так печали,
В нем обращает речь душа к душе живой.

И как исток его сокрыт в безвестной дали,
Так песнь из тайных недр доходит к нам слезой,
Чтоб чистым пламенем мы сердце зажигали.

Перевел Вс. Рождественский

* * *

С полудней
 Широкое поле безлюдней,
 Пустынней для ока и слуха.
 Ни духа,
 Ни следа людского вдали.
 Лишь травы — цветистое море —
 Волнуются в пестром уборе,
 Да песню сверчки завели...
 Свободно
 Над поймой речной плодородной,
 И вдали, до синюющих гор,
 Мой взор
 Взлетает, и кружит, и реет,
 И струями теплыми веет,
 И душу дыханием греет
 Простор.
 Пстой!

Кто это, обьятый печалью,
 Чуть слышно рыдает над далью
 Пустой?
 Не горе ль явилось за мною,
 Не сердце ли бьется больное?
 О нет! То доносятся трели
 Далекой крестьянской свирели,
 Звения.
 Они отозвались в груди у меня,
 И сердце за ними заплакало горько.
 Вскипев...
 Тебя оно вспомнило, ясная зорька! —
 И ладом свирельным, простым,
 благородным
 Рождается мой, порожденный народным,
 Напев!

Перевел Л. Успенский

* * *

Лисицы брешут на червленые щиты.

Вышла в поле русских сила,
 Поле стягами укрывала.
 Словно маки стяги рдеют,
 А мечи, как искры, тлеют,
 Тлеют, искрой воздух режут.
 А лисицы в поле брешут.

Вышла в поле русских сила,
 Вольных братьев не душила,
 Бедняков не разоряла,
 Злые орды отбивала,
 Что при жизни гроб нам тешут.
 А лисицы в поле брешут.

Мы чужого не желаем,
 Своего не уступаем,
 И не пень мы деревянный,
 Чтоб терпеть и стыд и раны,
 Пока граблями нас чешут.
 А лисицы в поле брешут.

На тот славный щит червонный,
 Как брехали во дни оны,

Как щитами русских сила
 Степи перегородила,
 Словно пламенем, до края
 Степи сплошь переметая,
 С одного пройдя размаха!

Задали ж лисицам страху
 Те щиты! Понине снится
 Им, как вышли в поле биться
 Рядом с русскими сынами
 Гайдамаки с казаками,

Что свободу добывали,
 Что за правду умирали
 И прошли, как крови море,
 Как пожар в степном просторе,
 Сквозь бывшее Украины...

Даже слабый знак единый,
 Даже тень их дел донине
 Страшны вражеской гордыне,
 Что зубовный сеет скрежет
 И на щит червонный брешет.

Перевел Н. Браун

* * *

За полночь. Глухо. Стужа. Ветер веет.
 Перо упало из холодных пальцев.
 Мой утомленный мозг не в силах думать.
 Настала пауза в душе. Ни чувство,

Ни мысль, ни боль — ничто
 не шевелится.
 Застыло все, как будто в чаще темной
 Вода в гнилом пруду. Дыханье ветра

Не шевелит ее.

Но тише! Что там?
Иль то утопленники из трясины
Встанут, из волн вонючих простирают
Опухшие, все в прѳзелени руки?
И голос слышен, крик, рыданья,
стоны, —
Но не живой то голос — слабый призрак,
Тень голоса, неуловимый шопот,
Что слышен сердцу лишь. И как он
горек,

Как горек он!

— Отец! Отец! Отец!
Мы — не рожденные тобою дети!
Мы — не пропетые тобою песни,
Безвременно погрязшие в трясины!
Взгляни на нас! Поддай, поддай нам руку!
Скорее выведи нас к свету, к солнцу!
Там весело, а здесь мы гибнем, чахнем!
Там хорошо, — мы тонем здесь
в болоте!
— Не выйти вам, мои родные, к свету,

Не вывести мне вас, бедняжки,

к солнцу, —
Я сам лежу в холодной темной яме,
Я сам гнию, во прахе распростертый,
И в грудь мою с тупым холодным
смехом

Бьет равнодушная и злая участь. —
И снова стон: — Отец! Отец! Отец!
Нам холодно! Согрей нас! Лишь дохни
Сердечной теплотой, повея весною,
И мы вспорхнем, мы оживем, воспрянем!
Весенним духом, соловьиной песней
Печаль развеет хижины твоей,
Мы принесем на крыльях нежный запах
Далеких стран, расстелим пред тобою
Ковер, сверкающий богатством красок.
Лишь дай тепла нам! Сердца! Сердца!
Сердца!
— Где ж я тепла возьму вам, горемыки?
Уста мои сковал безмерный холод,
А сердце у меня змея пожрала.

Перевел А. Островский

РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД МУЖИЦКИМ КЛИНОМ

Встану я утром на вспаханной ниве:
Пурпуром солнце меня озарит,
Пташек доносится щебет счастливый,
Только в душе моей горе кричит.

Царь всех творений, властитель
природы,
Сколько здесь счастья кругом, красоты!
Но красота в твое сердце не входит,
Мрачным, забитым мне видишься ты.

Злаками щедрое поле покрыто,
Травы густые в лесах и лугах, —
Что ж никогда не бываешь ты сытым,
С голода мрешь в своих нищих домах?

Гор твоих лоно богато железом, —
Что ж иступились твои лемеха?
Или руда для оков лишь полезна,
А для мужицкой работы плоха?

В недрах кипит нефтяная стихия
В струях бурлящих, ясней хрусталя;

Свет посылаешь ты в страны чужие,
Тьмою родная объята земля.

Солью чудесной горды твои склоны,
Солью в пещерах звенят хрустали, —
Что же свой хлебец ты ешь несоленным,
Что ж ты не сделался солью земли?

Сердце к тебе, трепеща, припадает, —
Клина мужицкого почва тверда.
Дух мой горячий в душе твоей тает,
Словно блестящая в море звезда.

В каждую он проникает пылинку,
В камешек каждый, росток и сучок
С тем же вопросом для каждой
былинки —
Кто же забрал плодородный ваш сок?

Сотни веков в летаргии проклятой
Кровь свою, плоть отдавали для вас.
Что ж вы и хлебом теперь не богаты?
Где же святых ваших соков запас?

Перевел Всев. Азаров

* * *

— Погадай ты мне, цыганка,
Красавица Цора,
Дней веселых и счастливых
Дождусь ли я скоро? —

И цыганка по ладони
Все мне рассказала:

— За семь лет узнаешь, парень,
Горя ты немало!

— А потом... потом что будет?
Ведь семь лет — не вечно!

— А потом... потом ты, парень,
Свыкнешься, конечно!

Перевел В. Владимиров

ИЗ ЦИКЛА «ТЮРЕМНЫЕ СОНЕТЫ»

Не гром ли, не гроза ль идет тюрьмою?
Грохочут койки. Шлепая по лужам,
Все арестанты коридоры моют,
Трут, белят в одиночках и снаружи.

«Комиссия, комиссия!» — гудит,
Гудит, как шум листвы перед грозой.
«Тюрьму особа, важная собою, —
Сам господин советник посетит!»

Дух божий дунул утром в воскресенье,
Все задрожало, как от сотрясения, —
Особа важная в тюрьму явилась.

Она идет — вокруг начальство вьется.
«Закройте окно!» — к нам через дверь
несется,

Чтобы особа вдруг не простудилась.

Перевел Бронислав Кежун

* * *

Жены русския всплакашася.

Где не лилися вы в нашей бывальщине —
В зной ли, в ненастье ли, в грозы,
То ль в половецчине, в княжеской то ли удельщине,
То ли в казатчине, ляшчине, ханщине, панщине —
Русские женские слезы!

Сколько сердец разрывалось, рыдаючи,
Сколько сломили страдания!
Как же их мало таких, что окрепли, слагаючи
Слово за словом, в бессмертную песнь выливаяючи
Тысячелетий рыдания!

Слушаю, сестры, напевы, еще не забытых
Песен, в тоске размышляя:
Сколько сердец тех разбитых могил тех разрытых,
Горестей стоит несытых и слез тех пролитых
Каждая песня такая!

Перевела М. Комиссарова

* * *

«Не льполи ны бяшесть, братие?»

Не пора ли, братия, настала,
Чтоб о скорби зазвучали речи,
Слово созывало бы на вече,
А не детским бубенцом брэнчало?

Снарядили мы его походом
Не на половецкие дружины,
А в сердце бездонные глубины,
Где куют грядущее народам.

Мы потопчем полчища поганых,
Что летят на душу, как тревога,

Сыплут жар из огненного рога,
Копья поворачивая в ранах.

Вырвем мы порядок тот с корнями,
Где тяжка за малый грех расплата,
Где неволей брат встает на брата,
Чтобы сесть за трапезу с врагами.

Мало ль нас страдало по острогам?
Мучило себя нас разве мало?
Иль в цепях шагало по дорогам
Или одиноко умирало?

Перевела В. Давиденкова

* * *

Когда в задумчивости тяжкой
Моя поникнет голова,
Как будто в двери стукнет кто-то,
Мои мечтания прервав.

Я отзываюсь — но напрасно.
Кругом не видно никого,
Лишь в сердце что-то встрепенется,
И сам не знаю — отчего.

И в эту самую минуту
Ты горько плачешь в тишине,
И эти пламенные слезы
Стучат безмолвно в душу мне!

Перевела Елена Рывино

Быть может, друг 'в краю далеком
Погиб в мучительном бою?
Иль плачет брат мой, поливая
Слезами полосу свою?

Иль может, ты моя голубка,
Моя бессмертная любовь,
Издавела с немим укором
Меня припоминаешь вновь?

* * *

То было за три дня перед венчаньем, —
В широком поле я пшеницу жал.
Я лег под дуб... Исполненный сияньем,
В душе алмаз, казалось мне, дрожал.

И вдруг услышал голос несказанный.
Была в нем сердцу внятная струна.
Для слуха тихий, полный силы странной,
Всю душу мне он взволновал до дна.

— Еще дремал ты в материнском лоне,
А я тебя призвал явиться в свет,
Чтоб наставлять царей в моем законе,
Чтобы народам мой нести завет. —

И молвил я: — Кому скажу я слово?
Взгляни, я отрок бедный и простой!
Кто станет слушать неуча такого?
Кого смогу на путь наставить твой?

И мне ответил голос: — Отрок милый,
Забудь все то, что ведал ты сперва!
Все в жизни брось и верь в мои лишь
силы.

И пусть тебя ведут мои слова.

За то, что ты в мое не веришь слово,
Знай, обращать людей не сможешь ты;
Как стрелы бьются в сталь щита литого,
Так твой глагол — в людских сердцах
щиты.

Знай, что язык твой на ветер пророчит,
Ты будешь проповедывать глухим,
Никто с тобой стать рядом не захочет.
Что ты похвалишь — все сочтут
дурным. —

И молвил я: — О господи, я грешный!
Не искупить ли вины всех людей,
На этот труд большой и безуспешный
Зовешь слугу ты волею своей? —

И молвил голос: — Это не открою!
Тебя призвал на подвиг не за грех.
А сердце слабое своей рукою
Я укреплю — и станешь тверже всех.

Твоими буду говорить устами
Для всех народов и для всех веков,
Твоими я тернистыми путями
Всех поведу отмеченных борцов.

* * *

Если ты меня встречаешь,
То обходишь стороной.
Ты права — одной дорогой
Не ходить тебе со мной.

Ты — направо, я — налево
Будем путь искать в тумане.
Никогда не повстречаться,
Как двум каплям в океане.

Если я узнаю: горе
К дому вышло твоему, —
Я к себе его направлю,
Сам удар его приму.

Тобою научу их отрекаться
От жизни света для высоких дум,
Ни горя, ни гонений не бояться
И к светлой цели устремлять свой ум.

Вот уст твоих коснулся я перстами
И в них вложу свой пламенный глагол,
Я заострю твой слух, чтобы громами
К тебе мой вещий голос снизошел! —

Я ниц упал. — О боже, повинуюсь!
Я бросил серп, и стог, и всех родных.
Отцовский дом, невесту молодую
И с той поры не видел больше их.

Перевел Б. Соловьев

Если счастье вдруг захочет
Под моим пройти окном, —
Я к тебе его направлю —
Пусть вззовется голубком!

Без тебя какое счастье? —
Лишь иллюзия одна!
Без тебя какое горе? —
Стертый грош ему цена!

Словно капля в океане,
Расплывусь я, потону:
Ты гуляй на солнце, пани,
Я ж пойду ключом ко дну!

Перевел Евг. Нежинцев

* * *

Зачем являешься ты мне
Во сне?
Зачем мерцает сквозь ресницы
Твой взор, как солнце в глубине,
На дне
Студеной и живой криницы?
Зачем молчишь и почему?
Каких обид, каких страданий,
Каких несбывшихся гаданий,
Подобно отблеску зарницы,
Блеснув, уходят вереницы
Во тьму?
Презреньем дух мой ты сковала,
Гордыней сердце надорвала,
И будишь ты в его струне
Напев, чуть слышный в тишине,
Во мне.

Меня ты всюду избегаешь,
Увидишь — даже не узнаешь,
Навстречу мне не повернешь
И головою не кивнешь,
Хоть знаешь, знаешь, крепко знаешь,
Что я люблю тебя сердечно,
Что мучусь скорбью бесконечной,
Что за годами годы, вечно,
Я боль свою храню на дне
В певучем песенном огне.
О нет!
Ты хоть в ночи являйся мне
Во сне!
И мнится,
Готов я жизнь не жить — томиться, —
Пусть сердце, что тобой разбито,
Что увядает, позабыто,

Что поросло болотным мхом, —
Пусть хоть во сне оно сверкает
Пусть лик твой светлый отражает,
Как жемчуг, в сумраке глухом,

И пусть упьется осиянным
Восторгом юным, дивом странным
Великим, смертным, но желанным
Грехом! *Перевел Л. Успенский*

РЫБАЧКА

Черноокая рыбачка,
Сжался, сжался надо мною,
Я ведь только рыба-окунь, —
Отпусти меня на волю.

Ах, тот блеск пленил мне сердце.
Увиваясь вокруг несмело,
Тайно им я упивался —
Так, что сердце заболело.

Над рекой, где волны жизни,
По камням, струясь, клокочут,
Светит мне твоя приманка —
Черные, живые очи.

И тогда лишь до конца мне
Тех очей обман открылся,
Как попался на крючок я
И на суше очутился.

Для меня они сияют,
Блещут, как крючок алмазный.
Привлеченный их сиянием,
Виноват ли я, несчастный?

Бьюсь я, бедная рыбешка,
Воздух жадно я глотаю.
Воздух же, каким ты дышишь.
Смерть несет мне, дорогая.

Перевела Ида Наппельбаум

* * *

И ты прощай! Теперь тебя
Не назову вовеки я,
В твое лицо не гляну!
Чтоб ты не знала никогда,
Ушел я от тебя куда
И чем лечу я рану.

И тень мою не вызывай
Ни днем, ни ночью знойной.

Меня скорее позабудь,
Подругой верной мужу будь,
Учи детей спокойно!
Стихи мои ты не читай

Коль имя прозвучит мое,
Пусть тень не ляжет на твое
Лицо, цветок завялый!
И не бледней и не дрожи,
Тогда спокойно ты скажи:
«Нет, я его не знала!»

Перевела Анна Ахматова

* * *

Бескрайное поле, снега пеленою,
Раздолье простора и воли!
Один я среди поля, лишь конь подо мною,
А сердце тоскует от боли.

Неси меня, конь мой, как ветер летучий,
Что по чисту полю гуляет.
Быть может умчусь я от горечи жгучей,
Что сердце мое разрывает.

Перевел А. Островский.

Леонард Уинкотт

ЗАПИСКИ БЫВШЕГО МОРЯКА

Поступи во флот — и увидишь весь мир.
Жалованье хорошее, будущность блестящая.

(Из брошюры, заманивающей рекрутов)

Поступи во флот — и увидишь весь мир.
Отслужи десяток лет и больше не попадайся.

(Поговорка, распространенная в кубриках, но не напечатанная ни в одной брошюре)

ГЛАВА ПЕРВАЯ

— Кашляни!

— Еще раз! Только не в лицо, пожалуйста!

— Садись, пожалуйста!

Мальчик осторожно сел. Наконец-то его мечта осуществилась. Первое испытание пройдено. Остается только отправиться из вербовочного отделения в адмиралтейство, в Лондон.

— Ну, мой мальчик, напиши здесь свою фамилию! — сказал офицер-вербовщик, кладя перед Лесли лист бумаги. — Ты начнешь служить с восемнадцатилетнего возраста. До тех пор ты пройдешь курс подготовительного обучения. Первый срок службы — двенадцать лет. Второй срок — еще десять лет. Итого, как видишь, двадцать два года. На сколько лет ты хочешь записаться?

Честолюбивому юнцу двадцать два года не кажутся слишком долгим сроком. Особенно, если на размышление ему не дают ни минуты.

— Запишите меня на все двадцать два, — сказал Лесли гордо.

— Не надо так спешить, сынок, — посоветовал офицер-вербовщик, ласково улыбаясь. — Запишись сначала на двенадцать лет, а если тебе понравится, ты всегда успеешь записаться еще на десять.

— Как же мне может не понравиться флот? Ведь я собираюсь стать адмиралом.

— Ну, это мы увидим. А пока распишись вот здесь. Всё в порядке, Лесли Уинтерс.

Лесли снова сел. Мысль о том, что он отказался от своей свободы почти на пятнадцать лет, нисколько его не тревожила. Он был счастлив. Отныне он служил в британском королевском флоте и целый мир лежит перед ним, мир, который предстоит покорить.

— Пойдем, сынок, пообедаем.

Посреди большой комнаты за столом сидела женщина лет сорока. Она предложила Лесли сесть и поставила перед ним тарелку.

Лесли ел молча. Ему очень хотелось поговорить, но он стеснялся этих незнакомых людей. Женщина, оказавшаяся женой офицера-вербовщика, сама заговорила с ним.

— И так, мальчишечка, ты идешь во флот? Ну что ж, ты многое узнаешь, когда попадешь туда. Ты, вероятно, собираешься стать адмиралом? Через наше вербовочное отделение каждый месяц проходит сотня таких же мальчишек, как ты, и они все до одного собираются стать адмиралами.

Она грустно улыбнулась.

Она говорила с Лесли покровительственно и сочувственно, и ему это не понравилось. Он не нуждался в сочувствии. Он поступил сознательно, и сотня мальчишек, собирающихся стать адмиралами, не может его смутить. Беспокоиться ему не о чем,

жизнь прекрасна, а эта женщина могла бы заметить, что он не такой мальчик, как другие.

— Мне там будет отлично. Я очень много прочел о море и всех моряков считаю героями.

Женщина усмехнулась.

— Героями? Погляди, какой у меня герой! — сказала она и дернула своего мужа за волосы.

Муж шутливо оттолкнул ее и, обращаясь к Лесли, сказал:

— Не сердись, сынок, она тебя дразнит!

После обеда Лесли вышел из вербовочного отделения и пошел прогуляться по городу. И, бродя по улицам, он думал о том, что это первый город из множества городов, которые ему предстоит посетить. Воображение унесло его вдаль. Дома вокруг превратились в пагоды, потом в буддийские храмы, потом в грязные хижины вест-индских негров.

В вербовочное отделение он вернулся только к ужину. За ужином жена офицера спясть смотрела на Лесли с участием, и опять ее участие только сердило его. «Разве женщина может что-нибудь смыслить в жизни моряков? — думал он. — Морская служба — мужское дело, а не женское».

После ужина офицер-вербовщик отвел Лесли в спальню. Лесли откинул одеяло и обнаружил, что на кровати нет простынь. Он удивленно взглянул на офицера-вербовщика. Тот в ответ улыбнулся:

— Все в порядке, сынок. На службе тебе не придется спать между простынями. Так уж лучше начинай привыкать сейчас!

Лесли тоже улыбнулся. Отказаться от двух белых простынь не так уж трудно. Флоту нужны закаленные люди, и если человек не начнет закаляться с самого начала, из него никогда не выйдет адмирала.

— Спокойной ночи! — ласково сказал офицер-вербовщик, выходя из спальни.

— Спокойной ночи! — ответил Лесли.

Свет погас, и Лесли остался один. Вдали от дома первый раз в жизни, и насколько об этом не жалея. Теперь он был моряк. Быть может будущий Нельсон.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Лондон.

В Лондоне всегда легко узнать провинциала. У людей, впервые приехавших в Лондон, разочарованные лица. Лондон

огромен, но огромность его подавляет. Лондон мрачен, грязен и шумен, — во всяком случае таким он показался пятерым мальчикам, только что покинувшим один из лондонских вокзалов.

Их сопровождал человек в форме морского унтер-офицера. Он привел их к автобусной остановке, усадил в автобус и поехал к зданию адмиралтейства. Они ехали на крыше автобуса, потому что унтер-офицер хотел показать им достопримечательности, встречающиеся на пути.

Унтер-офицер разговаривал с ними односложно и за всю дорогу ни разу не улыбнулся.

«Вероятно, — думал Лесли, — он и не подозревает, каким великим станет в будущем один из этих мальчиков».

— Выходите, ребята, мы приехали, — коротко сказал унтер-офицер.

Вслед за ним они вышли из автобуса, вошли в дверь, охраняемую представительным швейцаром, потом прошли еще через несколько пышных дверей и оказались в комнате, где им велели сесть и подождать.

— Уинтерс! — крикнул голос из-за двери.

Лесли очутился в большой, длинной комнате с двумя письменными столами, за которыми сидели два человека в белых медицинских халатах. Один из них взглянул на Лесли и сказал:

— Разденься!

Доктор подошел к нему, и начался медицинский осмотр. Лесли осматривали уже во второй раз, и этот второй осмотр был куда неприятнее первого. Он обрадовался, когда доктор наконец сказал ему, что он годен.

Когда дверь за ним захлопнулась, доктор сказал своему помощнику:

— Здоровый малый. Флот сегодня получил хорошее мясо.

Лесли никогда не видел Лондона, и ему очень хотелось побродить вокруг знаменитого адмиралтейства.

«Это, должно быть, выход, — думал он, — а это, должно быть...»

— Куда, черт тебя побери, ты идешь? Отойди от двери! Как тебя зовут? Ах, вот ты кто! Теперь послушай, что я тебе скажу. Таких непослушных дураков, как ты, во флоте называют воронами, и ты просто вонючая ворона. Ты слышишь?

— Да, — кротко ответил Лесли.

— Да? Ты должен называть меня «сэр», не забудь об этом.

Лесли решил не забывать. Ну что ж, можно называть свирепого унтер-офицера «сэр», если это для него так важно.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Дверь Ливерпульского вокзала была для Лесли не просто дверью, через которую ежедневно проходят тысячи людей, не замечая ее. Это была для него дверь в морскую службу, ибо через эту дверь он отправился в путешествие, имея пышное звание юнга флота его величества.

Злой унтер-офицер, который довел их до вокзала, теперь возвращался к ним с железнодорожными билетами в Харидж. Окинув взором мальчиков, он подозвал к себе Лесли.

— Вот тебе билеты. Ты будешь старшиной до тех пор, пока поезд не придет в Харидж.

Лесли от смущения чуть не выронил билеты. Оказывается, он вовсе не такая «ворона», как его назвал этот самый унтер. Гордость его была польщена. Он очень возгордился. Ему казалось, что на него возложена огромная ответственность. Он всего первый день во флоте, у него нет еще даже формы, а он уже командует. Хорошее предзнаменование. Он уже чувствовал золотые нашивки у себя на рукаве.

— Шагом марш! — скомандовал он.

Под высокой крышей вокзальной платформы голос его прозвучал несколько пискливо. Лесли оглядел мальчиков и увидел, что один из них явно смеялся над ним. Лесли смутился. Он даже пожалел, что унтер-офицер назначил его старшиной.

«Нет, нет, — думал он, — так не годится, нужно поднять свой авторитет».

Он подавил смущение и смело зашагал впереди своей маленькой армии.

Они без труда нашли в поезде свободные места и уселись. Лесли чувствовал, что часть своих обязанностей он уже выполнил, и милостиво заговорил со своими подчиненными.

— Как живет на учебном корабле? — спросил он одного из мальчиков, одетого в нечто похожее на морскую форму и носившего бескозырку, на ленте которой были буквы У. К. (учебный корабль).

Мальчик поглядел на Лесли подозрительно.

— Весело живется? — спросил Лесли.

— Весело? — переспросил мальчик угрю-

мо. — А ты поступил во флот, чтобы веселиться? Нет, там ты не развеселишься и, если тебе не понравится, не удерешь к своей маме!

Лесли ничего не сказал и принялся смотреть в окно вагона. Его нисколько не занимали телеграфные столбы, мелькавшие за окном, но уж лучше смотреть на них, чем разговаривать с таким наглецом.

Поезд перед остановкой замедлил ход, раздались выкрики: «Харидж! Харидж!». Мальчики вышли из вагона и увидели приближавшегося к ним унтер-офицера.

— Вы, ребята, в Шотли? Следуйте за мной! — сказал он и двинулся к выходу.

Через пять минут они подошли к небольшой пристани, у которой стоял морской катер. Вслед за унтер-офицером мальчики взошли на катер и спустились по трапу в форпик. Катер слегка раскачивался, и Лесли почувствовал себя морским волком. Он был взволнован. Никогда еще ему не приходилось плавать на кораблях.

Наконец катер подошел к пристани морской школы, и молодой моряк приказал мальчикам выходить. Он был одет в белое и этим отличался от офицеров, стоявших на пристани. Он доложил о прибытии мальчиков, не забыв несколько раз прибавить слово «сэр».

Лесли все еще чувствовал на себе ответственность, возложенную на него унтер-офицером в Лондоне. Его мучило любопытство. Ему хотелось выяснить свое место на лестнице морской иерархии. Он выступил вперед и, обращаясь к моряку в белом, спросил:

— Что делать дальше?

— Что делать дальше? Ты это скоро узнаешь. Разговаривая со мной, не забывай прибавлять слово «сэр»!

Так Лесли узнал свое место. Оно было в самом низу.

Их привели в комнату дежурного.

— Ну, ребята, выкладывайте на стол деньги и папиросы.

Приказание было странное и неожиданное. Однако на стол посыпались папиросы, спички и монеты.

— Во-первых, вам запрещено курить, а во-вторых, вам позволено иметь при себе не больше полукроны, — сказал унтер-офицер, раскрывая книгу, чтобы записать в нее все, что он отобрал у ребят.

— А теперь — в баню!

Мальчики пошли гуськом по коридору. Редкие лампочки горели так тускло, что

в коридоре было почти совсем темно. Во всем здании царил такая тишина, словно в нем не было живого человека. Мальчики вошли в баню.

— Раздевайтесь, — приказал дежурный. — Вам дается на мытье только две минуты. Потопрапливайтесь.

Лесли разделся мгновенно. Он уже привык повиноваться приказаниям. Кроме того, вымыться за две минуты не шутка.

Вода оказалась такой холодной, что напоминать об этих двух минутах не пришлось. Они стремительно вернулись в предбанник и увидели, что всю их одежду убрали в сторону, а на ее место положили мешки с новой одеждой.

— Оденьтесь в новое, а свою одежду положите в мешки, — приказали им.

Лесли раскрыл свой мешок. Наконец-то он наденет морскую форму, эту историческую форму, знаменитую своей способностью потрясать женские сердца. Но его ожидал неприятный сюрприз. Взглянув на одного из мальчиков, уже успевшего одеться, он был потрясен. Одежду эту действительно можно было назвать исторической, потому что она была удивительно ветхой; о покорении женских сердец в такой одежде нечего было и думать.

Фуфайка была так широка, что в нее влезли бы двое, а брюки болтались на ногах, как шлейф придворной дамы. Вид этой одежды расстроил Лесли. Мальчики, надевшие свою новую форму, были похожи на кинематографических бандитов.

Вдруг один из мальчиков захохотал. Захохотал во все горло. Этот хохот прервал грустные размышления Лесли. Действительно, им ничего не остается, как только хохотать. Смех над собою помогает восстановить попанное чувство самоуважения.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

— Вставай, вылезай, ты не дома! Или, может быть, подать тебе в постель чашку какао? В нашем полку какао в постель не подают.

Резкий холод помог Лесли прогнать сонливость. Открыв глаза, он увидел, что его одеяло лежит на полу, а возле кровати стоит старший унтер-офицер.

— Как тебя зовут?

— Лесли Уинтерс.

— Лесли! Какое прекрасное имя! На

твоем месте я, поступая во флот, выбрал бы себе какое-нибудь более человеческое прозвище. Твоя мамаша, наверно, ждала от тебя многого, раз назвала тебя таким аристократическим именем.

Внезапно он перестал издеваться и начал орать:

— Вставай! Когда оденешься, явись ко мне в контору, напротив через дорогу!

Лесли выскочил из кровати. Пальцы его дрожали, пока он одевался. Он старался заставить себя успокоиться. Надо научиться не расстраиваться по таким пустякам.

Комнатенка, в которую он вошел, была так мала, что письменный стол едва помещался в ней. Старший унтер-офицер очень польстил себе, назвав ее конторой.

— Твой домашний адрес? — спросил старший унтер-офицер. — Я отошлю к тебе домой твою штатскую одежду. Когда ты получишь письмо, подтверждающее получение, покажи его мне.

Лесли несколько не пожалел о том, что его штатская одежда отправляется домой.

— Несколько лет назад, — сказал старший, оказавшийся весьма разговорчивым человеком, — мы не рассылали штатскую одежду по домам, мы только уверяли, что рассылаем ее. Дежурный старший брал все вещи, относил их в Харидж, продавал старьевщикам и клал деньги себе в карман. Но теперь во флоте порядки изменились. Родители стали посылать в адмиралтейство протестующие письма, и нам пришлось от этого дела отказаться.

После этой лекции о честности, введенной во флоте по приказу адмиралтейства, Лесли отправился завтракать. За завтраком он обратил внимание на своего соседа по столу. Это был славный мальчик небольшого роста, с коротко остриженными волосами. На его хорошеньком маленьком личике ярко поблескивали глазки.

— Как тебя зовут? — спросил Лесли.

— Клерк, — ответил тот, — но здесь меня называют «Щеголем», потому что моряки всегда всех клерков называют «щеголями». А тебя как зовут?

Лесли назвал свое имя и прибавил:

— Невкусный завтрак. Он мне не нравится.

— Не нравится? Так отдай его мне, — сказал мальчик, сидевший напротив, и протянул руку, чтобы схватить тарелку.

— Я попросил первый, — соврал другой мальчик и выхватил тарелку у него из-под рук.

Все это произошло в одно мгновение. Бац! бац! — и оба мальчика уже дрались над столом из-за завтрака Лесли.

— В середину круга! — заорало множество голосов. — Давайте сделаем круг!

Мальчики стали в круг, и оба драчуна оказались в середине. При каждом удачном ударе зрители ревели от восторга.

— Так его, Рыжий! — кричали одни.

— Бей его, Черный! — кричали другие.

Бой продолжался недолго. Рыжий был крупнее своего противника и нанес ему такой удар, что тот покатился под стол. Победитель завладел завтраком и сожрал его.

— Это уже пятая драка за те два дня, что я провел здесь, — сказал Щеголь. — Еще через три дня таким способом выяснится, кто среди нас будет главарем.

После завтрака их отвели в госпиталь, чтобы привить им оспу.

— Это совсем не больно. А если ты хочешь избавиться от всяких последствий, высоси то, что они впрыснут тебе в руку, — посоветовал многоопытный Щеголь простодушному Лесли.

Познания Лесли расширялись с каждым часом. Он действительно попал в совсем другой мир, нисколько не похожий на прежний. Даже вещи в этом другом мире назывались по-другому. Полы превратились в палубы, лестницы — в трапы и окна — в иллюминаторы. Было удивительно заманчиво называть палубой пол самого обыкновенного дома, ничуть не похожего на корабль. Этой перемене названий Лесли придавал громадное значение. Слово «палуба» — не обычное слово. Палуба — это часть корабля, на которой совершаются битвы и по которой расхаживают герои.

Однако в этой другой жизни, столь не похожей на прежнюю, далеко не все было возвышенно и героично. Например, баня. После очередного двухминутного мытья унтер-офицер внимательно осмотрел каждого мальчика при ярком свете электрической лампы.

Бац! И громкий крик. Лесли обернулся. Он увидел голого мальчика, скорчившегося от боли и державшегося за спину обеими руками. Унтер-офицер снова изо всей силы ударил его по голому телу резиновой дубинкой. Мальчик снова вскрикнул. Щеголь многозначительно переглянулся с Лесли, и, не сказав ни слова, они принялись старательно тереть друг друга мочалками.

Палата была чистая, без единого пятнышка. Ее убирали больные.

Лесли лишен был возможности как следует осмотреть палату и больных, так как у него отчаянно болела рука. Он не последовал совету Щеголя, не высосал прививку, и теперь рука его распухла и покрылась пятнами всех цветов — от бледножелтого до темнобагрового.

Как он попал в госпиталь, он не помнил. Но в глубине его сознания сохранились последние слова, произнесенные санитаром, который уложил его на койку:

— Прививку тебе сделал не доктор, а грязный землекоп.

Была холодная ночь, но Лесли было жарко. Он пылал. Боль сводила его с ума. Ему хотелось кричать, но всем больным было приказано соблюдать тишину, и, напрягая всю свою волю, он молчал, чтобы не нарушить приказа. Он стиснул зубы и боролся с болью. Боль становилась все нестерпимее. Сознание не в силах было справиться с ней. И он вскрикнул. Крик его превратился в тихий стон. Он снова вскрикнул и почувствовал, что кто-то трогает его. Здоровой рукой он пытался отбиваться. Кто-то с силой сжал его больную руку, и он потерял сознание от боли.

Он очнулся от шума голосов возле его кровати. Сознание мало-по-малу вернулось к нему. Было утро. Он огляделся. Доктор разговаривал с санитаром.

— Это тот мальчик, который кричал всю ночь?

— Да, сэр, — ответил санитар, и они оба подошли к Лесли.

— Мы спасли твою руку, мой мальчик, ее не придется отнимать, — спокойно сказал доктор.

Это был тот самый доктор, который сделал прививку. Лесли ничего не ответил. Он не чувствовал никакой благодарности к этому доктору и хотел спрятаться от него под одеяло. Ему было страшно.

— Ты еще легко отделался, — сказал ему мальчик, сидевший на соседней койке, когда доктор и санитар вышли из палаты.

Выздоровливающие натирали пол, а лежащие на койках разговаривали друг с другом.

Лесли взглянул на мальчика, который заговорил с ним. Он был худ, так как, видимо, только что оправился от тяжелой

болезни, но голубые глаза его, полные жизни, ярко сияли. Он понравился Лесли.

— Как тебя зовут?

— Меня зовут Пат. Я ирландец и горжусь этим.

Лежа на койке, Пат своими проделками веселил всю палату.

Тусклая лампочка, висевшая на потолке, кое-как озаряла середину комнаты. Лесли часами смотрел на эту лампочку, размышляя о том, скоро ли ему можно будет покинуть госпиталь.

Однажды до него доносся тихий плач. Он повернул голову, но ничего не мог разглядеть в темноте. Он встал и пошел к той койке, откуда доносился плач. Вспомнил, что еще днем разглядывал мальчика, лежавшего на той койке. У него было худенькое личико, и на вид ему нельзя было дать даже пятнадцати лет.

— Что с тобой? — спросил Лесли, подойдя к его койке.

— Ничего, сэр, — ответил мальчик, решив, очевидно, что к нему подошел санитар.

Но, взглянув, он понял, что перед ним такой же больной, как и он.

— Боже, как мне хочется уйти от этой жизни!

— Уйти? Зачем же ты поступил во флот? — спросил Лесли.

— Разве я знал, что здесь так скверно? Они ничего не пишут об этом в своих брошюрах.

— Почему же ты не уйдешь? — спросил Лесли. — Тебе лучше всего было бы уйти.

— Не болтай вздора, — ответил мальчик сердито. — Для того чтобы уйти, нужно внести сорок фунтов стерлингов, а если бы мои родители имели сорок фунтов, я не был бы здесь.

Сообщение о сорока фунтах потрясло Лесли. Но он попытался сохранить веселость.

— Чего ради ты хочешь платить сорок фунтов? По-моему, здесь отлично. Вот тебе мой совет: забудь о своей мамаше и стань таким же моряком, как мы все.

— Ступай на свою койку, моряк, — огрызнулся мальчик. — Если увидят, что ты шляешься по палате, тебя выдерут, и хорошо сделают.

Лесли решил, что «мальчишка сошел с ума и не стоит о нем беспокоиться».

Лесли мало-по-малу привык. И никого не боялся. Даже доктора, который чуть было не отрезал ему руку.

Каждое утро ровно в девять часов доктор, как автомат, повторял одно и то же: — Немного лучше. Строжайшая диета.

Однообразие этих ежедневных посещения надоело Лесли до крайности. Он поступил во флот, чтобы увидеть мир, а вот уже шесть недель весь мир, который он видит, состоит из четырех белых крашенных стен госпитальной палаты. Строжайшая диета тоже немало мучила его. Он возненавидел доктора всей той ненавистью, какую способен испытывать мальчик к человеку, не дающему ему есть.

Пат, однако, видел и смешную сторону этой голодовки. Он уверял, что их нарочно готовят к очень длинному отпуску, во время которого они поедут домой и будут есть столько, сколько захочется.

Наконец наступил день, когда доктор, осмотрев Лесли, сказал:

— Завтра выписать из госпиталя. Перевести на полный паек.

Лесли пришел в восторг. Ему хотелось расцеловать доктора, но он сдержался и только слабо прошептал:

— Благодарю вас, сэр.

Он сам не знал, за что он его благодарит. Он просто радовался, что скоро будет избавлен от мук голода.

— Тебя выписывают, Лес? Меня тоже, — усмехнулся Пат. — Итак, мы с тобой снова будем моряками на полном волеизъявлении, — прибавил он.

Слова доктора развеселили Лесли. Чтобы занять время, он принялся убирать палату. В своем усердии он нечаянно стукнулся головой о полку. С полки слетела старая чашка, упала на пол и разбилась. Подбирая осколки, он услышал за спиной голос санитаря:

— Вечером ты поговоришь об этой чашке с доктором.

Разбитая чашка не слишком огорчила Лесли. Все равно он завтра выписывается из госпиталя.

— Зачем ты разбил чашку? — спросил доктор.

— Это была совсем старая чашка, сэр, с отбитой ручкой, — объяснил Лесли.

— Старая или новая — какая разница? Это была чашка, и ты не должен был ее

разбивать. Ты был неосторожен, не правда ли?

— Нет, сэр, — ответил Лесли.

— Не спорь со мной, ты был неосторожен, — сказал доктор резко.

— Да, сэр, — согласился Лесли.

— Вот видишь, ты сам знаешь, что был неосторожен. Еще один день строжайшей диеты.

Лесли ничего не ответил. По двум причинам. Во-первых, всякий ответ был бы серьезным нарушением дисциплины. А во-вторых, он был слишком обижен, чтобы отвечать. Ему казалось, что доктор зверь, а не человек. Ни один человек, зная, как он голоден, не способен был бы лишить его пайка из-за чашки с отбитой ручкой.

— Не горюй, Лес, — сказал Пат, когда доктор вышел. — Тебе не придется голодать. Я отдам тебе половину своей порции.

Лесли поблагодарил его. Пат с каждым днем нравился ему все больше и больше.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Шестьдесят мальчиков с иголками и нитками в руках сидели на койках и вышивали.

Командование его королевского величества Морской школы в Шотли считало, что на обмундировании новобранцев недостаточно метки, сделанной краской. В течение двадцати четырех часов каждый мальчик должен был вышить свое имя на каждой части своей одежды. Выданная им форма была стандартных размеров и могла подойти любому. Нужно было предотвратить возможность нежелательных обменов.

— А на сапожных шнурках тоже надо вышить свое имя, сэр? — с невинным видом спросил Пат у инструктора.

— Ты надо мной смеешься?

— Нет, сэр, — сказал Пат, приняв еще более невинный вид.

— За это ты вышьешь свое имя на своих шнурках.

Пат ухмыльнулся и прошептал Лесли:

— Какая удача, что у меня всего одна пара сапог.

— Заткнись! — проревел инструктор.

— Господи помилуй! — прошептал Пат. — Ручаюсь, что сегодня будет больше исклотых пальцев, чем вышитых подштанников.

Лесли и Пат сидели на своих койках, благодаря судьбу за то, что она снова свела их вместе.

— Пойду покурить, — сказал Пат.

— Смотри, как бы тебя не поймали, — предостерег его Лесли.

— А ну их к чорту! — сказал Пат. — Пойдем в умывальню, я научу тебя зажигать папиросы без спичек.

В умывальне он развинул выключатель, сунул в провода два отточенных с обоих концов карандаша и зажег папиросу с помощью вспыхнувшей искры.

— Осторожней! — услышали они шопот. — Идет Сокрушитель!

Пат швырнул папиросу в умывальник и кинулся к двери. Но было уже поздно. В дверях стоял унтер-офицер. Растопырив руки, он преградил Пату дорогу.

Потом громко понюхал воздух.

— Пахнет дымом, — сказал он ехидно. И прибавил, ткнув пальцем в Пата: — Это знак, что твоя спина скоро начнет дымиться.

Пат пытался отрицать свою вину.

— Я не курил, сэр.

— А кто же здесь курил?

Пат молчал, глядя в пол.

— Ты курил.

Сокрушитель вынул из кармана клочок бумаги, завернул в него вытащенный из умывальника окурок и сунул добычу в карман.

— Вещественное доказательство, — пояснил он. — Оно пригодится, когда ты будешь клясться начальнику школы, что ни разу в жизни не прикасался к папиросе.

Издательский голос унтера привел Пата в бешенство. Он с трудом сдерживался. На его бледных щеках появились два маленьких красных пятнышка.

— Ступай за мной на шканцы! — приказал унтер.

Он повернулся и вышел. Пат пошел за ним.

Судьба Пата очень тревожила Лесли. Курение считалось самым страшным проступком, а командир был строг и никогда не верил клятвам, что это больше не повторится.

Его размышления были прерваны знакомым голосом инструктора, который сзывал всех на лекцию.

Лектор-офицер говорил спокойно и мягко. Он, казалось, излучал доброту и благоволение.

— Вам следует помнить, — сказал лек-

тор, — что служба во флоте — путь к блестящей карьере, и вы должны постараться воспользоваться всеми возможностями, которые эта карьера дает. Я тоже когда-то учился в этой самой морской школе. И, как видите, я добился успеха. Впрочем, есть много таких, которые добились гораздо большего успеха, чем я. Командир нашего дивизиона мистер Уиллс спал когда-то в тех же самых комнатах, где спите вы.

Лесли, не отрываясь, глядел на лектора. Каждое слово западало ему в душу и возбуждало в нем надежды.

— Вы должны гордиться тем, что удостоены чести служить в британском флоте и принимать участие в охране берегов нашей обширной империи. Мы, старые моряки, горды сознанием, что мы служим офицерами в том флоте, в котором служили такие люди, как Нельсон, Родни, Блэк и Бэнбоу. Вот основные принципы, которые вы должны запомнить: преданность королю и родине, послушание офицерам.

Лекция кончилась. Офицер вышел, и мальчики разговорились. Они говорили о блестящем будущем, которое их ожидает.

— Юнга Уинтерс! — раздался голос унтер-офицера.

Лесли вскочил.

— Ступай сюда!

Лесли подошел.

— Кто научил тебя так стелить постель? Твоя постель — позор для всей спальни!

— Я думал, сэр... — начал Лесли.

— Ты думал? — проревел унтер. — В нашем полку вам не разрешается думать. В нашем полку мы думаем за вас.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Был день выдачи жалованья. Лесли и Пат стояли на плацу в очереди и ждали, когда каждому из них выдадут по одному шиллингу и шести пенсов за прошедшую неделю и по одному шиллингу за будущую.

Лесли был доволен. Какой прекрасный день! Солнце ярко сияет, а настоящей жары нет, и после обеда можно будет поиграть в футбол. Но Пат был угрюм.

— Тебе хорошо. — говорил он. — После обеда ты поиграешь в футбол, а я не в состоянии буду даже присесть. Сегодня у-

ром командир представил меня к награде, и после выплаты жалованья я получу ее. Вот сюда.

И он похлопал себя по спине.

Во время обеда место Пата за столом было свободно. Он ушел получать свою «награду».

После обеда Пат вошел в спальню и болезненно улыбнулся Лесли.

— Принеси мне мою тарелку, — попросил он. — Я пообедаю стоя.

Лесли стал его расспрашивать. Было ли ему больно? Кричал ли Пат? Он уронил бы себя в глазах всех, если бы хоть раз вскрикнул.

Но Пат уверил его, что не вскрикнул ни разу.

— Даже если бы они били меня целую неделю, — сказал он, — они не вырвали бы из меня ни звука.

— Покажи мне свою спину, — попросил Лесли.

Они пошли в умывальню. Пат спустил штаны.

— Боже! — воскликнул Лесли. — Они нарисовали у тебя на задку британский флаг...

— В следующий раз они нарисуют два флага, потому что за вторую провинность полагается двойное наказание, а бросать курить я не собираюсь. Ни за какие награды на свете я не брошу курить.

— Не бросишь? — внезапно услышали они у себя за спиной чей-то голос.

Обернувшись, они увидели унтер-офицера, который стоял в дверях, многозначительно улыбаясь.

— Боюсь, что ты промахнулся, — сказал он. — В нашем полку львов укрощают.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Эта мачта стояла некогда на огромном военном корабле. Она побывала во множестве морей, и могучие штормы не раз бушевали вокруг нее. Но эти дни миновали. Теперь она стоит на плацу как памятник старинному парусному флоту и служит для обучения новобранцев.

Лесли смотрел на эту мачту с восхищением. Вот настоящий ветеран морей. Команды на корабле сменялись, а она не покидала корабля со дня его рождения до дня его смерти.

— О чем ты размышляешь? Заснул! — прикрикнул на Лесли унтер-офицер.

Лесли, заглядевшись на мачту, забыл и об инструкторе и о своих товарищах.

— Как видите, — продолжал инструктор, — по снастям одновременно могут лезть четыре человека. А на первой платформе, называемой «вороньим гнездом», может поместиться только один человек. Итак, первая четверка, приготовиться! Снимите сапоги и носки. Вы взберетесь на мачту до вороньего гнезда и спуститесь с другой стороны. Тот, кто спустится последним, познакомится с моей палкой.

С этими словами унтер-офицер вытащил из кармана толстую резиновую дубинку.

Разглядывая мачту, Лесли не раз мечтал взлезть на самую ее верхушку. Но теперь, после угрозы инструктора, он думал только о том, как бы ему не оказаться последним.

— Марш! — приказал унтер-офицер.

Четыре пары босых ног закарбкались по вантам. Один из мальчиков сразу же обогнал остальных.

Шлеп! шлеп! шлеп! Унтер резиновой дубинкой бил отстающих по голым пяткам.

— Теперь они поторопятся, — сказал унтер-офицер усмехаясь.

Вторая четверка и третья были уже на вантах, а первая четверка спускалась. Унтер-офицер обежал мачту кругом, чтобы встретить их. Первый мальчик прыгнул на землю, за ним второй. Третий и четвертый прыгнули почти одновременно.

Унтер поднял руку, и резиновая дубинка со свистом опустилась на спину того, который прыгнул последним.

— Ой! — вскрикнул мальчик.

— Ой! — передразнил его унтер. — Я заставлю тебя поорать. Ты двигаешься так медленно, что опоздаешь на собственные похороны.

«Только бы не остаться последним, когда придет моя очередь лезть на мачту» — думал Лесли, глядя на искаженное болью лицо побитого.

Но тут случилось событие, избавившее остальных мальчиков от побоев.

На плацу появился офицер. Он остановился и стал смотреть на упражнения мальчиков.

— Тебя следовало бы выдрать, — громко, чтобы мог слышать офицер, сказал унтер последнему мальчику из второй четверки. — Как жаль, что в прошлом году издали приказ, запрещающий инструкторам носить при себе резиновые дубинки.

Он ухмыльнулся.

— Скажите, сэр, какой у вас чин? Мы все спорим об этом и решили спросить вас самих.

Священник улыбнулся, выслушав вопрос, который ему задал Лесли.

— Видишь ли, сын мой, — ответил он ласково, — мы, священнослужители, не имеем чинов. Это дает нам возможность разговаривать с адмиралом Брауном так же, как мы разговариваем с матросом Биллом Джонсом.

Этот разговор происходил в спальне после вечерней уборки. Священник, сняв шляпу, сидел за столом, непринужденно беседуя с мальчиками.

— Чины для нас ничего не значат, мой мальчик, мы выше подобных пустяков. Дисциплина ставит преграды между матросом и офицером, но не между матросом и мною. Вы можете разговаривать со священниками, как вам нравится. Мы — духовные целители, и если у кого-нибудь из вас есть на сердце какое-нибудь горе, он может в любой час зайти ко мне и поделиться им со мной.

Лесли нравился священник, потому что он всегда говорил с улыбкой и задушевно.

— Я пришел к вам по делу, — ласково сказал священник, подняв руку, словно для благословения.

Мальчики столпились вокруг него. Какое может быть дело у священника?

— В скором времени я начну занятия с теми из вас, кто пожелает готовиться к конфирмации. Пусть те, кто хотят конфирмоваться, назовут сейчас свои фамилии, я запишу их и потом сообщу им о начале занятий.

Лесли всегда с полным равнодушием относился к церкви. И, кроме того, ему казалось, что настоящему морскому волку вовсе не подобает конфирмоваться. И он попытался удрать. Но священник заметил эту попытку.

— Нет, мой сынок, не уходи, пожалуйста. Я убежден, что конфирмация принесет тебе пользу.

Лесли остановился. Он был смущен и теперь старался замазать свою неудачу показным усердием.

— Как твоя фамилия? А, Уинтерс. Да, да, помню. Я запишу тебя.

Лесли был не в силах возражать. Никто из них не в силах был отказать свя-

щеннику. Перед тем, как уйти из спальни, он записал их всех до единого.

После ближайшей церковной службы священник с амвона провозгласил фамилии мальчиков, которые со среды начнут готовиться к конфирмации.

Лесли услышал и свою фамилию, но обратил на это очень мало внимания. Он уже твердо решил на подготовку к конфирмации не ходить.

Наступила среда, и мальчики толпой стправились в маленькую часовню, где должны были происходить занятия. Но Лесли между ними не было.

На следующий день после чая в спальню вошел посыльный и передал Лесли листок бумаги. Прочтя записку, он не сразу ее понял. Его звали к священнику. Он совсем забыл о подготовке к конфирмации и подумал, что дома случилось несчастье и что священник взял на себя труд сообщить ему о нем.

Священник занимал хорошо обставленную маленькую комнатку рядом со спальнями. Лесли он принял приветливо, пригласил его сесть на стул и предложил чувствовать себя совершенно свободно.

— Молодой человек, — начал священник, ласково улыбаясь. — Ты сам вызвался посещать занятия и готовиться к конфирмации. А между тем в среду на занятиях тебя не было. Правда?

Лесли ничего не ответил и отвел глаза. Ему было совестно, что он поступил нехорошо с таким добрым человеком, как священник.

Улыбка священника стала еще шире.

— Вот видишь, — сказал он ласково и положил руку Лесли на плечо. — Тебе самому стыдно. Теперь ответь мне честно: ты действительно хочешь готовиться к конфирмации?

Лесли колебался. С одной стороны, он не хотел огорчить священника, но, с другой стороны, он чувствовал к священнику такое доверие, что не хотел лгать ему.

— Нет, сэр, — выговорил он и немного испугался.

Священник заговорил. Он попрежнему шарующе улыбался, но голос его несколько изменился. И слова стали жестче.

— Мне отлично известно, — сказал он, — что, хотя посещение церкви обязательно, подготовка к конфирмации совершается в добровольном порядке. Тем не менее, молодой человек, ты не должен забывать, что ты добровольно попросил ме-

ня внести тебя в список лиц, желающих готовиться к конфирмации. Следовательно, вопрос идет не о твоём желании или нежелании готовиться к конфирмации, — в этом ты совершенно свободен, — а о твоей лжи. Какой ответ я могу дать начальнику школы, когда он меня спросит, что за мальчик Лесли Уинтерс? Ответ мой тебе ясен. Я вынужден буду сказать ему, что мальчик Уинтерс жет и не держит своего слова. Впрочем, если ты в дальнейшем станешь посещать мои занятия, ты освободишь меня от неприятной обязанности давать начальнику столь не лестный отзыв об одном из наших мальчиков.

Лесли был поражен. Священник оказался совсем не таким человеком, каким он считал его. И спокойный голос, и вечная улыбка, и доброта — все это было только маской, скрывавшей обыкновенного морского офицера, такого же, как все остальные.

— Хорошо, сэр, — сказал он, — я буду посещать занятия. Можно мне идти?

— Иди, — кротко ответил священник, — и не забудь, что если у тебя будет какое-нибудь горе, ты всегда можешь прийти с ним ко мне.

Лесли выбежал на двор. Ему хотелось подышать свежим воздухом.

«Прийти к нему со своим горем! — думал Лесли. — Да ни за что на свете!»

И он поклялся до конца своей жизни избегать этого человека.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Лесли был счастлив. Он успешно окончил школу. Теперь он был юнга первого класса.

Почти двенадцать месяцев прошло с того дня, когда он поступил во флот. Он чувствовал, что за это время он очень изменился.

Он возмужал и телом и духом. Морская форма не сидела больше на нем неуклюже. Напротив, она очень шла к нему.

Он ходил с высоко поднятой головой и держал руки по швам, как на параде. Он знал, что мальчики смотрят на него с завистью. Он принадлежал к избранному меньшинству. Он был уже моряк, готовый выйти в море, а им еще предстояло добиваться этого права.

Он был доволен своей службой. Ни

в чем запрещенном он еще не попадался, как попадался, например, Пат, и его ни разу не били, если не считать ударов резиновой дубинкой, которыми его иногда награждал инструктор.

Официальная порка — вот это действительно ужасная вещь. И ужасна она была не тем, что секли больно, а тем, что секли публично, в присутствии вахтенного офицера и начальника школы. Привязанный к деревянной кобыле, наказуемый выслушивал приговор, который произносил офицер, в то время как сержант морской полиции стоял с поднятой палкой, ожидая, когда произнесут слова команды:

— Раз...

Ему удалось избежать порки, и он гордился этим.

Он с гордостью слушал, как унтер-офицер несколько дней назад огласил вслух результаты экзаменов.

Лесли Уинтерс окончил лучше всех как по навигации, так и по артиллерии.

— Ну, Уинтерс, — сказал унтер-офицер, — если ты так пойдешь, будешь адмиралом!

Теперь он уже не сомневался, что правильно избрал для себя карьеру.

Он играл в футбол, в крикет и греб вторым веслом на гоночной шлюпке.

Ему оставалось провести в школе всего несколько дней, и он дал себе слово, что в море будет так же хорошо исполнять свои обязанности, как исполнял их здесь.

Он встретил Пата в новой бескозырке, лихо сдвинутой набекрень.

— Здорово, моряк! — приветствовал его Пат. — Скоро выходим в море!

И он пошел шатаясь, как будто по палубе корабля во время качки.

Лесли улыбнулся. Пат всегда радовал его, несмотря даже на то, что он сдал экзамены самым последним. Пат оказывал успехи только в боксерских состязаниях. Эти успехи были так велики, что он даже вышел в финал состязаний, но принять участие в финале ему не пришлось, потому что перед самым финалом он опять был пойман с папиросой и получил двенадцать ударов палкой.

Они сидели в матросской лавке и рассуждали о предстоящем отъезде. Теперь им платили по два шиллинга в неделю, и они могли себе позволить выпить после получки чашку какао или бутылку лимонада.

Пат ткнул пальцем в окно, за которым находился плац.

— Погляди! — сказал он.

Лесли посмотрел в окно. По плацу бежала кучка мальчиков. Это были наказанные. Некоторые из них шатались от усталости. Они бежали без остановки уже почти час. Один из них споткнулся и упал. Унтер-офицер схватил его за воротник, встряхнул, поставил на ноги и, пихнув сапогом в зад, заставил бежать дальше.

— Когда я буду взрослым, — сказал Пат, — я так встряхну кой-кого из этих унтеров, что из них искры посыплются.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Газеты в морскую школу проникали очень редко. Только в самых исключительных случаях на доске извещений вывешивалась газета.

Лесли заметил, что мальчики толпятся перед этой доской. Он подозвал Пата, и они тоже подошли к доске.

В газете, вывешенной на доске, сообщалось о необычайном происшествии. Во время маневров в Портленде военный корабль нанес пробонну подводной лодке, и она затонула со всем экипажем.

— Западни смерти — вот что такое наши подводные лодки, — сказал один из мальчиков. — Кто из вас хотел бы служить на такой жестянке из-под сардин?

— У тебя посреди лица дырка, испускающая дурацкие звуки, — ответил ему Пат. — Подводная лодка сама по себе безопасна для команды, как этот дом. Посмотри перечень погибших подводных лодок. Все они тонут только от столкновения с кораблями.

— Не все ли равно, отчего они тонут? — вступил в разговор еще один мальчик.

Пат обернулся к нему, рассвирепев.

— Ты трусливый цыпленок! — зорал он. — У всех у вас цыплячи сердца!

Лесли несколько не был удивлен тем, что Пат так горячо защищает службу на подводных лодках. Он знал причину его гыла.

Три дня тому назад они оба добровольно согласились служить на подводной лодке. Конечно, они не ожидали этой катастрофы. Но Лесли не забыл, что сказал командир дивизиона, предлагая им поступить на подводную лодку. Он ничего не

прикрашивал. Он вполне ясно дал понять, что им предстоит очень опасная служба.

— Чорт возьми, Лес, — сказал Пат, — хорошо, что нас не сразу отправили из школы, нам повезло! А то мы еще попали бы на эту подводную лодку, которая затонула. И все-таки я не намерен сдаваться. А ты? Ты не раздумал? Ты не хочешь расстаться со мной?

Лесли кивнул головой. Катастрофа не поколебала его решения. Служить на подводной лодке так увлекательно! Погружаться на дно моря — что может быть занятнее, и не беда, если это сопряжено с опасностью. Все настоящие приключения всегда опасны.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

С уверенным видом вошла кучка моряков в ресторан на вокзале Виктории. Усевшись за столик, моряки ждали официанта.

Когда они покидали школу, направляясь в Портсмут, каждому из них выдали бумажку, в которой было написано, что предъявитель ее имеет право получить на любой станции обед за счет адмиралтейства.

Лесли был потрясен роскошью ресторана. С любопытством разглядывал он богато изукрашенные стены. Вид этих стен еще раз напомнил ему о том, что он уже окончил школу и вступил в жизнь, имея звание юнги первого класса королевского флота.

Каждый столик был накрыт на четыре прибора, и Лесли радовался, что после того, как он целый год обедал за столом, где сидело тридцать человек, он может выбрать себе любой столик и заказать любое блюдо.

Пат радовался еще больше: после обеда он откинется на спинку стула и закурит, не боясь Сокрушителя.

К ним подошел изысканно одетый человек и отвесил поклон. На нем был фрак, белоснежная манишка без единого пятнышка и черный галстук. Его волосы были гладко причесаны, и закрученные усы торчали в стороны, как два копыя.

Он сложил руки и сиял, ожидая их распоряжений.

Десять рук сунули под самый его нос десять бумажонок. Он отскочил, словно его укусили, затем овладел собой и подозвал

официанта. Он что-то прошептал официанту на ухо и важно удалился. Официант взял их бумажки и отдал мальчику, открывавшему двери.

— Отведи этих... э... э... моряков пообедать, — приказал он.

Он чуть было не сказал: «Отведи пообедать этих джентльменов», но во-время удержался.

Матросы вслед за мальчиком вышли из ресторана на улицу. Улица была грязная, шумная, и люди, сновавшие по ней, были ничуть не похожи на тех, которые сидели в ресторане. Даже мальчик, открывавший в ресторане двери, выделялся среди этой мрачной толпы своею изящной курточкой с блестящими пуговицами. Он привел их к черному входу таверны.

Они вошли в дверь, спустились по ступенькам в плохо освещенный погреб и оказались в комнате с каменными стенами, посреди которой стоял большой стол, накрытый клеенкой. Опять они очутились в привычной обстановке. На роскошную жизнь им удалось взглянуть только одним глазком.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Подводная лодка медленно отошла от стенки. Лесли, стоя на ее палубе среди матросов, одетых в белые фуфайки, чувствовал себя настоящим моряком. Целый год дождался он того мгновения, когда в первый раз выйдет в море. И вот, наконец, он выходит в море, и не на обыкновенном надводном корабле, а на подводной лодке.

Лодка вышла из гавани и направилась в открытое море.

— По местам! — приказал первый лейтенант, и Лесли вслед за другими спустился по трапу.

Он еще не успел как следует ознакомиться с подводной лодкой. Он только заметил, что в подводной лодке необычайно тесно. В каждом углу находился какой-нибудь диковинный механизм, и, идя по узкому коридору, нужно было соблюдать большую осторожность, чтобы не разбить себе лоб.

Лесли подружился с татуированным моряком, которого все называли «Брэм», потому что он был родом из Бирмингэма.

— Идем, я тебе покажу подводную лодку! — сказал он Лесли. — Мы с тобой на-

ходимся на самом носу, — продолжал он. — Вот здесь и вот здесь хранятся четыре торпеды, каждая в двадцать один фут длиной.

— А это что такое? — спросил Лесли, увидев большое колесо.

— Если наша лодка больше трех недель лежит на дне и нам хочется послать письма нашим родственникам, мы этим колесом открываем дверь и выпускаем через нее наружу почтальона.

Лесли вытаращил глаза:

— Мне кажется, подводная лодка не может оставаться под водой целых три недели. . .

Унтер-офицер, возившийся с торпедой, громко засмеялся, и Лесли понял, что ему не следует задавать никаких вопросов. Он решил слушать и ничего не говорить.

Лодка находилась уже в открытом море, далеко от гавани. Сильно качало. У Лесли появилось крайне неприятное чувство, и он с трудом сдерживал тошноту.

Вдруг лодка остановилась, и качка кончилась. Лесли сразу перестало тошнить. Он глянул вверх. У кингстона стоял матрос.

— Когда мы начнем погружаться? — спросил Лесли.

— Погружаться? Да ты что, обалдел или проспал? Мы уже целых полчаса как под водой.

Если бы не отсутствие качки, Лесли решил бы, что над ним опять потешаются.

— На поверхность! — раздалась команда, и через две минуты на трапе центрального поста загремели шаги.

Лесли сразу почувствовал, что лодка находится на поверхности, — его снова начала мучить тошнота.

— Ступай к переговорной трубе! — приказал Лесли старшина.

Лесли кое-как добрался до переговорной трубы и затем, нарушив дисциплину, кинулся к стоявшему в углу ведру, чтобы не выпачкать пол. Потом он упал, и подводная лодка перестала для него существовать.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Лесли смутно чувствовал, что он катается по полу взад и вперед из одного угла в другой. Он несколько раз натыкался на механизмы, но ему было все равно. Его тошнило.

Да, он надолго запомнит эту ужасную боль в животе, которую он испытал во время своего первого плавания по морю.

Подводная лодка раскачивается не так равномерно и изящно, как другие военные суда. Она судорожно прыгает и вертится, она поминутно зарывает свой нос глубоко в воду. Эти погружения носом в воду были для Лесли мучительнее всего. Когда подводная лодка зарывалась носом, ее винты оказывались над водой, и весь корпус начинал дрожать такою страшной дрожью, что Лесли готов был сунуть голову в ведро.

Он ухватился руками за компрессор, но его оторвало и опять покатило по полу. Он наткнулся на что-то мягкое, услышав сдавленный стон и с некоторою радостью понял, что он не одинок в своем горе. Всегда утешительно иметь товарища по несчастью.

— Ох! — простонал кто-то, и Лесли сразу по голосу узнал Пата. — Я отдал бы миллион фунтов стерлингов, чтобы очутиться в лондонском метро в часы пик и хоть немного насладиться там тишиной и спокойствием. Когда я выберусь отсюда. . .

Но так и осталось неизвестным, что собирался сделать Пат, выбравшись из подводной лодки. Визг сирены прервал их беседу. По лодке заматались люди. Приказания передавались из уст в уста. Мерный стук дизелей умолк; слышно было только жужжанье электромотора. Раздался свист выходящего наружу воздуха, и лодка под ужасающим углом ушла от бушующих волн в глубину. Внутри лодки не было того ощущения спуска, которое бывает внутри лифта, и команда знала лишь по приборам, что она находится в ста пятидесяти футах под поверхностью моря.

Это было «мгновенное» погружение — эволюция, делящаяся всего несколько секунд и во время войны означающая, что за лодкой гонится враг, стремящийся разнести ее в куски. Лесли и Пат благодаря исчезновению качки и унтер-офицеру, удалившему их сапогом, пришли в себя. К ним снова вернулась способность интересоваться окружающим.

Лодка продолжала погружаться. Стрелки глубометров показывали уже двести футов глубины. Начали готовиться к подъему, и насосы уже торопливо перекачи-

вали воду с носа на корму. Дифферент еще увеличился, стоять на ногах было почти невозможно. Потом снаружи донесся звук, похожий на тот, который раздается, когда погружают руку в мешок с сахарным песком, но только во много раз громче. Лодка сразу остановилась, но дифферент не уменьшился.

— Дно, сэр, — крикнул старшина.

Командир подскочил к циферблату глупомера и постучал костяшками пальцев по стеклу. Стрелка дрогнула, но не двинулась с места. Он оглянулся. Удивительно тихо было кругом. Медленно нагнул он фуражку себе на лоб, словно хотел защитить глаза от солнца, и засунул руки в карманы. Лесли, уже вполне овладевший собой, чувствовал, что командир не растерялся. Своим хладнокровием он успокоил всех.

— Убрать передние горизонтальные рули! — приказал он спокойно, но твердо.

— Передние лопасти заклинило, сэр, — доложил помощник старшины.

Командир погладил свой подбородок и поглядел вверх, словно хотел увидеть, что происходит на поверхности. Потом сказал:

— Мы увязли в песчаной отмели.

— Открыть кингстон «А»! — проревел первый лейтенант, охваченный паникой.

Капитан круто повернулся, взглянул на первого лейтенанта и, не повышая голоса, спокойно спросил:

— Зачем?

Первый лейтенант густо покраснел и смущенно ответил:

— Но ведь нужно же ее поднять, сэр.

— Конечно, нужно, — вежливо согласился командир. — Но для этого кингстоны открывать не рекомендуется. Пойдемте в кают-компанию и обсудим наше положение. А команда тем временем отправится на корму, в машинное отделение, и попытается толчками оторвать лодку от дна.

В течение получаса вся команда скакала и прыгала на корме, стараясь раскачать лодку, но всё напрасно. И люди снова разбрелись. Разговаривали они мало. Неудача действовала на них удручающе.

— По местам! — приказал старшина.

Все медленно пошли на свои места.

Вошел командир.

— Полный ход назад! — приказал он.

Лесли вспомнил, как обучавший его инструктор однажды сказал ему:

— Если лодка под водой пойдет полным ходом, ее батарей хватит только на один час.

Командир, видимо, тоже помнил об этом, так как через десять минут приказал остановить моторы.

Прошел час, но, несмотря на все принятые меры, лодка не сдвинулась с места. Теперь было ясно, что она врезалась носом в песок и что заклинившиеся рули держат ее на дне, словно якорь.

— Отправьте команду обедать повахтенно, — приказал командир.

Ни Пату, ни Лесли не хотелось есть. Пат даже заявил, что он боится еды, так как не уверен, остался ли у него еще желудок.

Приказав команде обедать повахтенно, командир поступил мудро. Чем больше народу обедает вместе, тем больше разговоров, а в том положении, в котором они находились, лишняя болтовня могла принести только вред.

— После обеда, — сказал он, обращаясь к команде, — мы снова будем прыгать и попытаемся прыжками освободить лодку.

Он сразу же вышел, не оставшись даже посмотреть, какое впечатление производят его слова.

Лесли чувствовал, что слова командира всех обнадежили. Команда убедилась, что он еще верит в возможность вернуться на поверхность.

Лодка погрузилась в одиннадцать часов утра. Теперь было три часа пополудни. За это время все их усилия привели только к тому, что несколько уменьшился дифферент. Люди почти перестали разговаривать. Всякий звук раздражал напряженные нервы.

Несмотря на свою молодость, Лесли хорошо подмечал угрюмые взгляды моряков, видел, что свои обязанности они выполняют механически, видел выразительные жесты, которыми обмениваются они вместо слов.

Лесли подсчитал команду. Офицеров и матросов — сорок два. И два юнги. Итого — сорок четыре человека. Командир дьявольски славный парень, и если кому-нибудь удастся выручить их из беды, так только ему. А первый лейтенант — просто щенок и уже доказал это, когда лодка врезалась в дно...

Забавно, что Лесли был еще в состоянии размышлять о подобных вещах. Не-

ужели им действительно угрожает гибель? Командир, видимо, верит в спасение, но все же сознание того, что они еще не выбрались на поверхность, томит и угнетает.

Радист вылез из своей каморки.

— Пойдем выпьем чаю, — сказал он, увидев Лесли.

Лесли побрел за ним в помещение команды. Сняв с полки чашку, Лесли направился к большому баку с чаем, стоявшему в конце стола. Он заглянул в бак. Бак был полон до краев. Казалось бы, что странного в полном до краев баке с чаем? Нет, кое-что странное тут есть. Команда пьет чай уже пятнадцать минут. Обычно через пятнадцать минут бак уже почти пуст.

Лесли оглядел стол. Перед каждым человеком стояла пустая и чистая чашка. Все молчали. Один моряк неподвижно уставился на распределительный шит, словно никогда его прежде не видел. Другой положил перед собою на стол рундучок, откинул крышку и, не отрываясь, смотрел внутрь.

Лесли через его плечо заглянул в рундучок. Что может быть там интересного? И сразу отпрянул. В рундучке лежала фотография женщины с двумя детьми. Его жена и дети. Жена и дети, ради которых он поступил на подводную лодку, потому что на подводной лодке платят больше, чем на других военных судах.

Лесли поманил Пата, и они вдвоем пошли на корму, в машинное отделение.

— Пат, — прошептал Лесли взволнованно, — что с ними случилось?

— Что с ними случилось? — повторил Пат. — Они сходят с ума. Я сказал одному матросу, что хотел бы навсегда остаться на дне, потому что на поверхности меня тошнит, а он вместо ответа ударил меня в ухо, да так больно, что и через месяц не пройдет.

Подумав, он прибавил:

— А ты не трусишь, Лес?

Лесли до сих пор не трусил, потому что не верил в опасность. Но теперь, после слов Пата, ему стало страшно.

Но продолжать разговор о страхе не удалось, так как в машинное отделение вошел офицер, ведя за собой всю команду.

— На этот раз мы будем прыгать до тех пор, пока она не оторвется от дна, — сказал он.

Снова начали прыгать. Если бы они не находились в таком отчаянном положении,

было бы забавно смотреть, как прыгают суровые угрюмые моряки, стараясь подсакивать одновременно, чтобы удар был сильнее. Впрочем, кто-то уловил смешную сторону этого зрелища и посоветовал морякам прыгать не слишком высоко, чтобы не разбить лбы о потолок.

— Лодка выпрямляется! — раздался голос из центрального поста.

Моряк, разглядывавший за чаем фотографию жены, потерял голову от радости.

— Прыгайте, ребята, прыгайте, чорт вас побери! — крикнул он и сам начал прыгать как бешеный.

Это был панический крик, и паника охватила многих матросов. Они уже перестали следить за тем, чтобы подпрыгивать одновременно. Каждый прыгал по-своему.

— Стоп! — мягко сказал командир.

Голос его сразу всех успокоил. Беспорядочное прыганье прекратилось.

— Этак мы ничего не добьемся, — продолжал командир. — Станьте рядом и прыгайте все вместе. Вот так! Еще раз. Превосходно!

Воздух в лодке был уже несвежий. В отравленном воздухе прыгать трудно. Пот тек по лицам моряков. Они дышали часто и неровно.

То один, то другой прислонялся к стене, опустив плечи и повесив голову. Чувствуя, что все их усилия не приводят к победе, они пали духом.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

— Нас вызывают на незатухающих колебаниях, сэр, — крикнул радист из своей закуты.

Командир кивнул с таким видом, словно он давно это знал.

— Вы можете установить с ними связь? — спросил он радиста.

— Нет, сэр, — ответил радист.

— Это хорошо, — сказал командир вполголоса.

Лесли удивился. Что ж тут хорошего? Но раз такой командир говорит, что это хорошо, значит, так оно и есть.

— Ты понимаешь, что происходит? — спросил Лесли один из моряков.

Лесли признался, что не понимает.

— Нас ищут, но командир хочет, чтобы мы выбрались собственными силами, не поднимая паники наверху.

— Старший механик, попробуем снова включить моторы! — приказал капитан. — Рулевой! Попробуйте раскатать рули.

Все понимали, что сейчас будет сделана новая попытка освободиться. Дышать было уже совсем трудно. Приказания, которые прежде отдавали во весь голос, теперь произносили едва слышно, почти шепотом.

— Стройся! Бегом на корму! Марш!

Когда они все вместе кинулись на корму, загудели моторы. Соединенные усилия моторов и людей заставили лодку покачнуться. Люди остановились. Они прислушивались не дыша. Напряжение, охватившее их, было похоже на то напряжение, которое охватывает футбольную команду, когда она видит, что один из игроков целится мячом в гол.

— Лопасты двинулись, сэр! — задыхаясь, крикнул рулевой.

— Двиньте ими еще раз. Поверните их.

— Они поворачиваются только на сорок градусов, сэр, и дальше не идут.

Моряки воспрянули духом. Понимая, какой победы удалось добиться этим пробегом от носа к корме, все готовы были бежать еще раз.

Один моряк, не сдержав своих чувств, обнял первого попавшего ему навстречу человека и поцеловал его. Поцелуй этот достался Пату. Пат очень удивился, потому что поцеловавший его моряк оказался тем самым, который несколько часов назад ударил его по уху.

— Сорок пять градусов, сэр, — крикнул рулевой.

Глаза всей команды были устремлены на него. Каждый лишний градус приближал их спасение. Лесли случайно обратил внимание на цепочку, свисавшую с вентилятора. Пораженный, он глядел на нее, не отрываясь. Неужели цепочка висит вертикально? Он беззвучно толкнул стоявшего рядом моряка и показал ему цепочку. Тот понял не сразу; и вдруг догадался, — висящая вертикально цепочка означает, что лодка выпрямилась. Он повернулся к командиру.

— Поглядите, сэр, — сказал он, не вполне доверяя себе самому. — Мы лежим на дне без всякого наклона.

Командир улыбнулся.

— Ты прав, — сказал он. — Я знаю об этом уже целых две минуты. Приборы точнее указывают положение судна, чем цепочка от вентилятора.

Свободны! Теперь они подымутся на поверхность и будут дышать свежим воздухом, которого они никогда по-настоящему не ценили. Пусть волны бушуют как хотят, они будут им только рады. И небо — серое, покрытое тучами, — насколько оно прекраснее потеющих стен подводной лодки, зарывшейся в песок на глубине двух сотен футов.

— Теперь советую выпить по чашке чаю. Я тоже выпью, — сказал командир, улыбаясь.

Напряжение было сломлено. Все покинули машинное отделение. Командир вышел последним.

В дверях своей каюты он остановил стюарда:

— Мне не нужно чаю, Уоррен. Ради бога, принеси мне полный стакан виски.

И рухнул в кресло.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Крейсер был класса «С», водоизмещением около трех с половиной тысяч тонн и с экипажем в триста человек — не особенно большой крейсер, но Лесли после девяти месяцев службы на подводной лодке он казался большим. От этого кажущегося простора рождалось чувство свободы, и Лесли без сожаления думал о том, что расстался с подводной лодкой. Впрочем, он тут же вспомнил, что на подводных лодках дисциплина не особенно строга и даже с юнгой обращаются лучше, чем на других кораблях.

Он высказал это мнение Пату, но Пат, относившийся теперь отрицательно ко всему пахнувшему морской службой, объявил, что единственное просторное место, которое он знает, — это Баттерси-парк, в двух минутах ходьбы от его дома.

— А честолюбия у тебя нет? — спросил Лесли.

— Честолюбие! — фыркнул Пат. — Моя единственная честолюбивая мечта — выбраться из здешней компании и почувствовать снова, что я сам себе хозяин.

В нем самом уже созрел ясный план. Он воспользуется теми возможностями, которые ему предоставляло пребывание на корабле, и будет держать экзамены на офицерский чин. Но это дело могло подождать, теперь он был поглощен предстоящим рейсом. Копенгаген, Мемель, Ревель и Гельсингфорс — все это такие места,

где, по словам старых матросов, стоило побывать.

Утро должно было застать их в Копенгагене, и большинство матросов готовилось к прогулке на берегу.

Лесли зажег папироску и бросил спичку за борт: Она задела за перила и упала обратно на палубу.

— Ступай на шканцы! — раздалось позади него.

Лесли быстро повернулся и очутился перед старшим боцманом. Раздавив в руке папироску, Лесли швырнул ее за борт и пошел.

— Зачем бросил спичку на палубу?

Лесли стал с шапкой в руке во фронт перед вахтенным офицером и хотел объяснить, как было дело.

— Дозвольте сказать, сэр, я не бросал ее на палубу. Я бросил ее за борт, но случайно она упала на палубу.

— Это я знаю. А все-таки зачем ты ее бросил?

Лесли молчал, зная, что не следует упорствовать в ответах, когда офицер по раз навсегда выработанному графарету допрашивает матроса по поводу какого-либо «преступления».

— Так или иначе, никто не разрешал тебе бросать вещи за борт. Три наряда сверх очереди, — с бесконечным равнодушием произнес офицер.

Лесли надел шапку, отдал честь и молодцевато повернулся на одном каблуке.

«Большоголовый чорт, — подумал он, — ни за что, ни про что сорвал выход на берег! А этот главный ругатель — настоящий сукин сын!»

Лесли не пришел в восторг и от разъяснений встреченного матроса первой статьи, на которого ему уже раньше указали как на «морского законника».

— Я думаю, всякий мог видеть, что я не нарочно угодил этой спичкой на палубу. А когда я объяснял офицеру, он, по-моему, вовсе и не слушал.

«Морской законник» усмехнулся, и в этой усмешке, обнажившей прокуренные зубы, Лесли почудилась гнусная издевка.

— Можешь смеяться, но когда я стану капитаном...

— Ха-ха-ха! — захохотал «морской законник» и заерзал так, будто ему трудно было усидеть на месте. — Капитаном! Эй, ребята, полюбуйтесь на этого капитана! Новейшая марка! Доставлен спешной почтой!

Лесли вдруг увидел себя в центре круга ослабившихся физиономий. Все они насмешливо смотрели на него.

«Пожалуй, не следовало мне говорить это здесь! — подумал он. — Надежды человека, видимо, должны оставаться его личной собственностью».

— Брось это, браток! — послышался голос «кокней». ¹ — Твое имя не высохло еще в судовых списках, а ты уже хочешь стать капитаном. Капитан тоже! Если ты станешь капитаном, то разве только в футбольной команде!

Лесли отошел к своему сундучку и начал шарить в нем, лишь бы скрыться от этих ослабившихся лиц.

— Поди-ка сюда, без пяти минут капитан! — позвал его «морской законник». — Поди-ка и послушай знающего человека! Это я, — пояснил он.

Он повел Лесли в помещение для отдыха и, присев на рундук, достал короткую глиняную трубку, которую он нежно называл «носогрейкой».

— Значит, ты собираешься жить в офицерской каюте? Так, что ли?

Лесли не хотелось отвечать утвердительно. Довольно с него честолюбия для одного дня! Матрос первой статьи усмехнулся и, вынув изо рта трубку, сплюнул в плевательницу, стоявшую в дальнем углу.

— Ну, какие бывают офицеры во флоте? Знаешь?

Лесли знал и начал перечислять:

— Младшие лейтенанты, лейтенанты...

— Вот и сел в лужу! — перебил его «морской законник». — Во флоте всего три сорта офицеров: «молодчаги», «гниды» и «собачьи гниды».

Лесли выпучил глаза. У него было совсем другое представление об офицерах — как о людях, с которых надо во всем брать пример.

— Кто же это «молодчага»? — продолжал матрос. — Это офицер, который знает свое дело и прилично обращается с людьми. «Гнида» — офицер, который знает свое дело и обращается с людьми, словно это мразь, а «собачья гнида» — офицер, который не знает своего дела, обращается с людьми, как с собаками, и только и делает, что бегаёт да орёт. Тот, который так наградил тебя за оброненную спичку, — настоящая «собачья гнида».

¹ Часть Лондона, жителей которой узнают по особому выговору. Прим. переводчиков.

Матрос закончил многозначительным взглядом и выжидательно смолк. Лесли не знал, рассмеяться ему или выругаться, — и выбрал последнее. Он смеялся всю жизнь, и ругаться научился совсем недавно, во флоте.

— Уинтерс! — позвал его голос с верхней палубы.

Лесли побежал и увидел на мостике офицера.

— Ты получил сегодня три наряда сверх очереди? — спросил он Лесли. — Так вот, завтра после вечерней вахты начнешь чистить замок у орудия «В».

Лесли двинулся прочь.

— Эй! Не водись ты с этим «морским законником»! — мягко порекомендовал ему с мостика офицер. — Это фрукт, и добро-го от него не наберешься!

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

— Алло, ребята! Хотите осмотреть город? — на ломаном английском языке приветствовал Лесли и Пата чей-то голос, когда они выходили из кафе.

Они оглянулись и увидели, что к ним подошел штатский. Лесли вопросительно взглянул на Пата. Моряки весьма остерегаются непрощенных проводников в иностранных портах.

— Видите вон то разрушенное здание? Это большевики наделали, да! Большевики — ужасные люди, — сказал незнакомец.

Ни Лесли, ни Пат не имели понятия о большевиках, но пострадавшее здание как будто подтверждало те газетные описания, которые они постоянно читали. Все же это не внушило им никакой симпатии к услужливому gidу, и они зашагали прочь, предоставив ему пытаться счастья с другими, более доверчивыми матросами. Музыка из отдаленной улицы привлекла их внимание. Они направились туда и очутились в уютном маленьком кафе.

— Здесь можно будет посидеть спокойно часок-другой, — сказал Пат, когда они расположились в уголке.

Сидевший за одним из столиков молодой человек встал, поднял стакан в сторону Лесли и Пата и произнес несколько слов на местном языке, которого ни тот, ни другой не понимали. Но они догадались, что он хочет выпить за их здоровье. Они тоже подняли стаканы, и молодой человек снова сел, не делая попыток всту-

пить с ними в дальнейшее общение. Это понравилось им и возбудило в них желание как-нибудь ответить на любезность.

Лесли встал и подошел к столику, за которым сидел со своими друзьями молодой человек.

— Говорит кто-нибудь из вас по-английски? — спросил Лесли.

Никто не ответил ему.

Лесли поднял стакан, стараясь показать, что приглашает их выпить с ним. Молодой человек протянул руку и придвинул к столику свободный стул.

— Садитесь, пожалуйста! — произнес он на хорошем английском языке.

Лесли мгновение помедлил, потом сел и сказал:

— Да ведь вы говорите по-английски!

— Конечно. Я плавал на английских судах.

В его произношении был чуть заметный иностранный акцент. Ответив Лесли, он повернулся на стуле и пригласил Пата присоединиться к ним.

— Как вам понравился наш город? — спросил он, когда обоим англичанам подали напитки.

— Город хорош, — ответил Лесли.

В устах матроса это означает, что город чист, что в нем красивые здания, пиво хорошо на вкус, а на улицах много хороших девушек.

Молодой человек перевел этот ответ своим собеседникам, после чего один из них стал что-то пространно доказывать ему.

— Товарищ говорит, что город был бы еще лучше, если бы им управляли хорошие люди, — объяснил молодой человек.

Лесли посмотрел на него в упор. Молодой человек не сказал ничего особенного, но он произнес слово «товарищ», которым, по сведениям Лесли, пользовались только коммунисты. Впервые Лесли присмотрелся теперь к сидевшим за столом. Молодой человек, говоривший по-английски, был одет просто, но изящно. У остальных были приятные лица.

Лесли нагнулся к Пату и шепнул:

— Мы, кажется, попали в самое гнездо большевиков!

— Что же из этого? — отозвался Пат. — У них очень приличный вид, и, я думаю, они — славные ребята.

От молодого человека, очевидно, не укрылось замешательство Лесли, и он быстро заговорил о чем-то со своими спут-

никами. Потом он повернулся к Лесли и сказал:

— Пожалуйста, не беспокойтесь, мы не собираемся превращать вас в большевиков! — И добавил: — Это сделает сама жизнь.

Пат громко рассмеялся.

— Я и так большевик, потому что отдал бы все на свете, чтобы уйти из флота.

Молодой человек перевел слова Пата. Они были встречены молчанием. Вдруг один из сидевших толкнул к Лесли листок бумаги. Тот взял его. Это была прокламация, отпечатанная по-английски. Лесли начал читать вслух:

— «Британские матросы, поверните пушки против ваших угнетателей...»

Лесли выронил листок, словно тот обжег ему пальцы. Он встал и, бесцеремонно схватив за руку Пата, силой потащил его из кафе.

— Пойдем, надо поскорей убираться отсюда! — сказал он.

— Да я не допил! — протестовал Пат.

— Плевать! Выпьем в другом месте, — торопил его Лесли.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Резервисты стекались в казармы со всех концов Англии. Это было похоже на общую мобилизацию.

Лесли, которого после балтийского похода Атлантического флота послали в казармы, с интересом наблюдал за размещением призванных и никак не мог понять, чего ради правительство предприняло такую меру во время всеобщей забастовки.

Он подошел к группе беседовавших моряков и среди них нашел Пата. Они вместе покинули корабль, и казалось, что им суждено так и скитаться вместе с одного судна на другое в течение всей их морской жизни.

— Вот послужили бы во флоте! — заметил Пат, указывая на кучку резервистов. — Одну неделю в году поторчат в полку — и все. Да больше и нельзя, если не хочешь спать.

Матрос, значительно старше Пата и, должно быть, видавший уже всякие виды, с улыбкой положил руку ему на плечо.

— Теперь они пробудут здесь не одну неделю, — сказал он, — потому что эта забастовка — такая штука, какой еще и не бывало. Всеобщая забастовка означает,

что остановится вся работа в промышленности. Она означает еще, что тысячи рабочих очутятся на улице.

— И что же? — спросил Лесли. — Какое отношение это имеет к ценам на яйца?

— А вот какое, — ответил матрос, ничуть не смущаясь ироническим тоном Лесли. — Прибывающие резервисты — главным образом углекопы и моряки торгового флота, то есть люди, способные причинить много бед во время такой забастовки. Адмиралтейство призывает их, прячет по казармам — тем задача и решена. А потом нас пошлют, как это называют, поддерживать деятельность жизненно необходимых отраслей промышленности.

— Как это пошлют? — сердито спросил Лесли. — Никто меня никуда не пошлет.

— Ну нет, послушай, браток! В этом полку тебя пошлют хоть в пекло, если им так захочется, а ты и не пикнешь!

Матрос ушел, а Лесли и Пат долго глядели ему вслед. Пат вздохнул и сказал:

— Пусть бы меня послали так далеко, чтобы потом и телеграммой не могли вытребовать назад!

После обеда Лесли обнаружил, что то, о чем говорил матрос, вовсе не было бредом его фантазии. Людей выстроили по взводу на плацу и повели в арсенал для выдачи им винтовок и амуниции. В большой толпе перед арсеналом Лесли увидел и матроса, который всего лишь в это утро предсказал ему то, что теперь произошло. Тот заметил Лесли и приветливо махнул ему рукой, потом поднял обеими руками ружья и патроны и, тряхнув ими перед Лесли, сказал:

— Вот чем мы будем поддерживать жизненно необходимые отрасли промышленности!

Ночью их посадили на большие авианосцы, чтобы отправить по неизвестному назначению.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Лесли держал ружье подмышкой. Это было против устава, но зато он мог дать отдых плечу. Он не боялся, что дежурный офицер застанет его в такой невоенной позе. Патрули уже прошли, и он отралпоровал по всем правилам.

Подойдя к забору, сквозь который проникал свет уличного фонаря, Лесли взгля-

нул на свои часы. Было без десяти три, и до конца дежурства оставалось еще более часа. Где-то по другую сторону угольной кучи Пат тоже отмеривал взад и вперед двадцать пять шагов.

Эта деревушка шотландских углекспов на реке Клайд и оказалась их «неизвестным назначением», а охрана этого угольного склада была их ролью в поддержании «необходимых отраслей промышленности». Способами, ведомыми только матросам, Пат и Лесли умудрились попасть на одно и то же дежурство, но не для того, чтобы составить друг другу компанию в эти часы, а для того, чтобы быть вместе в свободное время.

Лесли увидел приближавшуюся во мраке фигуру. Он быстро взял ружье на изготовку.

— Стой! — хриплым шопотом приказал он. — Кто идет?

— Забияка из Баттерси, — услышал он голос Пата.

— Ах, ты, сумасшедший чорт! — облегченно выругался Лесли, узнав друга. — Чего тебе здесь надо?

Пат пропустил этот вопрос мимо ушей. Лесли знал, что от Пата всегда можно было ожидать чего угодно.

— Я хотел бы знать, — сказал Пат, — зачем, собственно, мы тут торчим, как чучела?

— Оберегаем доходы угольной компании, — саркастически ответил Лесли и добавил: — Помнишь блондинку, которую мы сегодня видели в деревне? Если она придет и попросит угля, я дам ей. Будь что будет!

Пат расхохотался.

— Тсс! — остановил его Лесли. — Этот болван с двумя нашивками, что дежурит сегодня, спит чутко. Если он поймает тебя здесь, то пропишет месяца на три, не меньше.

Пат быстро обернулся. Приближались двое. Они подошли ближе. Это были мужчина и женщина.

— Здорово, парни! — приветствовал их мужчина, и Лесли заметил, что он держит подмышкой пустой мешок.

— Как живем?

Пара шагнула ближе, ободренная дружелюбным тоном Пата.

Оба матроса уставились на девушку. Это была не та, которая привлекла их внимание в деревне, но они оба нашли, что и эта весьма недурна. Лесли начал беседу,

пустив в ход весь запас известных на кубрике комплиментов, и прибавил несколько оригинальных, как только заметил, что девушка не остается безучастной. Матросов забавлял ее шотландский выговор, и они сказали ей об этом. Девушка таяла. Акцент в ее произношении усилился настолько, что начал казаться Лесли искусственным. Он попытался обнять девушку за талию, но она ловко ускользнула от него и, покачав головой, сказала:

— Не здесь, Джек!

Тут лишь Лесли вспомнил о ее спутнике. Его нигде не было видно. Воспользовавшись тем, что их внимание было поглощено девушкой, он юркнул в сторону и, как догадывался Лесли, был занят теперь наполнением мешка углем. Лесли взглянул на Пата, и когда тот, не меняя выражения лица, чуть заметно прищурил один глаз, Лесли решил молчать.

Он уже понял, что девушка вела игру, очень опасную игру. Мужчина, несомненно, был ее брат, и ее роль в игре состояла в том, чтобы флиртовать с часовыми, пока он запасается углем.

Лесли мысленно улыбнулся тому, что он и Пат оба разгадали этот маневр, и сам удивился смешанному чувству симпатии и восхищения, пробужденному в нем этой девушкой.

— Одну минуту! — сказал Пат и, положив ружье, убежал в сторону лагеря.

— Куда это он? — пробормотала девушка. — Выдать нас хочет?

И Лесли увидел, что она дрожит.

— Пат? Никогда! — успокоил ее Лесли. — Он не из таких.

Но он и сам не понимал, куда девался его приятель.

Вскоре Пат вернулся с целой охапкой жестянок мясных консервов, повидла и сосисины.

— Зови брата сюда, пусть уж он кладет в мешок и это, — сказал он девушке.

Она с изумлением уставилась на Пата, потом заплакала, но, овладев собой, смахнула слезы и начала смеяться. Убежав, она вернулась с братом, который, запинаясь, поблагодарил матросов.

— А теперь убирайтесь отсюда, — сказал Лесли и добавил, обращаясь к Пату: — Уведи их на свою сторону и выпихни через дыру в заборе.

Пат пошел вперед, и Лесли проводил их до конца своего участка, где остановился, следя за их дальнейшим шествием к дыре.

Луч электрического фонаря прорезал мрак, и раздался голос, без сомнения принадлежавший их офицеру.

— Часовой, с кем это ты?

Лесли отодвинулся в тень угольной кучи и услышал, как Пат, шепнув тем двоим: «Бегите!», сейчас же начал кричать: «Стой! Кто идет?» — будто заметил их в первый раз.

Лесли успел подумать, что в темноте эта хитрость, пожалуй, удастся, но тут же, к своему ужасу, увидел, как мужчина бросил мешок, чтобы быстрее улизнуть. Пат попался. Он мог бы объяснить, как очутился в мешке уголь, но объяснить, как очутились там жестянки, было невозможно. Часовой того участка отвечал и за палатку с припасами.

Пронзительная трель свистка прервала размышления Лесли. Помедлив несколько секунд, он выскочил из-за кучи, будто прибежал на сигнал с того конца своего участка. В одной из палаток вспыхнули огоньки, и один за другим матросы охраны выбегали оттуда, на ходу заканчивая свой туалет.

— Дежурного унтер-офицера!

— Сэр! — отозвался тот, шагнув вперед и отдавая честь.

— Арестовать его! — Офицер указал на Пата. — А мешок отнести в мою палатку.

У Лесли перехватило дыхание. Он ждал, что палец укажет и на него. Но этот страх не имел основания. Его роль в этой истории была известна только Пату, а тот никогда бы не проболтался.

Назначив нового часового на место Пата, офицер приказал Лесли вернуться на свой участок. С тяжелыми мыслями о судьбе, ожидавшей Пата, Лесли медленно пошел назад и из-за угла угольной кучи видел, как Пата уводили под конвоем ждать утра и... чего?

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Дорога, спускавшаяся в деревню, была усеяна мелкими камешками, которые Лесли время от времени злобно отшвыривал ногой. Он был растерян и раздражен.

Всего лишь несколько часов назад он видел, как Пата увели под конвоем, чтобы посадить на корабль. Пата ожидал военный суд. О себе Лесли не беспокоился. Он знал, что Пат никогда не выдаст его и, не дрогнув, примет любое наказание. Но

он был такой чудесный товарищ! Он твердо держался своих философских взглядов, по которым все приказы и правила морской службы существовали лишь для того, чтобы их нарушать. Самое главное — это не попадаться! При всем том он отличался строгой честностью в своих отношениях с товарищами.

Из-за окаймлявшей дорогу изгороди показалась фигура, и Лесли сразу узнал ее. Это был тот матрос, который говорил с ним о забастовке на борту авианосца. Его все называли Самом. Но это имя проносили не просто, а с каким-то особым уважением.

Увидя Лесли, он чуть вздрогнул, потом улыбнулся. Улыбались у него не только губы, но и глаза. А глаза были ясные и пронизательные. Они то весело подмигивали, то сверкали гневом, но никогда не отражали смущения.

Этот человек нравился Лесли и внушал ему уважение. Матрос нес пакет, а так как он покинул лагерь окольным путем и вышел на дорогу лишь там, где его уже не могли увидеть из лагеря, Лесли решил не спрашивать про его ношу. Все же, шагая рядом с матросом, он невольно раздумывал о содержимом пакета.

Они вошли в деревню и шмыгнули во двор местной таверны, несмотря на все запрещения всегда открытой с заднего хода и поздно вечером. Деревенский констебль предпочитал не замечать этой двери — он бесплатно ужинал в таверне.

За одним из столиков сидела группа углекопов.

— Доброго утра! — сказал Сам, как будто старым знакомым.

Они тепло ответили на его приветствие, а затем возобновили прерванный разговор.

Низенький человек, на лице которого безошибочно можно было прочесть: «шпик», вошел в бар. Глаза его быстро забегали по находившимся в комнате и остановились на обоих матросах. Глаза блеснули удовлетворением, а их обладатель, потоптавшись на месте, подошел к морякам. Облокотившись об их столик, он сделал попытку завести разговор по старинному, всем морякам хорошо известному рецепту:

— Алло, Джек, я тоже служил во флоте!

Лесли подумал: «Чем провинился флот, что ему отпускают такие сомнительные комплименты?»

— Да, — с мрачной издевкой перебил говорившего Сам, не желавший выслуши-

вать историю, которую и без того знал наизусть. — вы, наверно, поднимались на мачту в боцманском кресле, у которого отвалились ручки, так что вас пришлось отчислить в инвалиды.

Лесли захохотал, а мнимый старый моряк тревожно заерзал.

— А потом вы расскажете нам, что на корабле в двенадцать часов отбивают двенадцать склянок и выдают всем по пинте рома в суповой разливательной ложке, — продолжал Сам и добавил, угрожающе сощутив глаза: — Тебе здесь не будет дарового угощения, брат, и лучше бы ты смотал свои удочки, пока я не забыл, что такое братская любовь!

Подозрительный тип поперхнулся, но потом выпустил такой стремительный поток великолепно подобранных ругательств, что вызвал невольное восхищение Лесли, который подумал, что ему пришлось бы долго тренироваться, прежде чем он мог бы поспорить с подобным мастером.

— Говорил я вам? Говорил? — засрал субъект, обращаясь к углекопам за соседним столом. — Эти матросы — шайка штрейкбрехеров, присланных сюда сорвать забастовку. Вы только посмотрите на них! Такие скареды — жалеют парню стаканчик поднести!

Один из углекопов вскочил из-за стола, в поспешности опрокинув свое пиво.

— Эй, заткнись! — крикнул он, грозно наступая на попрошайку. — Скажи еще раз такое, и я тебе башку сорву. Таких «штрейкбрехеров» я еще в жизни не видел. Эти славные ребята кормят наших детишек. — И он добавил многозначительно: — Да и без угля мы не сидим.

Винючник происшествия оторопел и, помявшись, быстро шагнул к двери.

Сам и Лесли рассмеялись. Углекоп, успокоившись, направился к их столу и принялся извиняться.

— Мне жаль, ребята... — начал он, но Сам знаком остановил его, заверив, что извиняться ему совершенно не в чем.

— Мы теперь пойдем, — сказал он и протянул углекопу руку, которую тот горячо пожал.

Когда матросы уже двинулись к двери, Лесли вспомнил про пакет Сама. Он обернулся, думая сказать товарищу, но увидел, что пакета уже нет на столе. И тут же Лесли заметил его. Пакет стоял на полу между ног одного из сидевших за столом углекопов, того самого, который вскочил

защищать его и Сама. Лесли сдержал себя, повернулся на каблуках и продолжал путь к двери. У выхода Сам на миг приостановился.

— Эй! — тихо окликнул он стол углекопов. — Сегодня мое дежурство.

Слово «мое» он подчеркнул.

Когда они очутились на улице, Лесли негромко спросил:

— Что было в пакете?

В ответ на вопрос Лесли Сам склонил голову на плечо, взглянул на небо и спокойно сказал:

— Просто несколько жестянок с едой. И, взглянув Лесли прямо в глаза, добавил: — Там, откуда это взято, есть еще много.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

Всеобщая забастовка прекратилась. Почему — никто из матросов не знал. Они только почувствовали, что напряженность полувоенного положения несколько ослабла. Но батальон еще полтора месяца оставался в лагерях на берегах реки Клайд.

Вернувшись в казармы, Лесли и Сам впервые увидели объявление, приглашавшее желающих записываться на службу в Китае. Сам уже побывал там. Он выразил желание отправиться туда снова и прикупить деньжонок. Он и Лесли расписались в вербовочной канцелярии.

Два месяца спустя они отплывали из плимутской гавани.

— Этот корабль — дрянная калоша, — сказал своему приятелю Сам, спускаясь с ним по трапу в матросскую столовую. — Хорошо, что мы здесь временно! Капитан, который должен был идти с нами, — продолжал Сам, когда они расположились за столом, — был порядочный малый. Но тот, что достался нам теперь, — такой гусь, что имя его провоняло на весь флот.

Лесли уже слышал кое-что от других матросов о вновь назначенном капитане.

— Мы с «красавчиком» много плавали вместе, — продолжал Сам. — Сегодня он намекнул мне, что новый капитан велел ему разбить команду на две смены. У нас, мол, нехватка людей.

В сообщении Сама не было ничего приятного. Две смены означали вахты по четыре часа с четырехчасовыми промежутками. Уборка шла за счет свободного времени.

— Пожалуй, на этот рейс можно спрятать койки под замок, — сказал Лесли. — они нам едва ли пригодятся.

До Гибралтара дошли без особых приключений. Но в Гибралтаре капитан показал себя.

Погрузка угля началась в шесть утра. Капитан отказался от местной рабочей силы, и целый день уже утомленные люди надсаживались, перетаскивая на спине корзины с углем.

Была середина сентября. Работа отягощалась жарой. Потные тела были облеплены угольной пылью, и грязный пот развездал воспаленную кожу.

Капитан в безусловно белом костюме показался в проходе. Шествуя среди потных и грязных матросов, он казался пышно разодетым султаном среди своих рабов.

— Вот, — сказал один из матросов, с трудом разгибая на миг спину, — то, что называется «морской свиньей». Полнозесной! — добавил он.

Лицо Сама прорезала широкая улыбка. Он ослабил так, что его белые зубы слепительно сверкнули на черном от угля лице.

— Такие люди, — решительно произнес он, указывая на удаляющуюся фигуру капитана, — приближают наш день.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Бум, бум, бум! Лесли услышал эти глухие удары. Они шли снизу, будто кто-то старался проложить себе путь сквозь палубу, на которой он стоял. Вот опять! Посмотрев вниз, он увидел, что крышка бункера чуть приподнимается и снова падает с глухим стуком.

Лесли нагнулся поднять крышку и в ужасе отпрянул. Крышка с лязгом грохнулась на палубу. Показалась голова кочегара. По лицу его ручьем лился пот, глаза выкатились от напряжения. Подтаскивая к люку обмякшее тело товарища, он пытался устоять на куче угля.

— Помогите! — кричал кочегар, голос которого срывался от напряжения.

Лесли нагнулся, просунул руку в дыру и, приложив всю свою силу, вытащил находившегося в обмороке человека на палубу. Потом опустился на колени, чтобы лучше разглядеть кочегара, рот которого стирывался и закрывался, как у вытасцен-

ной из воды рыбы, а грудь судорожно вздымалась.

— Доктора! — сказал кто-то.

Лесли отступил в собравшуюся толпу и увидел, как доктор подошел осмотреть пострадавшего. Эта фигура, склонившаяся над простертым на палубе телом, показалась Лесли смутно знакомой, но волнющие минуты помешало ему припомнить получше. Но вот доктор выпрямился, и Лесли заглянул ему в лицо. Да, тут ошибки не было! Это был он. Тот самый, который делал Лесли прививку. Слова доктора прервали течение его мыслей.

— Окатить его из шланга! — равнодушно распорядился доктор.

И Лесли решил, что доктор ни на иоту не изменился.

Солнце яростно пекло палубу. Смола в пазах растопилась, и невозможно было ходить босиком. Бак превратился в госпиталь. Под конец этого дня четырех кочегаров вытащили из бункера в бессознательном и полусознательном состоянии. Двое находились в очень тяжелом положении, и уже шел слух, что их в ближайшем порту отправят на берег. Лесли желал, чтобы слух подтвердился. Он не забыл своего знакомства с методами этого доктора.

Теперь матросы уже знали, что рассказы о капитане не были преувеличением. Он ничего не сделал, чтобы облегчить людям бремя, которое легло на них из-за некомплекта команды. Напротив, он отдал ряд приказов, сильно урезавших их и без того скудное свободное время.

Плохая накатка тента возбудила его гнев, и теперь каждый день в четыре часа, когда люди могли пропустить по кружке чаю, они накатывали и скатывали тент, и не раз, а по несколько раз. Капитан называл это «упражнениями». А позже вся команда по очереди «упражнялась» в бросании лота, из-за того что один из унтер-офицеров допустил небольшую ошибку при входе в гавань Мальты. Сейчас же за Порт-Саидом от пожара в машинном отделении корабль чуть не взлетел на воздух, так как пламя уже лизало тонкую переборку минного погреба, и теперь команда отбывала внеочередные вахты, откачивая воду, проникшую в минный погреб при борьбе с пламенем.

Вдобавок ко всему, матросы жили на корме в тесных кубриках, где не было спасения от ужасной жары, обжигавшей, как

дыхание печи. Весь день дымовые трубы изрыгали мелкую сажу, оседавшую на жилой палубе и облепывающую все предметы, столы, за которыми ели матросы, их пищу, глаза и одежду. Угольная пыль была везде, а на весь экипаж — одна крошечная баня, четыре на четыре шага. Зато офицеров обслуживал полный комплект стюардов.

Последний случай с кочегарами взбудоражил и офицеров и команду. Первых — потому, что их палуба была занята кочегарами, которым заблагорассудилось потерять сознание в бункере, где температура была почти на точке кипения, а вторых — потому, что, обычно весьма долгое, упорное матросское терпение истощилось.

Сам ощущал это лучше кого-либо и ходил не говоря ничего, но зорко наблюдая за всем происходившим. Как-то он сказал Лесли:

— Когда матросы начинают толковать о том, что хотят написать «Джон Булю», — это первый признак того, что ублюдки с золотыми нашивками называют «недовольством». Но, — добавил он, — не пишут они никогда, потому что стоит им поговорить малость — и они уже предпочитают лучше потерпеть еще, чем писать.

Лесли, к своему удивлению, соглашался с Самом. Всего лишь четыре года назад он покинул учебное судно, сам мечтая о золотых нашивках. Почему-то это желание теперь уже не стояло в центре его жизни. Он не имел ни малейшего представления о том, что могло произвести в нем эту перемену. Теперь он был бы вполне доволен, если бы сделался старшим унтер-офицером и мог рассчитывать на немного большую пенсию.

Когда корабль бросил якорь в Адене, от набережной примчался белый паровой катер и подтянулся к трапу. Люди сбились в кучки и смотрели, как одного из больных кочегаров бережно спускали через борт в катер. Больше никому из них не пришлось увидеть его. Через два дня после Адена пришла радиограмма о смерти кочегара. Это известие покрыло корабль мрачной тенью. Все знали покойного недолго, так как он поступил на корабль перед самым отплытием из Англии, но он быстро снискал любовь команды, оценившей его веселую натуру и готовность участвовать во всякой затее, сулившей нарушить однообразие судовой жизни.

Лесли и Сам сидели на палубе, обсуждая с больным стюардом это известие.

— Вы знаете, что прежде всего делают на корабле, когда кто-нибудь умирает? — спросил стюард.

Ни Лесли, ни Сам не знали и только покачали головами.

— Я вам скажу, — продолжал стюард. — Посылают телеграмму в адмиралтейство, чтобы прекратить выдачу денег семье.

— А у него была жена и двое детишек. Так, кажется? — спросил Сам.

Стюард кивнул.

— Придет она, значит, на почту и там узнает, что ходить ей больше незачем, а?

Стюард подтвердил это.

Сам сердито плюнул в большую муху, жужжавшую вокруг его голых ног.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Гонконг, говорят, в переводе означает «Остров благоуханных потоков». Сомнительно однако, чтобы китайцы помнили подлинный смысл этого названия. Только на горе — «на пике» — можно почувствовать благоухание потоков субтропических растений, но пик отдан под виллы европейцев да еще самых богатых китайцев, которыми нельзя совсем пренебрегать как социальным фактором. В скученных китайских кварталах, образующих оба крыла города у подножья пика, благоухание уступает место миллиону иных запахов. Скажем прямо, что человек с чувствительным носом никогда не ходит в подветренную сторону от китайского рынка.

В городе есть барьер, невидимый, но настолько значительный, что присутствие его чувствуется во всех сферах жизни. Есть китайские кинематографы, которых никогда не посещают европейцы. Рестораны, внутрь которых китаец заглядывает лишь тогда, когда подкатывает к дверям свою рикшу, чтобы увезти упитанного европейца. Трамвайные вагоны и парходики делятся на две части: наверху — только европейцы и богатые китайцы, по десяти центов за билет, внизу — только китайцы, по пяти центов.

Он всегда и везде, этот барьер. На верхушке его сидит человек в форме. Матрос, солдат. Только, терпимый европейцами и ненавидимый китайцами, он не принят в общество ни тех, ни других. В виде особой льготы, ему разрешают ездить на-

верху трамвая и пароходиков по цене в пять центов, но ни один европеец не сядет на одну скамью с ним. Если он пойдет в кино, ему дадут хорошее место за полцены, но, сядь он случайно рядом с английской девушкой, — она сейчас же пересядет подальше вместе со своим кавалером, чтобы уйти от заразы.

Если ему нужна женщина, он отправляется на улицу, носящую витиеватое название «Аллеи весеннего сада», и сквозь деревянную решетку входа осматривает выставленный товар. Он выбирает такую, которая, по его впечатлению, не провела в этом борделе больше десяти лет, и надеется, что это не та самая, которая лет пять назад наградила его приятеля сифилисом. Только раздобыв сносный штатский костюм, он может подняться по склону пика на так называемую Холливудскую террасу, где проститутки — европейки и существуют только для офицеров. Матроса вышвыривают из этих домов, если он осмеливается утверждать, что его деньги не хуже чьих-либо иных.

Иногда команда корабля устраивает танцы в одном из зал на берегу. Но матросы только подпирают стены. Их гости, молодые леди из английской колонии Гонконга, когда их приглашают на танец, качают головой и смотрят в другую сторону. Они всегда приводят с собой достаточно кавалеров из числа своих друзей в колонии.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

В Гонконге они расстались с транспортом и отправились на берег.

Они нашли скромного вида ресторан близ Отеля короля Эдуарда и заняли четырехместный столик.

— Пообедаем хоть раз без подлизки из угольной пыли! — заметил Сам.

Большинство столиков было занято европейцами, там и сям сидело несколько групп богатых китайцев. Лесли заметил однако, что нигде те и другие не сидели вместе.

К тому времени, как им подали заказанные блюда, ресторан наполнился, и все столики оказались занятыми, кроме двух свободных мест за столиком Лесли и Сама. Вскоре их внимание было привлечено двумя молодыми девушками, которые, войдя, остановились в проходе между сто-

ликами, видимо в поисках свободных мест. К ним подошел слуга и низко поклонился. Одна из них резко заговорила с ним, и тот начал искать глазами свободный столик. Его взгляд упал на свободные места за столиком матросов. Он сделал движенье рукой, собираясь указать девушке, где им сесть, но тотчас же, словно заметив свою оплошность, быстро опустил руку. Лесли видел это, но подумал, что слуга изменил свое намерение, опасаясь стеснить матросов. Он встал и с легким поклоном галантно пригласил девушек занять свободные места.

Но тут же Лесли скорее почувствовал, чем увидел, что сделал промах. Старшая из девиц пронизала его взглядом. Помолчав, она презрительно поджала губы и сказала с надменной усмешкой:

— Благодарю вас! Нам ничего не надо от людей, бездельничающих за счет налогоплательщиков. Вам следовало бы сидеть на кухне вместе с кули.

Лесли, ошеломленный, опустился на стул. У него отнялся язык. Но Сам зашевелился и медленно поднялся на ноги. Внешне он был спокоен, но Лесли видел, что он кипит гневом, не сулившим девице ничего хорошего. Губы Сама сжались в тонкую, прямую черту, а глаза сузились и превратились в две злобно горящие точки. Лесли поднял руку, чтобы удержать Сама и просить его не затевать истории. Но тот стряхнул руку Лесли и шагнул из-за столика. Вся спесь девушки исчезла вмиг, как только она встретила взгляд Сама. Она вся съежилась, как от удара бичом, и ее руки судорожно сцепились в ремешок сумочки.

— Шлюха! — резко произнес Сам. — Ты не стоишь того, чтобы сапоги чистить этому парню!

Девушка попятилась в ужасе, словно ожидая удара. Она споткнулась и уронила сумочку. Сам нагнулся и поднял ее. Сумочка распахнулась, и часть ее содержимого рассыпалась по полу. Сам подобрал все и вместе с сумочкой протянул девушке. Его внимание привлекла визитная карточка, лежавшая поверх кучки вещей в его руке. Он помедлил и прочел:

Мисс Гортензия.....

Холливудская терраса, 44.

С отвращением буркнув что-то, он повернулся к Лесли и сказал:

— Ты прав, Лес, не стоит связываться с такой!

Потом он уселся на свое место, словно девушки и не существовало на свете.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

Несколько матросов перегнулось через перила и разглядывало пароход, который в это время пришвартовывали к бочке. В этом пароходе не было ничего особенного. Он ничем не отличался от других китайских каботажных судов, почти каждый день входящих и выходящих из гавани Гонконга. Все они снабжаются вокруг палубной надстройки железной решеткой для защиты от пиратов. Но в этом случае решетка не оказала защиты. Палубная надстройка была захвачена и судно разграблено.

Всеобщему волнению способствовало еще и то, что прибывшая на судно полиция обнаружила сотни ружей и несколько пулеметов, спрятанных в водяных цистернах. К счастью для Гонконга и пароходной компании, пираты не искали контрабандного оружия.

Пиратство уже стало обычным явлением. Рассказы о нападениях так мало отличались один от другого, что их не стоило повторять. Местные торговые суда ходили с китайской командой под начальством офицеров-европейцев. В погоне за барышами они брали на борт несметное множество пассажиров-китайцев по исключительно дешевому тарифу; их загоняли в носовые трюмы и обязывали принести с собой свою пищу и соломенную циновку для постели. Кроме этих париев на пароход брали еще небольшое число европейских и богатых китайских пассажиров, которым отводили верхние каюты. Для их защиты и предназначалась железная решетка.

Стратегия пиратов была весьма проста. Они садлись в Шанхае на пароход, спрятав в одежде револьверы. Как и другие китайцы, они расстилали циновки, садились на них и ждали. Они ждали, чтобы пароход поровнялся со входом в узкую и мелкую бухту, мнях в тридцати от Гонконга, известную под названием Байас-Бэй. Тут они приступали к делу. Один захватывал радиорубку и прерывал сообщение с внешним миром, другой — машинное отделение, а третий — мостик. Одного их присутствия на борту было достаточно,

чтобы запугать китайцев и привести их в состояние полной покорности. Впрочем, по мнению матросов, кули подчинялись потому, что им нечего было терять и их мало трогали потери компании и более богатых пассажиров.

С наступлением ночи пираты, угрожая револьверами, заставляли капитана войти в бухту, где добычу и тех пассажиров из числа богатых китайцев, за которых можно было взять выкуп, перегружали в поджидавшие джонки, а пароход отпускали.

На этот раз в газетах появились резкие статьи по поводу бездеятельности британского флота, который крепко спит, когда подобные безобразия совершаются в одном часе хода от его базы.

Это возымело свое действие. Незадолго перед тем в Китай прибыл адмирал, ставивший патриотизм выше всего на свете. Газеты получили удовлетворение. Матросы, разглядывавшие ограбленный пароход, принадлежали к только что сформированному десантному отряду и ожидали посадки на крейсер, отправлявшийся «по неизвестному назначению».

Лесли и Сам уселись на патронный ящик на спардеке крейсера, принявшего на борт несколько взводов матросов и морской пехоты и теперь медленно направлявшегося ко входу в Байас-Бэй. Огни были потушены, курение запрещено.

Крейсер остановился. Спустили катера, и десант был пересажен в них. Предстояло на веслах подойти к одному из шлюпов, который затем должен был добуksировать их до мелкой воды, с тем чтобы они дальше добирались до берега собственными силами. Неприятности начались, как только катера расстались со шлюпом. Несколько взмахов весел — и сначала первый, а за ним и остальные катера очутились на мели в двухстах ярдах от берега. Никто не знал, что делать. И вдруг блеснул рассвет со всей внезапностью, свойственной этим широтам. Деревня была теперь ясно видна нападавшим, и, конечно, их тоже можно было видеть из деревни.

На берегу показалась фигура и тотчас же бросилась предупреждать жителей о приближавшихся вооруженных силах. От берега отвалил челнок, и сидевшие в нем принялись отчаянно грести в сторону большой джонки, стоявшей в более глубокой воде в северном углу бухты. Из-за шлюпа вылетела моторная лодка и полным ходом пошла наперерез челноку. Тра-та-

та-та!— затрещал пулемет на носу моторной лодки. Справа и слева от челнока запрыгали всплески от пуль. Китайцы побросали весла и подняли руки вверх.

В катерах тем временем восстановился некоторый порядок, и отряд вброд добрался до берега. С примкнутыми штыками солдаты и матросы приблизились к деревне, скрытой за деревьями в нескольких шагах от берега. Деревня была пуста. Не осталось ни души, и о судьбе пленных, захваченных пиратами, некого было расспросить. Атака врасплох не удалась.

— Лес, — сказал Сам, в то время как они обыскивали дома, — и повезло же нам, что пираты не нашли ружей и пулеметов, когда грабили пароход! При такой высадке они, ей-богу, могли бы перещелкать нас, как крыс.

Два одновременных взрыва прервали рассуждения Сама. Работа разрушения началась. Из джонки вырвался красный снопок пламени, и вскоре она вся уже пылала. У челноков, стоявших в глубине бухты, пробили дно. Это были рыбацьи лодки, служившие единственным средством существования для тех жителей деревни, которые не участвовали в пиратских набегах, а таких было не менее девяноста процентов. Но приказ гласил: уничтожить все лодки и не оставить в деревне камня на камне, и лишь в последнюю минуту был дан лицемерный дополнительный приказ ни в коем случае не разрушать храма, и у двери даже поставили для охраны часового.

Сам и Лесли закончили обыск указанных им домов и теперь присели в одном из них покурить. Морская пехота наступала вглубь местности, разрушая по пути деревни. То обстоятельство, что это была китайская территория, никого не смущало. Кто-то утверждал, будто бы англичане действовали с разрешения кантонского правительства.

Сам обратил внимание Лесли на убранство комнаты, в которой они расположились. Здесь было безукоризненно чисто, повсюду изящные столики и табуреты из сандалового дерева. На столиках остались миски с рисом, недоеденными обитателями дома, когда они бежали в ужасе перед вторгнувшимися солдатами. Пол устилали камышковые циновки тонкого плетения, а стены были украшены ярко расписанными веерами. В трех стенах были высокие окна, и лившийся в них солнечный

свет наполнял комнату таким покоем и уютom, что трудно было поверить в возможность происшедшего в двух шагах разрушения таких же домов, взрывааемых пероксилиновыми шашками и затем обливаемых керосином, чтобы превратить их в груды пепла.

Офицер во главе группы матросов вошел в комнату. Бац! Ружейный приклад одним взмахом разбил в щепы столик и сбросил стоявшие на нем вещи на пол. Лесли и Сам отошли к двери и наблюдали за сценой разрушения. Штыки сорвали камышевую занавеску, приклады раскололи и исковеркали скрытые за занавеской нарты. Англия поддерживала престиж владычицы морей.

Лесли впервые охватила мучительная жалость. Он хотел заговорить с Самом, но тот предвосхитил его мысль и предостерегающе поднял руку.

Весь этот день продолжались взрывы и поджоги. Один из офицеров со смехом хвастал, что взорвал разом целый ряд домов.

Под вечер с крейсера высадился сам адмирал под затаенное хихиканье отдохавших на берегу матросов. Адмирал был в бриджах и держал в руках трость. Как заметил один из матросов, он был похож на безработного жокея.

Вскоре морская пехота вернулась на берег. Солдаты прошли около пятнадцати миль вглубь страны, опустошая все на своем пути. Следом за ними вернулись и жители деревни. Они стекались из лесов и тайных закоулков, известных им одним. Собираясь в кучки, они угрюмо наблюдали за уходом незваных гостей. Старые и молодые, женщины и дети. Взглядами, полными безнадежности, провожали они усаживавшихся в катера англичан. Один старик медленно вошел в воду. Он плакал. Обильные слезы катились по его щекам. В тщетных стараниях спасти свое добро, он начал пригоршнями бросать воду на остатки челна.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

Годы пребывания в Китае сильно изменили Лесли. Влияние на него Сама было глубже, чем он это успел осознать. Желание его красоваться на шканцах давно исчезло, зато все крепче становилась нить,

связывавшая его с кубриком, и эту нить он не в силах был бы порвать.

Команда была в люльках за бортом. Шла окраска корабля, задача, которую полагается выполнять в один день. Сам принадлежал к тем своеобразным людям, которые, ненавидя флот с его мелочной дисциплиной, никогда не проявляют своей ненависти увливанием от работы. Напротив, он работал лучше всех на корабле и считался отличным моряком.

— Ну, что же ты теперь думаешь о флоте, Лесли? — спросил он, не замедляя движения кисти.

Лесли окунул свою кисть в ведро и сосредоточенно посмотрел на нее, прежде чем ответить Саму.

— А я стараюсь думать о нем поменьше.

Сам усмехнулся и с изяществом художника сделал заключительный мазок.

— Вот ты и неправ. Тебе надо хорошенько подумать. Иначе никогда не поймешь, что в нем нехорошо.

— Флот сам по себе хорош, — пояснил свою мысль Лесли. — Но люди изгадили его. Взгляни на меня, — продолжал он. Но Сам не мог взглянуть, так как подравнивал в это время ватерлинию. — Вступая во флот, я собирался стать адмиралом. Теперь я охотнее согласился бы мести улицы. Но я не хочу служить там, где надо мной сто начальников и всем непременно надо оплевать меня.

— То-то! — мягко сказал Сам. — Эй, наверху! — позвал он.

Унтер-офицер высунул голову над перилами и с улыбкой посмотрел вниз.

— Поднимите нас! — сказал Сам. — Мы кончили эту полосу.

— Молодцы ребята! — отозвался унтер-офицер, отвязывая стропки, чтобы передвинуть люльку к следующей полосе. — Всех за пояс заткнули.

— Вот видишь, — сказал Сам, когда они устроились на новом месте. — Во флоте два сорта людей, и между ними такая пропасть, что моста никак не перекинешь.

— А вот кое-кто все-таки перемахнул через эту пропасть. На учебном судне у нас был дивизионный офицер из матросов.

— Не дай водить себя за нос, — быстро возразил Сам. — В этом-то вся хитрость и есть. Разве ты не знаешь, сколько народа заслуживает производства и не получает его. В казармах у нас был молодчик, ко-

торый сдал все испытания на инженер-механика. Вот приходит к нему на дом комиссия посмотреть, как он живет. А тут как раз у его жены была стирка. Так он и не получил кортика. Офицерские жены не стирают сами белья!

— Эй, внизу! Вас работать послали или валандаться?

Оба разом подняли голову. На них смотрел вахтенный офицер.

— Ну, за дело! — прикрикнул он. — И не трепайте языком, как две старые бабы!

— Слышал ты рассказ про пьяного матроса? — сказал Сам, когда офицер проследовал дальше. — Однажды является он на борт с мешком за спиной. Вахтенный офицер спрашивает, что у него в мешке. «Молодой морской офицер!» — бойко отвечает пьяный и честь отдает. «Ну-ка, посмотрим!» — удивился офицер. Пьяный взял мешок и вытряхнул на палубу. А оттуда — молодой свиненок, да как заюлит по палубе, да как завизжит! «Вот, сами изволите видеть, сэр, — говорит пьяный. — Он уже и распоряжаться начал!»

Лесли посмеялся анекдоту Сама, отлично понимая, что он имел в виду офицера, обозвавшего их болтунами.

— Да ведь не все же офицеры такие, — без особого убеждения запротестовал Лесли. — Возьми хотя бы Спенсера. Славный парень и никогда никого не обижает.

— Это верно, — согласился Сам. — Но пусть тебя это не обманывает. Когда-нибудь здесь случится такое, что всех разделит на два лагеря. Вот тогда и увидим, кто хороший офицер и на какой он стороне.

Лесли усталился на Сама. Намек на возможность конфликта не ускользнул от его внимания. Он чувствовал, что Сам высказался не до конца, и попытался вызвать его на большую откровенность.

— Не может этого быть, Сам. Твоя злость ослепляет тебя.

— Неужели? — отозвался Сам, и в его голосе не было обиды на недоверие Лесли. — Тогда ответь мне на такой вопрос: были у нас волнения на отдельных кораблях? Да. Бросили за борт боцмана на одном из истребителей? Да. А на другом вся команда сошла на берег и отказалась вернуться? Да.

Сам отвечал за Лесли на свои же вопросы, но и Лесли не мог бы ответить на них иначе.

— В том-то и дело, Сам, что это слу-

чается лишь изредка — то на одном корабле, то на другом, и тогда офицеры просто зовут охрану с другого судна, охрану, состоящую из таких же матросов, как мы с тобой, и охрана производит аресты, хватает своих!

— Совершенно верно, — согласился Сам. — Но близится время, когда уже не откуда будет звать охрану, потому что это случится на всех кораблях разом.

Они поработали лишних полчаса, но покончили с окраской, и как только был наложен последний мазок, помчались мыться и пить чай. Лесли после чая предстояло играть в футбол на площадке верфи, и он убежал готовиться к матчу.

Во время хавтайма он заметил сидевшего на скамье Сама, окруженного кучкой возбужденных матросов. Лесли подошел к ним. Сам, читавший вслух газету, поднял глаза и увидел его. Ничего не сказав, он протянул газету Лесли. Крупные заголовки бросались в глаза. «Бунт на борту корабля № Средиземноморского флота его величества». Лесли начал читать и был поражен. Никто из офицеров не был брошен за борт. Команда не забаррикадировалась на жилой палубе и не отказывалась от исполнения своих обязанностей. Произошло другое: офицеры возмутились против сфицеров. Невероятно, но это было так.

— Вот видишь, — сказал Сам. — Они не могут даже между собой сговориться! И раз уж дошло до такого положения вещей, значит они на всех парах несутся навстречу большому краху.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

В Китае шло брожение. Брожение, отдававшееся в мирном Гонконге зловещими раскатами грома. Ветер, налетавший из Кантона, свирепо свистел над рекой и нес страшные вести о большевизме.

Однажды ночью в гавани загремели цепи, а утром не стало крейсера у его причальной бочки. Он ушел вверх по реке. Впервые за много лет большой военный корабль вышел из гавани, повернувшись кормою к морю. Восстал Кантон.

Смутные, противоречивые слухи плыли вниз по реке. О зверствах красных, о зверствах белых. На гребнях ближайшего прилива приплыла правда. Жуткая, чудовищная правда. Коммуна была разгромлена, и историю ее разгрома поведали тела без го-

лов и головы без тел, скользившие мимо корабля.

Потом пришли свидетельства, еще более возмущавшие душу, — фотографические снимки.

Коммуна была побеждена. Но не Китай. Слухи о новых вспышках приходили все чаще, и Лесли не удивился, когда в один прекрасный вечер, как только стемнело, их корабль тихо вышел из гонконгской гавани, а поутру стал на якоре в порту, уже занятом одним американским истребителем и мощным японским флотом из броненосцев, крейсеров и истребителей.

Прошло два дня. Японский флот ушел, а английских моряков расквартировали на берегу для охраны британского консульства.

Консульство стояло наверху обращенного к городу склона холма. От здания в город вели расходившиеся углом дороги. Между ними лежал пустырь, который в обыкновенное время беспрепятственно можно было пересекать. Но теперь ни на дорогах, ни между ними никого не было видно. Из просветов между низкими камнями балюстрады, окружавшей плоскую кровлю консульства, торчали колоколообразные дула трех пулеметов Льюиса.

Огромная толпа показалась внизу, приблизилась и остановилась в нескольких сотнях шагов от консульства. Пустые перед тем дороги вдруг заполнились людьми. Часть была вооружена ружьями, которыми следовало бы украшать стены археологического музея. Огромное же большинство несло длинные бамбуковые шесты, к которым были прикреплены острые куски стекла. Китайцы пришли выгонять вторгнувшихся к ним чужестранцев, которые могли разговаривать с ними языком автоматических ружей.

Стоявшая перед консульством толпа, казалось, не имела вожака. Но вот какой-то человек выступил вперед и обратился к толпе с речью. Время от времени он поворачивался спиной к своим слушателям и вызывающе распахивал куртку, обнажая грудь перед защитниками здания. Потом толпа двинулась вперед, беспорядочно стреляя из ружей и угрожающе размахивая палками. Одна из пуль задела парапет. И словно в ответ на сигнал, языки пламени метнулись над крышей, и пулеметы завели свою песню смерти.

Подобно волне, разбившейся о скалу, нападающие дрогнули и откатились назад.

Все, кроме одного. Того, который говорил с толпой. Он был ранен. Его лоб и грудь были в крови, но он все еще стоял на ногах. Стоял над телами павших товарищей, принявших на себя бурю первого залпа. Он потряс кулаком в сторону здания и, подняв руки над головой, спотыкаясь, пошел в атаку один. Трррр!.. — затрещал пулемет. Человек остановился, повернулся на месте и рухнул лицом вниз.

Теперь нападавшие попрятались за деревьями и другими прикрытиями и оттуда стреляли по зданию. Пулеметы Льюиса отвечали лишь тогда, когда где-нибудь показывалась голова или несколько голов. Потом пули зачастили. Китайцы усвоили военный урок, полученный ими при первой тщетной атаке против пулеметов.

Вдруг Сам, сидевший за угловым окном, вскочил и указал пальцем на дорогу между зданием и атакующими. То, что он увидел, так взволновало его, что он забыл о жужжавших вокруг пулях. На миг он онемел, но теперь увидели и другие. По дороге к консульству, держась за руки, шли двое маленьких детей и уже вошли в зону огня. Это были английские дети.

Дальнейшее было делом одной секунды. Не дожидаясь приказа о прекращении огня, Сам буквально выбросился из окна на дорогу. Приостановившись на миг, чтобы оценить положение, он побежал зигзагами к детям, равнодушие которых ко всему происходившему кругом являло разительный контраст с паническим оцепенением, охватившим всех внутри здания. В одно мгновение Сам сгреб детишек в охапку. Один из них, испугавшись, поднял рев. Жалобный крик ребенка заставил ссаженных опомниться. Офицер отдал приказ прикрыть Сама от нападавших заведомой пулеметной огневой точкой.

Запыхавшись, Сам влетел в консульство и опустил детей на пол. Широко ухмыляясь, он вытирал со лба крупные капли пота.

— Ну, братцы, в другой раз я не сделал бы этого и за миллион! — задыхаясь, произнес он.

Сам не расставался со своими новыми друзьями, видимо, понимавшими, что он спас им жизнь. Вернувшись на корабль, он взял их с собой на жилую палубу и, посадив на стол, дал каждому большой ломоть хлеба с повидлом и чашку матросского какао. Кто-то сбегал в судовую лавку

и принес две огромные плитки шоколада. Матросы радовались детям, им нравилось забавлять и угощать их. Дети тоже радовались, что попали в такую приятную компанию.

С трапа послышался истерический визг женщины.

— Где мои дети? Где мои дети?

— Не волнуйтесь, миссис, — добродушно обратился к ней матрос. — Они у наших ребят и чувствуют себя превосходно.

Женщина остановилась у подножья трапа и увидела детишек, которые сидели на столе, смеясь и болтая, будто ничего особенного не произошло.

— А, мама, пришла! — сказал карануз и спрятал рожиду в чашку с какао.

— Дети, дети мои! — зарыдала мать, хватая их в объятия и опрокидывая чашку, которая полетела через стол. — И где же вы? Внизу с матросами! О, какой ужас! Скорей пойдем отсюда, вам нельзя быть с такими людьми.

Матросы расступились в изумлении, и она прошла между ними, ни одним словом не поблагодарив их за спасение детей.

Минуту царило молчание. От неожиданности никто не мог сказать ни слова. Сам сорвал с головы шапку и яростно швырнул ею в переборку.

— Вот, — сказал он, не обращая ни к кому в отдельности, — как они смотрят на нас!

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

Домой возвращались не торопясь. На рейс, обычно проделываемый военными кораблями в шесть недель, у них ушло полных три месяца. Теперь они бросили якорь в бомбейском порту. Бомбей — ворота Индии. Чтобы подчеркнуть этот факт, здесь и вправду соорудили ворота, открытые с большой помпой в присутствии августейших особ. Эти ворота были хорошо видны с палубы, равно как и угольные баржи, которые буксир тянул к кораблю.

Вскоре баржи уже были у борта. Стали быстро готовиться к погрузке угля.

Лесли помогал Саму спускать за борт брезенты для защиты окраски. Он спустил свой конец и после этого взглянул на баржу.

— Что за чорт! — выругался он. — Посмотри на эту ораву уродов.

Баржа была нагружена до фальшборта

углем, но еще выше расположился груз, состоявший из множества человеческих тел. Это были грузчики. Их вид и заставил Лесли выругаться. Обнаженные до пояса кули были не просто черны от угольной пыли, нет, это были живые глыбы угля. Они были низкорослы и худы, ребра выступали из-под кожи, и даже сейчас один из них был занят подвизыванием сетки под сточный жолоб, в надежде уловить пищевые отбросы и тем лишить чаек их обеда.

У другого, повидимому, старосты, вместо левой руки болтался короткий обрубок, который подпрыгивал в такт движениям жестикулировавшей правой руки, когда ее обладатель отдавал приказания. Его трескучий пронзительный голос пробудил кули к жизни, и тогда Лесли был потрясен вторично и еще более сильно. Около половины грузчиков составляли женщины, полуобнаженные, с иссохшими грудями, которые механически сосали покрытые таким же угольным слоем младенцы. Повинуясь распоряжению старосты, женщины положили своих бэби на плоские куски угля и стали наполнять угольные корзины.

Охваченный отвращением, Лесли сказал Саму:

— Мне кажется, что эти грязные черти не мылись ни разу в жизни.

Сам помолчал, словно он плохо расслышал Лесли, потом неторопливо переложил табачную жвачку за другую щеку и сказал:

— Если бы я не знал тебя лучше, я бы подумал, что все мои старания пропали зря. — И, несколько повысив голос, он продолжал: — Не болтай того, что первое подвернулось тебе на язык, иначе ты всю жизнь будешь попадать пальцем в небо. Спроси себя, почему это, и тогда поймешь, кто виноват.

Лесли почувствовал свою неправоту и кротко спросил:

— Кто же тут виноват?

— Разве не одно и то же мы видим везде? В Гонконге, в Сингапуре, в Коломбо и теперь здесь? Повсюду, где англичанин — «большой сагиб». Вот там, — он с раздражением указал на берег, — построили замысловатые ворота — парадный ход для принцев и принцесс, лордов и леди. Они никогда не ходят с черного хода, откуда явились эти бедняки. Если то, что ты видел в колониях, ни в чем не убедило тебя, если ты не почувствовал, что близок день последнего расчета с Джоном Булем, тогда не стоит мне и учить тебя разуму!

Сам с силой ударил кулаком по ладони. Перед мысленным взором Лесли прошли годы пребывания в Китае. Он снова увидел «барьер» Гонконга, парк в Нанкине с надписью «китайцам и собакам вход воспрещен», и здесь, в нескольких футах под ним, живую историю нации, истребляемой, гибнущей миллионами. Но он все еще был в замешательстве. Внушенная ему в школе теория о «задаче белого человека», вера в то, что британские колонисты явились благословением для туземцев, — еще владела им, и как бы ясно ни чувствовал он справедливость слов Сама, он не мог стряхнуть с себя привычное сознание своего британского превосходства.

ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ

Колокол в казарме пробил шесть склянок. Лесли томился скукой, сидя на голом табурете среди голых стен караульного помещения.

— Вестовой! — окликнул его по телефону резкий голос.

Лесли тотчас отозвался. Он был рад всему, что могло помочь ему убить время.

Он постучался у двери дежурного по караулю и вошел.

— Посиди здесь, — приказал офицер, — и если кто-нибудь будет спрашивать меня по телефону, скажи, что я пошел обедать.

Оставшись один, Лесли уселся в удобное кресло и закурил папиросу. Прошло уже больше года с тех пор, как он вернулся из Китая. Год жизни в казарме. Офицеры называют казарму местом отдыха от морских походов, но матросы хорошо знают, что казарменная дисциплина гораздо строже судовой. За этот год Лесли успешно прошел артиллерийскую школу.

Но он больше не мечтал о славе, о великих заслугах перед родиной. Он желал лишь стать унтер-офицером и тем избавиться от миллиона дисциплинарных ловушек, казалось, поджидавших матроса первой статьи на каждом шагу.

Прошел час, и дежурный возвратился. Лесли отдал честь и собрался уходить. Срок его дежурства истек, и он был голоден.

— Одну минуту, — сказал офицер, и его голос звучал менее резко, чем тогда, когда он официально распоряжался. — Садись! — указал он на стул.

Лесли помедлил, так как был несколько

удивлен. Но долгая тренировка помогла ему быстро овладеть собой, и он сел.

— Какого ты мнения о службе во флоте? — спросил офицер, предложив Лесли курить и не стесняться.

Лесли выпустил в воздух высокий столбик дыма. Он хотел подумать. У него было свое мнение, но мог ли он высказать его перед этим человеком? Офицер ждал, играя крышкой чернильницы. Эта игрушка, видимо, занимала его гораздо больше, чем беседа с Лесли.

— Не особенно хорошего, — ответил наконец Лесли.

Крышка звякнула, упав на стол. Лесли взял ее и положил на место. Офицер прошелся до конца комнаты, оттягивая пальцем губу.

— Не особенно хорошего! — повторил он. — А по-моему, во флоте живет великолепно.

Лесли раздавил в пепельнице кончик папиросы и искоса поглядел на офицера. Тот был молод. Вероятно, года на два старше Лесли, но по виду гораздо моложе. Ему жилось легче.

— Да, сэр, великолепно живет вам.

— Почему же именно нам? Право, это граничит с клеветой. Мы, офицеры, трудимся.

Лесли хотел рассмеяться, но тактично склонил голову, будто выражая согласие. Ведь он и в комнату эту явился для того, чтобы офицер мог пойти обедать в служебное время. Он взял вторую папиросу и молчал, ожидая продолжения беседы.

— Скажи-ка, в чем, собственно, твое основное недовольство? Верно, и сам не знаешь! Ты из тех парней, что вечно брюзжат.

Лесли ответил на вопрос, замечание же пропустил мимо ушей.

— Мое недовольство — это недовольство любого матроса. Офицеры и мы одинаковые люди — англичане, но почему англичане с нашивками помыкают англичанами без нашивок?

— Ну, мой милый друг, дисциплина все-таки необходима! Господи боже! Если каждый из нас будет делать, что захочет, от флота очень скоро ничего не останется.

Лесли не чувствовал себя «милым другом». Собеседник бросал слова с заоблачной высоты, и никакой задушевности в них не было. Но Лесли был уверен в себе.

Благоговение его перед золотыми нашивками уже отошло в прошлое.

— Видите ли, сэр, — заметил он, — я не вполне согласен с вами в отношении дисциплины. Она нужна, но она была бы куда лучше, если бы вы считали нас за людей.

В эту минуту зазвучал телефон.

— Вот что, мой друг, — сказал офицер, отдав несколько лаконических распоряжений. — Забудь, что я офицер, и скажи мне честно, что жилая палуба думает о нас и о морской службе вообще?

Офицер полусядел на столе, одной ногой опираясь на пол. Выражение его лица было деланно-дружеское.

— Мы ничего не имеем против вас, сэр, — скромно ответил Лесли, — но мы находим неправильным, что флотом управляет штатский, который сидит в огромной канцелярии в Лондоне и не умеет отличить корабельный нос от кормы.

Офицер улыбнулся.

— Ты судишь об этом поверхностно, — высокомерно произнес он, и Лесли не мог не согласиться с этим. Его сведения были поверхностны, и он не мог бы объяснить, почему первым лордом адмиралтейства всегда был штатский.

Он попытался подойти к вопросу с другой стороны.

— Взгляните, какая разница между вашей кают-компанией и нашим жильем, сэр. Вы окружены всяческим комфортом и слугами, которые чистят вам сапоги, и у вас один повар на десять офицеров, а у нас один на сто человек.

Офицер ничего на это не ответил. Он наклонился ближе к Лесли.

— Скажи мне, пожалуйста, матрос первой статьи, э... э...

— Уинтерс, — выручил его Лесли.

— Да, да, Уинтерс, не говорят ли люди о том, что надо бы им собраться вместе и как-нибудь изменить свое положение?

Лесли внезапно онемел. Дрожь пробежала по его спине, как предостерегающий сигнал. Он искал, что сказать, и нашел самые простые слова:

— Нет, сэр, они не делают таких глупостей.

Но офицеру осталось неясным, что Лесли считал «глупостями» — разговоры или их тему.

— Можешь итти, — сказал офицер, обрывая беседу.

Лесли отдал честь и поспешно вышел из кабинета.

У двери столовой он встретил Сама. Потавив его в угол, Лесли рассказал ему о своем времяпрепровождении в обществе дежурного офицера.

— Я хотел бы, чтобы мне представился случай потолковать с этой хитрой гадиной, — сказал Сам, когда Лесли закончил свое повествование. — Но тебе теперь придется быть на-чеку: они теперь знают, что матрос первой статьи Уинтерс не любит морской службы и размышляет о ней.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ

В комитете были представлены все специальности жилой палубы: унтер-офицеры, машинисты, матросы, кочегары.

История этого комитета была известна каждому матросу. Послевоенная борьба, бушевавшая в промышленности, нашла дорогу во флот, и адмиралтейство ответило на нее повышением окладов и учреждением комитета, задачей которого было возбуждать перед адмиралтейством вопросы, интересовавшие жилую палубу.

На первом заседании комитета Лесли, один из выборных от матросов, впервые соприкоснулся с политической игрой. Слово «политика» во флоте под запретом, и флот считается совершенно непричастным к этой игре.

Комитет сам избрал себе председателя и секретаря. Он был проникнут желаниями и стремлениями нижней палубы и находился вне влияния офицеров. Даже тот офицер, который присутствовал на заседании, старательно подчеркивал, что он здесь только консультант. Последнее, впрочем, показалось весьма сомнительным с той самой минуты, как он в первый раз взял слово. Это слово было кратко и било в точку.

— Как офицер-консультант, — извиняющимся тоном начал он, — я должен прочесть вам следующий приказ адмиралтейства по флоту.

Приказ был составлен в высоком стиле и звучал как средневековый судебный приговор. Все же содержание его было вполне ясно. Комитет был связан тесными рамками регламента, сводившего всякое обсуждение до минимума и допускавшего лишь вопросы, которые давно уже стали мишенью насмешек жилой палубы.

«... Не разрешается обсуждать: а) лич-

ные претензии, дела отдельных кораблей и учреждений, б) вопросы дисциплины, в) вопросы о личном составе, г) о столовых, д) политические».

Лесли взглянул на своего соседа за комитетским столом и криво усмехнулся.

— Осталось, — сказал он, — только «что милые дети нашли в буфете».

С разрешения председателя Лесли поставил на обсуждение вопрос о проездных билетах. Он с трудом проворачивал слова. Он сам удивился, как юридический язык устава давил на его сознание.

«Просить лордов адмиралтейства утвердить порядок, согласно которому все низшие чины флота получили бы возможность путем еженедельных взносов обеспечить себе бесплатный железнодорожный проезд на время отправления в отпуск».

С трудом выговорив эту тираду, Лесли сел, гордый тем, что поднял такой живо интересовавший людей вопрос.

Встал офицер, держа в руках пачку бумаг. Очевидно, он собирался прочесть еще один приказ.

— «... Вопросы, отвергнутые адмиралтейством, — сказал он, — могут быть возбуждаемы вновь не ранее, чем по прошествии пяти лет».

Офицер прочел эту выдержку, потом, перебрав бумаги, которые держал в руке, продолжал:

— А по отчетам последнего Бытового комитета я вижу, что этот вопрос рассматривался и был отклонен лордами адмиралтейства.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ

Жизнь Лесли в казармах окончилась с назначением на новый корабль, который уже проходил последние испытания и должен был вступить в состав флота. Такое назначение не считается во флоте большой удачей. Новый корабль нужно постепенно доводить до полной боевой силы, и поэтому чистки и шлифовки на нем без конца. Это требует большой сверхурочной работы, но умные командиры не переутомляют людей. Вместо этого они ту же натягивают вожжи дисциплины и превращают в преступления мелкие провинности, которые на других кораблях оставляют без внимания. За какую-нибудь неделю половина команды успеваеет предстать перед старшим офицером по поводу разных прегрешений.

Старший наказывает каждого пятью или семью внеочередными нарядами, и проблема чистки корабля разрешена.

По прибытии на борт их приветствовал старший офицер, краткая речь которого рассеяла их опасения. Лесли сразу узнал его и тотчас взволнованно сообщил Саму, вступившему на этот корабль для выслуги пенсии, что «старший» настоящий «молодчага». Это был тот самый командир, с которым Лесли ходил на подводной лодке. Человек, благодаря редкому хладнокровию и присутствию духа сумевший поднять на поверхность лодку, застрявшую в песке, в двухстах футах под водой.

За год они расстреляли много снарядов по мишеням и посетили много портов. Вест-Индия, Барбадос, где рестораны и даже пристани кишат проститутками, Сент-Китс, где венчался Нельсон и где на доске объявлений было вывешено: «Негры не допускаются в общество».

По возвращении матросов из отпуска, предоставленного им после вест-индского плавания, возникли слухи о предстоящем визите в Киль. Это был бы первый визит британских военных кораблей со времени войны 1914 года. Слухи оправдались, и в ясный летний день два английских крейсера под грохот салюта пришвартовались к бочкам в кильской гавани.

Переход до Киля прошел оживленно. Близость этой базы германского флота оживила воспоминания о войне и особенно о Ютландском сражении. Все споры, временами приобретающие ожесточенный характер, вертелись вокруг вопроса: «Кто победил в этом морском бою — немцы или англичане?»

— Я был на «Лайоне», — сказал матрос, совершенно седой, хотя ему еще не было и сорока. — И я считаю, что немцы дали нам такой урок артиллерийского дела, что мы его никогда не забудем. Ты артиллерист, — обратился он к Лесли, — ты должен знать, что такое сосредоточение огня.

Лесли подтвердил, что хорошо знаком с этим выражением.

— Вот этому немцы и научили нас, — продолжал матрос. — До Ютландского боя у нас знали только старые приемы времен Нельсона. Каждый корабль бился с одним неприятельским. Единственная разница та, что мы не кидались на абордаж. А тут как начал германский флот косить нас этим самым сосредоточенным огнем, так

сразу после первых же залпов трех наших больших кораблей будто и не бывало.

— А я был на «Герцоге Эдинбургском», — начал другой матрос, чьи приключения на быстроходных катерах были всем хорошо известны, — и как раз накануне Ютланда нам дали в Скапа-Флоу семидневный отпуск. Я хорошо помню, что нам сказал командир на прощание: «Ребята, вы уходите в отпуск. Советую вам, хорошо поцелуйте ваших жен и детей. Если пойдете в бой с адмиралом «Бобби» Арбутнотом, никто из вас живым не вернется». И, честное слово, он был прав. Бобби угодил со своей крейсерской эскадрой прямо под огонь крупных судов, и только два корабля прорвались, а с остальными покончили в два счета.

Споры продолжались и тогда, когда корабли уже прибыли в Киль, и даже обострились, когда на борту начали появляться гости с берега. Киль напоминал об Ютланде. Из этого порта вышел императорский флот, и в этот порт он вернулся искалеченный, везя тысячи мертвецов, многие из которых после прорыва Кильского канала едва успели положить лопату, когда их призвали на военную службу.

Лесли отправился на берег один. Он хотел осмотреть город и, если возможно, узнать, что немцы говорят о знаменитом сражении. Пройдя от пристани несколько шагов, он увидел перед собой маленькую площадку со статуей кайзера посередине. Но Вильгельма трудно было узнать. Кто-то опрокинул на него ведро красной краски и статуя стояла, облепленная с головы до ног засохшей красной массой. Лесли усомнился в том, чтобы кайзер в своем доорнском замке одобрил эту шутку.

Кто-то заговорил возле Лесли на довольно хорошем английском языке. Лесли обернулся и увидел перед собой человека лет сорока в поношенном, но чистом костюме. Незнакомец улыбнулся приятной улыбкой, от которой у глаз его собрались мелкие морщинки. Эти умные глаза светились таким ярким светом, что составляли резкий контраст с бледностью лица и впалостью щек.

— Я нахожу, что это придумано ловко, — сказал он.

Лесли, все еще считавший кайзера единственным виновником войны, заметил, что для кайзера и этого мало.

— Нет, вы не поняли. Я говорю

о красной краске, — пояснил незнакомец.

— Ну, это, верно, дело рук коммунистов, — отозвался Лесли таким тоном, будто все это перестало интересовать его. Но потом спросил: — Вы служили в германском флоте во время войны?

— Да, служил.

— Вот и хорошо, — обрадовался Лесли, видя, что нашел ветерана Ютланда, говорящего по-английски. — У нас на корабле был большой спор, и я хочу задать вам вопрос: кто выиграл Ютландский бой?

— Крупп и Виккерс, — последовал быстрый ответ.

Лесли подумал, что у его собеседника в голове не все ладно или что он не понял вопроса. Искося взглянув на немца, он увидел легкую усмешку на его губах.

— Хотите пойти со мной? — предложил немец. — Я покажу вам наш город.

Последние два слова он произнес с какой-то особой горечью.

Они переправились через реку. Лесли не протестовал, хотя они, повидимому, удалялись от центра города. Спутник Лесли не был похож на профессионального попрошайку, каких он-привык встречать в любом морском порту. Лесли и его новый знакомый высадились возле памятника погибшим подводникам. Немец, не останавливаясь, вел Лесли вперед, пока они не достигли вершины пригорка.

— Вот он, наш город!

Лесли взглянул перед собой. Спускаясь по склону, тянулись ряды и ряды могил, украшенных каждая небольшим крестом. Размещенные с чисто немецкой основательностью строгими рядами, они уходили в котловину, поднимались по противоположному склону и исчезали за вершиной. Такого огромного кладбища Лесли еще не видел. Он долго молчал, подавленный этой картиной. Тихий голос спутника вернул его к действительности.

— Убитые. Жертвы Ютландского боя и Доггер-Банка.

Лесли вздохнул. Здесь, наверное, были тысячи могил.

— А они лежат здесь местами по пяти и по шести в одной могиле, — продолжал немец. — Теперь вам должно быть ясно, кто выиграл Ютландский бой. Ваши корабли шли ко дну и уносили с собой людей. Это было победой Круппа. Наши корабли, лучше бронированные, не шли ко дну так легко, но ваша артиллерия опустошала их вну-

три, и нам оставалось только доставить домой и похоронить наших убитых. Это было победой Виккерса.

Лесли молчал. Ему нечего было сказать: вернее, он считал, что молчание будет более уместным. Он чувствовал, как эта беседа освежила его мозги.

— Когда наши корабли возвратились, — продолжал его проводник. — рабочие доков, отправившиеся на борт для уборки, обезумели от того, что они там увидели. Адмирал запер ворота порта перед тысячами рыдавших жен и матерей, явившихся опознать своих мертвых, и сам кайзер пришел сказать речь морякам.

Лишь после того, как они вернулись в город и заняли места в ресторане, Лесли заговорил. Пока они ехали через реку, он был погружен в глубокое раздумье, и спутник оставил его наедине с его мыслями.

— Я рабочий, — сказал немец, жестом склоняя приглашение Лесли выпить с ним кружку пива. — Я безработный. Посмотрите на мои руки.

Он положил их на стол ладонями вверх. Они были белые и мягкие, но не дряблые. Как и щеки, они были слегка сморщены.

— Эти руки наводили башню на ваши корабли в том бою, а теперь они никому не нужны.

Его слова падали четко и резко, но в них звучала горечь, еще усиливавшая впечатление.

Понизив голос почти до шопота, он сказал:

— Но придет день — и скоро, — когда мы все это изменим. Мы, — повторил он, указывая на Лесли, — вы, и я, и весь рабочий класс.

Лесли вспомнилось маленькое кафе в Мемеле. Там пять лет назад он слышал похожие разговоры. Вспомнил он и о прокламации и о том, как она испугала его. Он вновь увидел, как уронил тогда листок и бросился вон из кафе. Но теперь он не испугался. Он ощущал узы, связывавшие его с этим человеком, говорившим так искренно, и не был возмущен, когда тот просто сказал:

— Я коммунист.

Лесли кивнул, будто уже догадывался об этом, и молча ждал — чего, он и сам не знал. Потом он увидел. Со стола на него глядели буквы листовки. Чувство ожидания покинуло его. Пять лет назад он

отвернула листовку, теперь он стал читать ее, и каждое слово жгло его мозг.

Лесли медленно сложил листовку и сунул ее за подкладку своей шапки. Коммунист ждал.

— Я не знаю, что вы понимаете под «всемирной советской социалистической республикой». Я никогда не слышал хорошего о Советской России. Я даже почти не встречал коммунистов, но я должен сказать, что те, которых я видел, показались мне порядочными людьми, и если они против войны — я с ними.

Все это Лесли объяснил не без досады на свою слабую осведомленность в таких вопросах.

— Коммунисты — лучшая часть рабочего класса, борющаяся за рабочий класс, — сказал немец, и Лесли почувствовал, что его собеседник говорит так не из хвастовства.

Эту ночь Лесли провел в доме своего нового друга, который отказался взять хотя бы один пфенниг за свое гостеприимство. Но Лесли видел, что пфеннигов в этом доме водится не много. Комната была опрятная, даже очень опрятная, но голая, если не считать самодельных книжных полок, занимавших всю боковую стену и заполненных книгами, каких Лесли никогда раньше не видел.

На стенах висели портреты, но только наутро Лесли узнал, чьи они.

Он уже был одет и ждал товарища, который наскоро прибирал комнату, прежде чем проводить его на корабль.

— Это Карл Маркс, — объяснил коммунист, видя, что Лесли разглядывает фотографии. — А вот это Энгельс, а это Ленин, а это Сталин.

В переулке близ пристани они расстались. Коммунист горячо пожал Лесли руку.

— Прощай! — сказал он. — Может быть, мы больше никогда не увидимся, но я прошу тебя не забывать того, что я тебе сказал. Пусть твоя форменная одежда не заставит тебя забыть, что ты рабочий.

Он повернулся и быстро зашагал прочь. Из-за угла показался немецкий полицейский. Лесли остановился в нерешительности. Ему хотелось крикнуть вслед ушедшему слово благодарности, но поспешный уход товарища показался ему предостережением, и он направился к поджидавшей моторной лодке.

На борту он молчал о своей экскурсии

на берег, но, увидев Сама, решил рассказать ему.

— Сам, я коммунист! — довольно смело объявил он.

Сам поглядел на него и улыбнулся.

— Ну, еще не совсем! — поправил он товарища. — Тебе надо пройти еще долгий путь, прежде чем ты сможешь так говорить. А кстати, не кричи об этом на весь корабль!

Лесли принял совет Сама и, бережно вынув из шапки листовку, дал ее своему другу.

— Такие бумажки, — тоном старшего сказал Сам, — следует читать и затем уничтожать. Но сперва проверь, внимательно ли ты прочел.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Ночью маяк слабо мерцает над широким простором гавани Фирта. Днем его решетчатая опора кажется стоящей прямо на воде. Только при отливе видно ее основание — перевернутое дно затонувшего крейсера «Наталь». Эта катастрофа наполнила горем и отчаянием почти все дома деревушки Инвергордон. В память этого несчастья построили дом для престарелых моряков, служащий менее мрачным напоминанием о случившемся, чем этот черный кузов, дважды в день выступающий из воды, как скелет мертвого кита.

Каждый матрос знает историю о том, как однажды во время войны женщины и дети Инвергордона пришли в гости к матросам на рождественскую вечеринку и как никто из них больше не вернулся домой. Взрыв в снарядных погребах потопил корабль, а с ним и весь экипаж и его гостей. Тех, кто успел прыгнуть за борт, вытащили подоспевшие лодки, но и эти немногие погибли от простуды, не выдержав жестокого холода ледяных вод.

Деревня невелика. Она состоит из единственной улицы и нескольких кривых переулков, спускающихся к берегу. Третье в год деревня обычно расшевеливается. В ее водах бросают якорь массивные линейные корабли, линейные крейсера, в которых угадывается быстроходность, и просто крейсера. Гордость британского флота. Их экипажи наводняют деревню.

Было ночное время, и тишина Фирта нарушалась только пыхтением моторных лодок и отдаленным гудком проходящего по-

езда. Мощные боевые машины безмолвствовали, их смутные очертания едва намечались по обе стороны от ярких огней трапов, огненной чертой сбегавших к воде. Флот был объят сном. Он спокойно спал в ту мирную сентябрьскую ночь.

Но в Лондоне готовилась буря, которая должна была пронестись над всей Англией, смутив этот покой и пробудив спавших людей к таким действиям, которые поставили деревушку Инвергордон в центр всеобщего внимания и придали ей небывалую для нее значительность.

Правительство в эту ночь готовило билль, который должен был нанести английскому престижу такой удар, какого он не получал уже много лет.

Была суббота. Повсюду вода — мыльная вода, грязная вода и чистая вода. На столах и табуретах, на окрашенных поверхностях и на палубе. Она плескалась и струилась вокруг босых ног матросов, орудовавших скребками и тряпками и распевавших хором песенку, не предназначенную для салонов. Мыть и тереть, мыть и тереть; завтра воскресенье, капитанский осмотр, а капитан признает только безукоризненно белые столы и табуреты, яркую, без пятнышка краску на стенах и начищенную до блеска посуду.

Сам, сидевший на ящике, яростно заколотил бельевым вальком, размахивая в то же время газетным листом.

— Эй, послушайте! — крикнул он и начал читать:

— «... предполагаемый билль будет предусматривать урезку жалованья как по гражданскому, так и по военному ведомству».

— Это неправда! Нет, ребята, тут что-то не так! Этого не может быть!

Волнение воцарилось на жилой палубе. Вмиг между матросами вспыхнули ожесточенные споры.

— На это они не решатся.

— В девятнадцатом году нам обещали, что нашу заработную плату ни в коем случае не снизят.

— Вшивые черти! Мне придется послать жену и детей в рабочий дом!

— Я верну адмиралтейству мой меч! — воскликнул какой-то шутник, доставая свой складной нож и аккуратно заворачивая его в бумагу.

После обеда люди разошлись — кто в ба-

ню, а кто просто поспать, пока звук рожка не позовет к чаю. У Лесли не было охоты спать, он был выбит из колеи и пошел на бак покурить и поразмыслить. Под носовой башней он нашел Сама, все еще читавшего газету. Лесли подсел к нему, но не нарушал молчания.

— Ну, — сказал Сам, поднимая глаза от газеты, — что же ты думаешь делать по этому псевду?

И он тряхнул газетой.

— Что-то сделать надо, это ясно, — отозвался Лесли. Слова Сама заставили его еще острее почувствовать серьезность положения. — Но подождем до завтра. Пусть эта новость обойдет большие корабли.

Сам наклонился к нему и шепнул:

— Я ожидаю первого шага от тебя.

Лесли в изумлении уставился на него.

— Да, от тебя, — с ударением повторил Сам, тыча в Лесли пальцем. — Ты молод, не женат, тебе нечего терять, а выиграть ты можешь много. Попытайся объединить ребят вокруг этого вопроса, а я буду помогать тебе советами.

И Лесли понял, что Сам прав.

Четыре склянки — десять часов.

Мрак снова окутал корабли. Резкие звуки боцманского рожка заставили кучку матросов разойтись и заняться своими койками. Лесли остановился бросить в жолоб окурки и услышал за собой голоса. Это был старший офицер. Лесли вытянулся перед ним. Этот офицер принес с собой с подводной службы хладнокровие и спокойствие, не покидавшие его, как знал по опыту Лесли, и в минуты величайшей опасности. Офицер, попавший в категорию «молодчаг», любимый и уважаемый всем экипажем.

Остановившись на палубе под укрепленной на рубке сторожевой лампочкой, он слегка улыбнулся и сказал:

— Через несколько минут по радио будут передавать речь первого лорда адмиралтейства. Желающие могут остаться наверху и послушать. Скажи об этом людям, Уинтерс. Пусть приходят на шканцы!

Лесли отдал честь и последовал за офицером.

В жадном желании воспользоваться разрешением, он даже забыл исполнить приказ, прослушал диктора один и лишь затем быстро направился на бак. Ему хотелось бежать, но привычка считаться с сиг-

налом «по койкам» заставила его ограничиться быстрым шагом.

Двадцать пять процентов! Какое оскорбление! Он хотел поскорей добраться до жилой палубы и во все горло закричать там об этом, чтобы матросы проснулись и начали как-то действовать. Бросить это в лицо недоверчивым, смеявшимся над возможностью такой меры. Шепнуть на ухо тем, чьи семьи еле сводили концы с концами и при нынешних ставках.

Пройдя за переборку, он столкнулся с фигурой, которая грубым басом спросила его:

— Что ты тут делаешь? Почему не спишь?

Лесли отступил и сжал кулаки.

Ошибки быть не могло — это был голос наиболее ненавидимого человека на корабле — офицера морской полиции. И надо же было встретить в такую минуту именно его! Лишь крайним напряжением воли Лесли удержался от того, чтобы не кинуться на него. Он вспомнил слова Сама о том, что должен «объединить ребят», и спокойно сказал, несколько отклоняясь от истины:

— За мной посылаю старший офицер.

Нырря между койками, он нашел койку Сама, которую тот повесил между двумя столами.

— Эй, Сам, Сам! — зашептал он, отчаянно тряся койку. — Проснись, чорт тебя подери, проснись!

Сам пошевелился, открыл глаза и выругался. Лесли казалось, что он прождал час, прежде чем Сам хоть немного пришел в себя.

— Все это правда, — сказал Лесли. — Двадцать пять процентов!

Он не выкрикнул это, а произнес шопотом, но слова звучали удивительно гулко. Казалось, они растекались по всей жилой палубе и отскакивали от бортов корабля, повторяя: «Да, это правда!»

Сам сполз с койки и сел рядом с Лесли на скамью.

— Не говори пока никому, — посоветовал он. — Утром, когда ребята будут скрести палубу, я пушу эту новость. Так она подействует лучше. Если плохую весть преподнести ребятам в самый худой час дневной тяготы, они готовы будут чорта из ада выгнать.

— Послушай. Сам. завтра воскресенье, а? Так вот, когда католики отправятся на тот корабль, где служит их священник, они там встретят ребят с других кораблей. Вер-

но? Так попросим одного из наших выяснить настроение на других кораблях.

Сам согласился с этим предложением. и оба умолкли, так как их планы этим были исчерпаны. Некоторое время они безмолвно смотрели друг на друга, как будто подавленные тишиной жилой палубы. Тусклый свет сторожевой лампочки да изредка сонное бормотанье матроса были единственными признаками жизни. Вдруг громкий храп прервал тишину. Лесли заглянул в низко подвешенную койку. Там лежал «Тобби», у которого была жена и трое детей. Чтобы повысить семейный доход, Тобби стирал на других матросов. «Спи, Тобби, спи! Если ты пойдешь с нами, хорошо, а нет, так сотрешь себе пальцы до кости о грязные матросские подштанники». С этой мыслью Лесли ушел, чтобы самому улечься на койку.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Церковный вымпел был развернут с первым ударом колокола. Лесли с нераскрытым молитвенником в руке сидел на задней скамье, посылая в своих мыслях пастора в гораздо более жаркое место, чем то, о котором говорилось в проповеди. Лесли внимательно прислушивался, не пыхнет ли моторная лодка. Этот звук должен был возвестить о прибытии обратно матросов-католиков. Чук, чук, чук, — донеслось через открытую дверь как раз в ту минуту, когда капеллан желал всем приятного времяпрепровождения на том свете. «Завтра он пожелает нам всем очутиться на дне морском, если только этот звук несет то известие, которого я ожидаю!»

Слухи летают над флотом, как мухи над трупом лошади. Они жужжат по всем направлениям. Лесли убедился в этом сходстве, беседуя с прибывшим вестником.

Предполагается митинг, на котором будет говорить старший унтер-офицер.

Люди на «Роднее» уже прекратили работу.

Все собираются вечером на берег, в ресторан. Но все было неясно, кроме того, что впервые моряки военного флота заговорили об устройстве митинга. Сам кратко подытожил эти слухи:

— Будет митинг или нет, не так важно. Вся суть в том, что раз все твердят одно, значит, они отправятся на берег, и нам с тобой надо быть там во-время.

Лесли кивнул в знак согласия и, подождав, пока матрос не исчез на трапе, спокойно спросил:

— Ты хочешь сказать, что мы тоже устроим митинг?

Сам кивнул.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ

Гул от множества матросских голосов, запах пива и тяжелый табачный дым придавали ресторану сходство с низкопробным портовым кабаком. Все столики были заняты, и даже длинная стойка служила столом тем, кто не нашел свободного места. Лесли и Сам пришли сюда с точно разработанным планом. Сам должен был обойти столики, расспросить людей, хотя бы они устроили митинг, а Лесли, выждав результатов этого опроса, должен был затем при первой возможности начать речь. О чем он будет говорить, он знал прекрасно, но как — об этом он не имел ни малейшего представления. Лесли было страшновато. Его пугали не последствия, а то, что это была первая речь в его жизни, и, завидя приближавшегося к нему Сама, он весь задрожал от нервного возбуждения.

Сам усмехнулся и отозвал его в угол.

— Все в порядке, — сказал он. — Ребята ждут, чтобы кто-нибудь начал. Теперь дело за тобой.

Лесли хотел бы верить ему, но люди, которые сидели за столиками, разговаривали и пили пиво, совсем не были похожи на ожидающих чего-то важного. Лесли медлил, стараясь побороть свою нервность, и умоляюще глядел на Сама, ожидая от него помощи.

— Послушайте, товарищи!

Лесли обернулся, пораженный.

На столе стоял матрос и протягивал руки, как бы прося о молчании.

— Мне осталось всего полтора месяца службы. — продолжал оратор, когда ему удалось привлечь внимание слушателей, — но я готов быть в числе тех, кто пойдет впереди, если вы согласны пойти за нами.

Он остановился, исчерпав свои силы. Настала мертвая тишина, а выступавший смущенно мямл в руках шапку. Он потопал ногами, словно желая расшевелить аудиторию, потом вызывающе крикнул:

— Есть у вас охота?

Лесли вдруг ощутил в себе небывалое

спокойствие. Вызов матроса задел в нем струну, которая звала его немедленно ответить. Молчание в комнате подталкивало его к столу. Это не было молчание несогласия или равнодушия, это было молчание людей, ждавших слов о том, что же делать. И Лесли, вскакивая на стол, знал, был уверен, что может это сказать.

— Товарищи, — начал он, — эта урезка жалованья несет нам голод и нищету. Мы должны бороться.

Он приостановился. Надо отделаться от этого порывистого выталкивания из себя фраз. Надо найти понятный им язык.

— Все это проделывается во имя «экономии», но почему надо экономить именно за наш счет, за счет людей, получающих во флоте меньше всех? Если хотят экономить, пусть урежут оклад адмиралам, пусть отменят адмиральские яхты, пусть перестанут выстреливать в море ежедневно тысячи фунтов! Пусть экономят на всем этом, но не на нас!

Хор одобрительных возгласов еще больше укрепил его уверенность в себе. Он смотрел на прикованные к нему напряженные лица, и это вдохновляло его. Они пробудились, в них не было страха, и он знал, что эти люди сбросили с себя гнет дисциплины, давившей на них столько лет.

— Мое предложение — забастовать. Забастовать, подобно горнякам, и показать, что мы не согласны на эту урезку жалованья.

Тысячи разных мыслей мелькали в его мозгу. Хорошо говорить о забастовке, но как к этому приступают? Сам подсказал ему. Лесли почувствовал, что кто-то дергает его за штаны, и услышал шопот:

— Комитет!

— Да, товарищи, нам надо созвать комитет. От каждого корабля должно быть по представителю. Пусть они подойдут сюда и назовут себя. Мы с ними на минуту выйдем в заднее помещение и обсудим, с чего начать.

Он опустил свои протянутые руки и почувствовал, что им вновь овладевает прежняя нервность. Вызывать представителей в такой комитет — это был чрезвычайно ответственный шаг. Каждый поднявший руку в знак согласия быть представителем тем самым соглашался стать мятежником. Соглашался на долгое тюремное заключение, если их усилия потерпят неудачу. Неудача! Это слово заставило его содрогнуться. Неудачи быть не должно! Они

обязаны победить, от этого зависит слишком многое.

Поднятые руки и спокойные голоса: «Запиши меня!» отогнали от Лесли эту мысль. Отклик был более дружным, чем он мог мечтать. Он едва верил своим глазам, когда увидел, сколько добровольцев направлялось к его столу, выражая свою готовность участвовать в комитете.

Они подходили один за другим. «Родней», «Дорсетшир», «Адвенчур», «Нельсон», «Йорк». Гордость английского флота. К их командирам в эту самую минуту летел с берега сигнал о том, что в ресторане происходит какой-то митинг. Сигнал, вписанный в служебном порядке в вахтенный журнал, но встреченный полным недоверием офицеров, как пьяная фантазия неизвестных матросов, которые на следующее утро проснутся с тяжелой головой, но без всяких воспоминаний о каком-либо митинге.

В умывальной за рестораном комитет постановил созвать на следующий день новый митинг, чтобы решить вопрос о забастовке. Это постановление было принято ровно в две минуты. Сказано было достаточно, пришла пора действовать.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ

К молу причаливало множество лодок, высаживавших своих пассажиров.

— Вот утешительное зрелище! — заметил Сам, когда причалила и их лодка.

Сплошной вереницей матросы со всех кораблей покидали мол. Никто не останавливался задавать вопросы. Видимо, все они знали, куда идти. Лесли был более чем удовлетворен. Весть о митинге в самом деле проникла на все корабли в Фирте. Такую возможность нельзя было упускать.

Гремкий голос, долетавший из открытого окна ресторана, показал им, что люди не теряли времени. Митинг уже был в разгаре. Они ускорили шаг, горя желанием узнать, что там происходит. Внутрь не легко было проникнуть. Матросы стояли на столах, теснились вдоль стойки. Буфетчик с величайшим трудом пробирался среди множества ног, разнося пиво. Дверь за Лесли и Самом закрылась, а трое загорелых матросов уперлись в нее спиной, охраняя митинг от непрошеного вмешательства.

Оратор соскочил со стола. На минуту

произошла заминка. Председателя не было, не было также ни списка ораторов ни выработанного порядка дня. Собравшиеся молча ждали, не захочет ли кто-нибудь еще высказаться. Им хотелось слушать. Слушать призывы к таким действиям, которые неделю назад им и не снились.

— Товарищи! Сегодня мы не вернемся к ночи на корабли. Мы останемся на берегу. Будем есть репу в огородах. Пусть офицеры обслуживают корабли, с нас довольно!

Лесли и Сам старались пробиться сквозь густую толпу, которая позволяла этому сумасшедшему болтать. Его надо было остановить. Он был опасен. Кто-то смеялся.

— Слезай, олух! Набрехал — и будет!

Сплошной массой толпа подалась вперед. И стол и оратор полетели на пол. Лесли пробрался сквозь гущу как раз в тот момент, когда сидевший на полу оратор осведомился, что, собственно, случилось. Не обращая на него внимания, Лесли поставил упавший стол и хотел было взобраться на него. Он был уже одной ногой на столе, когда крики у двери остановили его. Дверь распахнулась, и вошел офицер с патрулем из шести моряков. Это был лейтенант с одного из кораблей, вероятно — флагманского, и на боку у него болталась шпага, знак того, что он находится при исполнении служебных обязанностей.

— Болван с двумя нашивками! — ахнула кто-то, и толпа, охваченная мгновенной паникой, расступилась перед офицером. Лесли сошел на пол и ждал. Устоят ли люди перед этой первой атакой? Этот вопрос разрешил офицер.

— Немедленно прекратить эти глупости! — приказал он. Уверенность в могуществе его золотых нашивок сделала его слепым к тому, что толпа зашла слишком далеко, чтобы отступить. — Первого, кто заговорит, я арестую!

Лесли заметил, что настроение в комнате спять изменилось. Офицер бросил вызов. Вызов был принят. Еще несколько мгновений, и от паники не осталось следа. Стекланный кувшин для пива мелькнул в воздухе и, чуть не задев офицера, зазвенел о пол. Этот звон бьющегося стекла был словно сигналом. Лесли увидел, как дюжие руки охватили офицера и вышвырнули в открытую дверь. Сопровождавший его патруль и не подумал вмешаться.

— Заприте дверь! — крикнул Лесли, взбираясь на стол. — А теперь отойдите черным ходом. Мы все выйдем через него на футбольное поле. Здесь не место для нашего митинга.

Его совет был принят и, не торопясь, но исполненные решимости, матросы гуськом вышли в заднюю дверь.

Стоя на перевернутом ведре перед сараем, служившим раздевалкой для местной футбольной команды, первый оратор открыл митинг. Он говорил запинаясь и часто сбивался, но толпа слушала с интересом. Он рассказывал свою историю, но среди присутствовавших было столько людей, переживавших то же самое, и угроза нищеты так нависла над всеми, что его слова не казались жалобами отдельного человека.

— Я женат, четверо детей... Надо бороться. Не перестреляют же всех нас... Завтра мы им покажем.

Когда при напряженном молчании матрос сошел с ведра, Лесли видел, как он смахнул невольно навернувшуюся слезинку.

— Братья, моряки!

Говорил солдат морской пехоты. Лесли чуть не подскочил от радости. Солдаты моря! Люди, жившие между офицерами и матросами для охраны первых.

— Я знаю, что на нас смотрят, как на подстилки под ногами офицеров.

Он усмехнулся.

— Пусть это тебя не смущает, брат! У нас ведь общая беда! — крикнул кто-то в толпе.

Оратор помахал рукой и продолжал:

— Ребята, вы можете положиться на нас. Мы вас поддержим, мы с вами до последнего человека!

Никто не кричал «ура», никто не аплодировал, но Лесли был удовлетворен. Молчание толпы было убедительнее всяких возгласов и рукоплесканий.

Сам потянул Лесли за рукав.

— Действуй, — сказал он. — Твой черед!

Со своей шаткой позиции на ведре Лесли оглянул взором толпу. Он был уверен в себе. Нервность, владевшая им вчера перед его первым выступлением, оставила его. Готовясь начать речь, он вдруг заметил офицера, стоявшего в дальнем углу. Неприятность, пережитая им в ресторане, научила его скромности.

— Мы уже слышали много речей об этой урезке жалованья и о том, как она отразится на каждом из нас в отдельности,

но мы должны помнить, что эта мера направлена не против отдельных лиц, а против всех вместе, и так мы к ней и должны подходить.

Впервые безмолвные слушатели разразились хором одобрительных возгласов. Заметив легкую улыбку на лице Сама, Лесли почувствовал, что взял верный тон. Офицер беспокойно задвигался и подался вперед, видимо, стараясь запомнить лицо говорившего.

— По-моему, нам больше нельзя терять время, и завтра надо начинать.

— Да, да, завтра! Это верно! Завтра! — ответила толпа.

— Когда рожок протрубит на работу, никто не выйдет навстречу драить палубу. Сговорились?

— Сговорились. Завтра, в шесть утра. И первый же негодяй, который возьмется за голик, отправится за борт вместе со своим голиком.

Лесли спрыгнул на землю. Митинг окончился. Когда участники его вернулись в ресторан, их глазам представилось новое зрелище. Воспользовавшись стойкой для напитков, как платформой, офицер, старший лейтенант, в спокойных, продуманных выражениях обращался ко вновь приходившим матросам, опоздавшим к митингу на футбольном поле.

Лесли тихо проскользнул в дверь и остановился в углу, наблюдая за офицером и радуясь тому, что комната все более наполняется участниками митинга.

— Надо остановить его, — вполголоса пробормотал он. — Такое умасливание людей опасно.

— Остановить его, остановить! Я заткну ему глотку! — закричал какой-то матрос с вытупленными глазами, всклокоченной головой и разорванным воротом. У него был вид полоумного. Вскочив на стол, он завопил:

— Столкните его на пол! Выкиньте этого гада в окно!

Лесли вскопал на стол вслед за ним и ударил не глядя. Он и сам не знал, куда пришелся его удар, но почувствовал жгучую боль в костяшках пальцев, столкнувшихся с чем-то твердым. Скорее всего это были зубы. Оравший матрос полетел на тех, кто стоял у стола, и они живо спровали его в угол. Лесли поглядел вниз, усмехнулся и объяснил свои действия.

— Эта скотина уже второй раз пытается сорвать наш митинг. Попривердите его.

Офицер спокойно ждал, положив руки на эфес шпаги.

— Так вот, — продолжал он, когда опять стало тихо. — есть у кого-нибудь вопросы?

Молчание.

— Не стесняйтесь! — подбадривал офицер. — Я пришел помочь вам.

— Тогда помогите нам открыть бар и добыть пива, — пробубнил кто-то.

Толпа загоготала. Офицер повторил свою попытку.

— Послушайте, ребята, будьте разумны. Мы, офицеры, понимаем ваше огорчение и хотим оказать вам всяческую помощь.

Он умолк, спокойно улыбаясь.

Лесли восхищался им. Он не верил в предлагаемую помощь, но хладнокровие этого человека в подобном положении было удивительно. Лесли понял, что должен в такой же спокойной манере пресечь влияние, которое этот офицер начинал приобретать над людьми.

— У нас к вам вопросов нет, — спокойным, уверенным голосом произнес он. — И нам не нужно никакого вмешательства. Мы сами уладим это дело.

Улыбка сошла с лица офицера, и Лесли понял, что попал в цель. Внимание толпы теперь было сосредоточено на нем. Он высоко поднял руки и крикнул:

— Не забудьте, завтра в шесть утра!

Как удар грома прокатился отклик, вырвавшийся из сотен глоток:

— Завтра в шесть утра!

И Лесли увидел быстро пустевший бар.

В тесном кубрике корабля триста человек сошлись на дополнительное собрание. Чтобы их не подслушали шпионы, особенно морская полиция, задраили люки. Нечем было дышать, они обливались потом, но они говорили. Они вырабатывали план забастовки на своем корабле. Решено было забастовать не в шесть, а в восемь. Пусть большие корабли берут на себя лидерство. Там команды больше тысячи человек на каждом, и это ведущие корабли.

Молодой кочегар, сын узьского шахтера, запел песню, и его звонкий голос покрывал смутный гул других голосов. Сначала он пел один, но мало-помалу пение сменило разговоры, и каюта наполнилась звуками «Красного флага».

Через два дня на борт пришла газета, в которой люди с удивлением узнали, что они пели: «Боже, спаси короля».

При первых звуках рожка Лесли соскочил с койки. Он быстро оделся, но в это утро ему было не до чая. Он стремился на бак, пробираясь как можно дальше на самый нос, и оттуда начал всматриваться в утреннюю мглу, стараясь разглядеть, что происходит на ближайшем большом корабле «Роднее».

Один за другим судовые колокола отбили по четыре склянки — шесть часов. Резкий призыв рожка нарушил утреннюю тишину. Лесли перестал дышать и вцепился уками в перила.

Едва отзвучали последние ноты рожка, уносимые легким бризом, вдаль раздалось мощное «ура». Лесли подождал секунду, чтобы убедиться, что уши не обманули его. Вот снова, и на этот раз громче. Громовое «ура» с бака одного из двух самых крупных и грозных линейных кораблей мира. На этот раз оно не замерло в воздухе. Молнией понеслось оно вдоль ряда боевых кораблей, мимо корабля Лесли, и по пути его подхватывали тысячи голосов. Откликавшихся на призыв к забастовке. Оно вылетело из гавани мощной угрозой людям, урезавшим матросский заработок.

Оно долетело до Лондона, где прорвалось в порталы адмиралтейства, смешавшись на улицах с демонстрациями безработных, долетело до красной Москвы, где массы встретили ликованием новый удар по империализму.

— Матрос первой статьи Уинтерс!

Лесли, сидевший за завтраком, поднял глаза и увидел в дверях юнгу, вестового старшего офицера.

— В восемь будет сигнал: «Все наверх». И командир скажет речь.

Лесли взглянул на часы. Было без десяти восемь. За десять минут надо было подготовиться. Все было ясно. В жилой палубе оказался шпион, выдавший решение, принятое на вчерашнем корабельном собрании, и теперь предстоял первый ответный маневр офицеров. Лесли повернулся поблагодарить мальчика, который, несмотря на юные годы, сознавал свою принадлежность к матросской среде. Он уже ушел, так как времени было мало, и Лесли, тоже понимая это, помчался предупредить товарищей, на ходу намечая план действий.

В кочегарской жилой палубе, в матросской жилой палубе и в жилой палубе ми-

неров он выдвигал свое предложение: по рожку все пойдут на корму и будут слушать речь командира; но если тот не кончит в десять минут, все, как один человек, уйдут на бак, и пусть тогда капитан разговаривает с офицерами или с пустым воздухом.

«Согласны», — ответили кочегары, ждавшие своих подменных, чтобы уйти с вахты. «Согласны», — ответили минеры и матросы. Теперь — к морской пехоте. Вдохновленный своим успехом, Лесли все же замедлил шаг перед жилой палубой солдат. Через две минуты рожок прекратит его хлопоты. Может ли он за две минуты побудить морскую пехоту к такому же ответу, как и остальных, или же традиция восторжествует над жадной борьбой?

Лесли уже занес ногу на порог, но ему не пришлось войти в дверь. Оттуда выскочил, видимо, страшно спешивший солдат и сбил его с ног. Сидя на палубе, Лесли в удивлении поднял глаза. Солдат улыбался.

— Прости, товарищ! — сказал он. — Я как раз шел сказать вам, что мы все до последнего с вами.

Лесли вскочил, от радости чуть не забыв сказать солдату, что делать, когда прозвучит рожок. Он схватил руку солдата, с силой потряс ее и убежал сообщить эту новость матросам и кочегарам. Запыхавшись, выкрикивал он ее на всех жилых палубах.

— Солдаты с нами, ребята! Солдаты с нами!

И вот через люк донеслись протяжные звуки рожка: «Все наверх!»

Команда неторопливо шла на корму. Она шла спокойно, чувствуя свою новую силу. Старший офицер молча смотрел надвигающуюся толпу. На палубе появился полицейский офицер «Свиное рыло». Его нескладная долговязая фигура возвышалась над низеньким, коренастым старшим офицером.

— Бегом марш! — по привычке прорычал он.

Старший офицер мягко поднял руку.

— Не надо, — спокойно сказал он. — Они идут и так.

«Свиное рыло» осекся и отошел, пожимая плечами: «Что будет с таким флотом, где начальство защищает бунтовщиков?»

Командир взывал к матросам, прося предоставить дело ему, так как он был их другом все полтора года их совместной

службы и теперь тоже не даст их в обиду.

— Но прошу вас, очень прошу, не делайте глупостей, как команды больших кораблей, и не отказывайтесь работать!

Лесли услышал, как кто-то за ним процедил сквозь зубы:

— Лицемер!

Лесли оглядел лица слушавших командира. Эти лица были жестки и решительны. Часы показали ему, что из десяти минут прошло пять, и он передвинулся к краю толпы, готовясь подать сигнал. Но командир вдруг закончил речь и приказал строиться по дивизионам. С последним звуком рожка офицеры и унтер-офицеры с четкой быстротой заняли свои места, крича:

— Шканцевые — стройся здесь! Формарсовые — там!

Но в ответ на эти приказания люди, все как один, повернулись и зашагали прочь. Они промаршировали мимо офицеров и унтер-офицеров по всей палубе до бака. Лесли оглянулся, когда последний матрос поднимался по трапу на бак. Офицеры стояли, словно приросшие к месту, и смотрели на доски пустой палубы. Офицеры без команды. Повелители без тех, кто исполнял их повеления. Наконец-то кают-компания имела о чем говорить и о чем думать, вместо того чтобы потешаться над смущением провинившегося матроса на допросе у начальства.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

Командир корабля вошел в кают-компанию, и офицеры вытянулись перед ним.

— Мистер Ротерстон! — позвал он.

Лейтенант шагнул вперед.

— Каждому офицеру поручается переговорить с людьми его дивизиона.

Начальники дивизионов подошли ближе.

— Так вот, как один из офицеров, наиболее популярных среди команды, отправляйтесь первым на бак и начните опрос ваших людей, но помните, что вы должны говорить с каждым отдельно!

— В каком духе, сэр?

Командир корабля вынул листок бумаги, карандаш и начал быстро писать.

— Вот в каком! — объяснил он. — Спросите у каждого, как его зовут и какие у него лично заботы. Женат ли он? Есть ли дети? Сколько он посылает жене?

Офицеры слегка поклонились и покину-

ли кают-компанию. Им все было ясно. Но только «Свиное рыло» выразил вслух их мысли:

— Добрая, старая Англия: «Разделяй и властвуй!»

— Да, — отчеканил командир. — И мы будем властвовать!

Он ударил кулаком по столу, но, быстро овладев собой, уже спокойным голосом позвал:

— Кстати, Ротерстон, в вашем дивизионе есть матрос Уинтерс.

Ротерстон остановился в дверях и вопросительно оглянулся.

— Присматривайте за ним! Он смахивает на красного.

Разговор между офицерами стал известен на баке за пять минут до того, как там появился первый офицер с опросным листком: вместе с командиром корабля в кают-компанию побывал его вестовой.

Услышав новость, Лесли машинально повторил слова «Свиного рыла». Сам выругался.

— Видишь, — сказал он, — они уже переходят в наступление.

Он умолк, пристально глядя на Лесли.

— И пусть! — беспечно отозвался тот. — Погляди, Сам, погляди на наших ребят! Ни один из них теперь не захочет отступить.

Быстро направлявшийся к ним офицер привлек внимание Лесли. Это был Ротерстон. Матросы обступили его, но Лесли остался у борта и стоял, облокотясь на перила. Через минуту он вдруг встрепенулся и помчался по трапу вниз, в жилую палубу. Вскоре он вернулся, размахивая большим листом бумаги. Быстро проткнув руку сквозь окружавшую офицера толпу, он ткнул бумагу ему прямо в лицо и, так же проворно убрав руку, скрылся в толпе.

От неожиданности офицер растерялся и прочел бумагу вслух. В один миг толпа отхлынула от него. Он закусил губу, как будто колеблясь, что ему делать дальше, затем, ни слова не сказав, ушел с бака.

Командир корабля вскочил на ноги, а его помощник весь подался вперед в своем кресле, когда лейтенант Ротерстон ворвался в кают-компанию с большим листом в руке. Увидя командира, он принял официальный вид и аккуратно положил бумагу на стол.

Капитан медленно прочел написанное печатными буквами послание.

«Уходите, у нас нет личных жалоб! На-

ши требования мы предъявим в письменном виде!»

Настало молчание. Командир корабля смял бумагу в руке. Его бледное лицо и глаза пылали гневом. Требования! Слыхано ли, чтобы матросы предъявляли требования! Сознание своего бессилия одолело его, и он, шатаясь, вышел из кают-компания. Он не мог вызвать караул и арестовать сочинителя этого ультиматума.

Старший офицер тщательно разгладил бумагу на столе и долго разглядывал ее. Потом выпрямился и посмотрел на офицеров.

— Джентльмены, — он помолчал. — Помоему, на баке работают такие мозги, каких нет у нас в кают-компаниях.

Протянув руку, он позвонил, потом, словно вспомнив о бессельности таких попыток, горько усмехнулся.

— Простите, — смущенно сказал он. — Сегодня нам и обед придется раздобывать самим. Слуг у нас нет.

Для бастующих матросов обед не составлял проблемы. Они получили его вовремя, как привыкли получать всегда. Лесли ходил от одной жилой палубы к другой. Приятно было дышать воздухом свободы. Забастовщики чувствовали себя все более уверенно.

— Как нам обезопасить себя на ночь? — спрашивали в каждой палубе. — От золотых нашивок можно ожидать чего угодно, и мы должны подготовиться.

— Я предлагаю, — сказал матрос, — выставить пожарный караул и ночную охрану при моторных лодках. Это необходимо. Если начальство что-нибудь затеет, ночная охрана вызовет всех наверх. Пусть увидят, что и мы умеем играть в эту игру.

Предложение было принято, и тотчас нашлись желающие взять на себя охрану корабля.

Командирский писарь встал из-за стола и начал пробираться на корму. Лесли смотрел ему в спину, и когда эта спина уже исчезала в двери, внезапно вздрогнул.

— Куда это, Миллс? — свирепо крикнул он.

Писарь остановился, как вкопанный, и бросил через плечо:

— Мне нужно в канцелярию. — Он струсил, но рискнул огрызнуться: — У меня там вещи. Да и не могу я разве итти, куда мне хочется?

— Нет, — заорал Лесли вскакивая, — не можешь!

Писарь поколебался и отошел от двери. Лесли кинулся вперед и подскочил к нему. Говор на палубе смолк, и взоры всех устремились на обоих матросов.

— Я уже утром заметил, — прошипел Лесли сквозь стиснутые зубы, — что кто-то тут на жилой палубе служит и нашим и вашим.

Глаза Миллса не выдержали взгляда Лесли. Он раскрыл рот, собираясь что-то сказать.

— Молчать! — загремел Лесли. — Это ты! Шпионская гадина!

— Нет, нет, не я! — захныкал писарь, отступая перед наседавшим на него Лесли.

Ужас искажил его лицо, он хотел закрыться рукой, но кулак Лесли уже нанес ему сокрушительный удар.

— Не бей, не бей меня! — завизжал он, падая на колени; из разбитого носа у него текла кровь.

Его мольбы не достигали слуха Лесли, который в своей ярости схватил предателя за джемпер и, дернув, поставил на ноги, а потом снова принялся бить по зубам, по глазам, куда попало. Чьи-то руки обхватили Лесли, и он стал отбиваться.

— Пустите меня, я убью мерзавца!

Тут спокойный голос Сама проник в его помраченное гневом сознание.

— Убить — это слишком большая честь для него!

Лесли понемногу успокаивался, но грудь его все еще тяжело вздымалась, и дыхание с шумом вырывалось из нее. На полу перед ним лежал полуживой, потерявший сознание Миллс. Лесли растерянно провел пальцами по волосам. Один из матросов взял кувшин с водой и бесцеремонно выплеснул его в лицо побитому. Потом, наступив ногой на бесчувственное тело, высоко поднял пустой кувшин и крикнул:

— Есть еще желающие наушничать?

Забастовщики рассмеялись, и Лесли почувствовал, что его действия не вызвали осуждения.

Он нагнулся под простертой на полу фигурой и подумал: как странно, ведь он когда-то дружил с этим человеком! Они гуляли вместе на берегу, и Лесли даже бывал у него в доме. А теперь он избил Миллса. Почему? Ясно — они стояли на разных сторонах баррикады. Лесли вспоминал, как Миллс всегда избегал общения с жилой палубой, на берегу одевался в штатское, во всем тянулся за офицерами.

Такому человеку нетрудно стать предателем...

Лесли отошел от него. Довольно тратить время на какого-то доносчика!

— Не забудь, что мы обещали офицеру прислать наши требования в письменном виде. Пора это сделать! — Рука Сама описала в воздухе полукруг. — Надо добиться согласия там.

Под словом «там» он подразумевал другие корабли. Лесли сел на скамью. Нужно было решить трудный вопрос — кто напишет эту бумагу.

— В каюте Ротерстона есть пишущая машинка!

Его восклицание поразило Сама. Какое им дело до ротерстоновской машинки?

— Одну минуту!

Лесли круто повернулся. Писарь стоял у своего рундука и прижимал к разбитому лицу полотенце.

— Эй, офицерский прихвостень, ступай на корму и попроси у Ротерстона одолжить нам пишущую машинку!

Писарь тупо уставился на Лесли, затем бросил полотенце в рундук и пошел.

— Ты думаешь, он это сделает? — спросил Сам. — Может, подлец ушел показывать свои боевые раны.

— Конечно, сделает! Он получил урок на всю жизнь. Не забывай, Сам, что он ябедничает там, но живет с нами, и в случае чего он у меня света не взвидит. Я заставлю его и печатать для нас, потому что он один это умеет.

Миллс возвратился с пишущей машинкой.

— Садись! — Сам указал на табурет.

Лесли почесал голову. Он был в затруднении.

— Сказать тебе правду, Сам, теперь, когда у нас есть машинка, я не знаю, что писать. Я знаю, нам надо сказать, что мы против урезки жалованья, но так просто это не годится. Декларация должна начинаться пышнее!

— Эй, товарищи! — закричал Сам. — Собирайтесь сюда. Нам нужен добрый совет.

Толпа обступила машинку, и Лесли, объяснив задачу, попросил вносить предложения. Вскоре он убедился, что все эти люди так же неопытны в подобных делах, как и он. Кто-то пошутил:

— Если вам нужно любовное письмецо, я здесь первый мастак по этой части.

— Если требуется письмо, чтобы вы-

клянцеть пять шиллингов взаймы, дайте «Джинджеру» написать. Он занял у меня полгода назад, и я до сих пор жду их.

— Бросьте дурить, ребята! — сказал Сам.

— Мы и хотим говорить о деле. Пишите, а мы вам скажем, хорошо ли вышло.

— Пишем! — крикнул Лесли вскакивая, и шутки разом смолкли.

— «Мы, басгующие матросы Атлантического флота»... — Он остановился, потом выхватил листок из машинки. — Нет, надо иначе! Начинать снова!

— Адресуйте королю, — предложил кто-то. — Он служил во флоте.

— «Мы, верноподданные его величества короля, настоятельно просим лордов адмиралтейства пересмотреть новое постановление о существовавшем понижении оплаты людей нижней палубы. Каждому, кто знаком с этим вопросом, должно быть ясно, что нынешняя урезка жалованья внесет несчастье, нищету и падение нравственности в семьи людей нижней палубы. Люди готовы согласиться на урезку, которую они могут признать разумной. Пока это не будет сделано, мы все, как один, отказываемся служить по новым ставкам оплаты».

Лесли взял декларацию и прочел ее вслух собравшимся матросам. Те хором высказали свое одобрение.

— Джимми!

Матрос вышел вперед.

— Пойди с Миллсом и посмотри, чтобы он сделал двенадцать копий. Возьми их все у него, потом поезжай на моторной лодке и доставь по копии на каждый корабль. Оригинал я приколю к доске для объявлений.

— Слушаю, сержант! — ухмыляясь сказал матрос, беря писаря за руку и уводя его с жилой палубы. — Я присмотрю за этим подлецом.

Лесли и Сам пошли в носовую часть на свободную жилую палубу. Их декларация была написана, и они знали, что через несколько часов она достигнет Лондона. Газетные корреспонденты уже были на борту флагманского корабля.

— Ты знаешь, — задумчиво произнес Сам, — наша забастовка не протянется дальше завтрашнего вечера.

Лесли был поражен его словами.

— Почему ты так думаешь?

— Я слышал, как старший офицер сказал: «Этим заражена вся Англия. Они добьются своего».

«Свиное рыло» сидел на койке в своей каюте, болтая ногами. В руке он держал телеграмму. Он перечитал ее в двадцатый раз, потом бросил через плечо на койку. Видно, в адмиралтействе засели сплошь идиоты, если они отзывают его в такое время. Мозги этих людей покрыты пылью, как те архивы, в которых они сидят.

Он сполз с койки и начал укладывать чемоданы. Чорт бы взял этих солдат морской пехоты! Дернуло же их забастовать, когда ему надо собираться в дорогу.

Стук в дверь остановил его, когда он уже готов был бросить пару ботинок поверх белой сорочки. Вошел старший офицер.

— Вам чертовски повезло с этим вызовом!

— Повезло! Я, право, не нахожу в этом особой радости.

— Дорогой мой, вы должны благодарить богов за то, что в адмиралтействе такие дураки. Нам, остающимся здесь, придется за все отвечать. «Нераспорядительность» и так далее! Командир никогда не получит флагмана, а мне дадут отставку с половинной пенсией.

«Свиное рыло» кисло усмехнулся.

— Вот что значит потакать черни!

— О, не думайте, что им это сойдет даром! Когда они устанут от безделья, настанет наш черед.

В открытый иллюминатор долетел отголосок отдаленного «ура». «Свиное рыло» передернул плечами. Старший офицер вздрогнул.

— Это мне как нож в сердце! А впрочем, ну их к чертям! Пойдем выпьем чего-нибудь.

Предстоявший отъезд «Свиного рыла» быстро стал известен на баке, где единодушно был расценен как подарок какого-то доброго гения из адмиралтейства — жилой палубе.

— Когда «Свиное рыло» отправится на берег, прокричим в его честь «ура», — смеясь, предложил один из матросов.

На жилую палубу явился младший боцман и стал вызывать команду одной из моторных лодок.

— Нужно доставить «Свиное рыло» на берег, — неофициально сообщил он.

— Пойдем, ребята, проводим его с честью, — предложил кто-то. — Пусть он наше «ура» в Лондон свезет!

Забастовщики, смеясь, покинули скамьи и направились к главному трапу, в ожидании отбытия «Свиного рыла».

Группа офицеров со «Свинным рылом» в центре медленно шла к трапу. Они прощались со своим старым товарищем. Он поднял глаза, увидел обступившую трап толпу и замедлил шаг. Потом с напускным равнодушием пошел дальше.

Моторная лодка подошла к борту, и квартирмейстер отрапортовал об этом. «Свиное рыло» пожал руки офицерам и сбежал по трапу. На полдороге он на миг приостановился.

— Забыли что-нибудь? — крикнул старший офицер.

— Нет, — ответил «Свиное рыло». — Я только хотел вам сказать, что вы можете отправить мои вещи в Дартмур,¹ потому что я больше не стану служить за эти деньги.

С этим он ушел, и моторная лодка повезла его на берег. «Ура», которое должно было напутствовать его, умерло, не родившись. Матросы переглядывались в изумлении и молча стали расходиться.

На жилой палубе один из матросов вскочил на табурет:

— Ребята, «Свиное рыло» забастовал!

ГЛАВА СОРОКОВАЯ

Они сидели друг против друга за столом, пригнув головы. Низко подвешенные койки образовали крышу над ними, крышу из живых людей. Весь день в обычные часы люди слышали установленные сигналы, но откликнулись они лишь на последний сигнал: «По койкам!»

Они спали, эти люди, отказывавшиеся повиноваться приказам и отвечавшие офицерам таким тоном, в каком до сих пор лишь те разговаривали с ними.

Тихий шопот нарушил тишину жилой палубы.

— Сам, по-моему, день у нас сошел хорошо?

— Да, день сошел хорошо, но все дело в том, как быть завтра.

Он откинулся назад и ждал ответа. Лесли пренебрежительно щелкнул пальцами:

— Меня не тревожит и завтра. Мы просто будем выполнять ту же программу, что и сегодня.

— Вздор болтаешь! — перебил его Сам с таким раздражением, что даже забыл о необходимости понижать голос. — Ты думаешь и они будут делать то же, что и сегодня? Нет, милый мой, не будут! Они должны или сокрушить завтра нашу стачку, или погибнуть. Неужели ты не видишь, что мы с тобой должны сейчас хорошенько раскинуть мозгами?

— Что же ты предложишь, Сам? Тянуть забастовку без конца?

— Нет, это невозможно. Но мы не можем идти на попятный, пока не добьемся какого-нибудь удовлетворения.

— Вот и я так считаю.

— Так и давай обмозгуем это дело! По-моему, ребят необходимо продержат вместе до завтрашнего вечера. Я готов поставить миллион фунтов за то, что к тому времени мы получим из адмиралтейства удовлетворительный ответ.

— А если нет?

— Получим, на этот счет будь спокоен! А если нет, пустим среди ребят мысль сойти всем с кораблей и двинуться маршем на Лондон.

Лесли опешил. Предложение Сама было твердым орешком. Лесли встал из-за стола и прошелся по палубе.

— Садись! — сказал Сам. — Волноваться незачем. До этого не дойдет. Но стоит нам пустить эту историю по флоту, и первый лорд адмиралтейства сейчас же надевает в штаны.

— Ладно, — согласился Лесли. — Сделаем так: когда ребята утром встанут, мы выйдем на палубу и прокричим «ура», потом предложим им вымыть жилую палубу. А в это время я скажу небольшую речь, и мы увидим, как они ее примут.

Сам молчал, и Лесли счел это знаком согласия. Часы его показывали двенадцать. Два часа просидели они здесь, но ни у того, ни у другого не было охоты ложиться.

ГЛАВА СОРОК ПЕРВАЯ

— Хорошо, ребята! Скребите как следует!

Хриплый и скрипучий голос старшего унтер-офицера ворвался в концерт работавших скребков. Унтер-офицер стоял у две-

¹ Большая тюрьма в Девоншире, заключенные которой работают в гранитных каменоломнях. Прим. переводчиков.

ри переборки в характерной для него позе — раздвинув ноги и сплетя жилистые руки под жирным брюхом. Его вторжение на миг задержало работу, которая затем продолжалась как ни в чем не бывало. Старший удивленно заморгал. Он знал, что люди отказались чистить верхнюю палубу, и вот они чистят жилую. Его часть корабля! Он ошибочно усмотрел в этом знак уважения к нему, а теперь, когда он хотел похвалить их, они решили не замечать его. Подтянув выше штаны, он сделал несколько шагов вперед.

— Молодцы, ребята, — говорил он на ходу, ухмыляясь и радостно потирая руки, — вы меня никогда не подводите.

Ужасный визг согнал с его лица улыбку и заставил гневно нахмуриться. Он быстро обернулся.

— Кто это сделал? — гаркнул он.

Никто не ответил ему, и он застыл в недоумении. Матросы прилежно работали. Новый визг, с другой стороны, и унтер-офицер снова повернулся на звук. Он еще сильнее насупил брови, но в этот миг его окликнул голос из-за лафета:

— Эй, старший, если будешь так вертеться, у тебя закружится голова.

Быстрыми шагами унтер-офицер направился к орудию и заглянул за него. Там никого не оказалось. Озадаченный, он вернулся к двери. Сложив руки на дряблой груди, он стал в проходе, выжидая случая проявить свою власть и не замечал насмешливых лиц матросов.

Во флоте есть унтер-офицеры, которых уважают, унтер-офицеры, которых ненавидят, и унтер-офицеры, которых презирают. «Старшего» жилой палубы презирали за скудоумие и непрестанную похвальбу. Он был толст, его отвислый живот, казалось, держался только ремненным поясом. Лицо было круглое и розовое, маленькие свиные глазки косили.

Унтер-офицер скривил рот и прищурил левый глаз, видимо собираясь разразиться гневной речью по адресу непочтительных матросов.

— Эй, — вдруг окликнул его один из работавших. — Что тебе здесь надо?

Унтер-офицер онемел от неожиданности. Матрос выпрямился и стал перед ним, держа в руке скребок. Рослый парень, известный среди команды как отчаянный смельчак. С унтер-офицером они были старые враги, но побеждал всегда первый, так как на его стороне была власть.

— Мы не желаем, чтобы ты здесь торчал, так что лучше проваливай! — Матрос указывал скребком на дверь в переборке.

— Я... — забормотал унтер-офицер, тыча пальцем в собственную грудь. — Я имей в виду...

— Послушай, старший, — перебил его матрос, цедя слова сквозь зубы. — Мы просим тебя вежливо. — В его голосе звучала издевка. — Но если ты не понимаешь простого английского языка, мы тебя швырнем за эту дверь так, что ты полетишь прямо на шканцы.

Старший протестующе поднял руку, а голова его моталась из стороны в сторону, словно он искал, нет ли хоть кого-нибудь, кто бы поддержал его.

— Ну! — заорал матрос и угрожающе шагнул вперед. В три прыжка «старший» очутился у двери, и град насмешек сопровождал его поспешное отступление.

Он мчался до тех пор, пока не завидел старшего офицера. Тогда он перешел на предписанный правилами мерный шаг и, оправив на себе тужурку, подошел к начальнику.

— Сэр, я только что заходил на жилую палубу, а матросы... матросы выкинули меня отсюда.

Он чуть ли не на каждом слове отдавал честь.

Глаза старшего офицера сощурились в щелки.

— Выкинули вас? — переспросил он.

— Да, сэр, ну, не то чтобы выкинули, но они сказали мне, чтобы я уходил, и я видел, что они готовы употребить силу.

— И вы ушли?

— Гм... я... так точно, сэр, — промямлил старший унтер, которому не особенно приятно было признаваться в своем поражении.

— Вы, я вижу, поумнели. Прошу вас больше не ходить туда.

ГЛАВА СОРОК ВТОРАЯ

Моторные лодки и паровые катера, пытаясь, направлялись к флагманскому кораблю. Там должно было состояться совещание командиров кораблей.

Предположение Сама, что слух насчет похода на Лондон вызовет панику, оправдалось. После того как «старший» был выровожен с жилой палубы, Лесли произнес небольшую речь на тему об этом походе.

Ее содержание чуть ли не в ту же минуту стало известно офицерам, а вслед затем и всему флоту.

Моряки с любопытством следили за моторными лодками.

— Что это творится на «Малайе»? — крикнул матрос, стоявший у другого борта.

Все бросились на ту сторону, десятки рук вцепились в перила. Все хотели видеть, что происходит на корабле. У его носа бурлила тонкая струйка воды. Было ясно — там выбирали якорь. Матросы оторопели, на всех лицах был написан один вопрос.

«Малайе» полагалось выйти сегодня в море, но никто в это не верил. Ее команда присоединилась к забастовке, и никак нельзя было предположить, чтобы она стала сниматься с якоря. Матросы ждали. Вот канат натянулся. Еще минута, и якорь отделится от дна. Но тут на корме мелькнула фигура человека, и резкий лязг, несомненно производимый освобожденной цепью, донесся по воде. Это отдалась цепь правого якоря.

Догадки сменяли одна другую. Что произошло на этом корабле? Там начали выбирать один якорь, а потом отдали другой. Кто-то высказал предположение, что забастовщики захватили корабль и сами ведут его в море. Но этого не могло быть. Корабль не может выйти в море один. Их было здесь десять, и только безумцы могли бы отважиться на такое дело.

Первый якорь был уже закреплен в клюзе, но второй крепко держался в грунте. Матросы посмотрели еще немного, а потом разразились громким «ура». Происходившее все еще не было понятно им, но в одном не могло быть сомнения: «Малайя» оставалась в гавани, а это было самое главное. Замешательство уступило место радости, и люди не выказали никакого раздражения, когда на бак явился офицер и предложил им собраться на шканцы, так как на борт должен был прибыть адмирал, чтобы произнести речь.

Адмирал поднялся на мостик и со снисходительной улыбкой обвел взглядом лица ожидавших матросов.

— Садитесь! — приказал он.

Матросы сели. Быть может, их послушание привело его к выводу, что они не смеют ослушаться контр-адмирала. Прямо он этого не сказал, но его речь производила такое впечатление. Он самым вызывающим образом обзывал матросов эгол-

тельными хулиганами и круглыми дураками. Никто не перебивал его. Подняв руку, он указал на корабль, которым командовал сам:

— Смотрите, мои люди уже подчинились!

Несколько сот голов повернулись все разом. На «Дорсетшире» матросы стояли стройными рядами на шканцах.

Адмирал усмехнулся и предложил командиру корабля продолжить беседу, так как ему надо посетить следующий корабль.

Под громкое блеяние рожков он покинул корабль, и моторная лодка повезла его по водам гавани.

Лесли поднял руку, и офицеры вторично увидели, как команда у них из-под носа уходит на бак.

Адмиральский катер подошел к «Адвенчуру». Матросы увидели, как другая лодка отвалила от трапа, уступая место катеру. Тогда по сигналу они прокричали свое обычное «ура». Белая шапка пены поднялась за кормой катера. Адмирал дал знак боцману, и катер, внезапно повернув, взял курс на флагманский корабль. Прогревшее «ура» испортило адмиральский маневр.

— Смекаешь, Сам? — улыбаясь, спросил Лесли. — Он хотел подняться на борт «Адвенчура», показать там, как мы стоим длинными шеренгами, и сказать, что мы подчинились. Хитрая бестия, но мы оплатили ему!

Лесли оглядел команду. Тут были все: матросы, коचेгары, солдаты морской пехоты. Кто-то принес граммофон, и все уселись слушать. Над их головами кружил самолет, и его гудение заглушало слабые звуки граммофона. Многие подняли головы и следили за самолетом, то взмывавшим ввысь, то как бы нырявшим над каждым кораблем.

— Вы читали в газетах, ребята, как чилийские летчики разбомбили свой восстановленный флот.

Говоривший не отрывал глаз от стальной птицы, описавшей круг и вновь приближавшейся к кораблям.

Громкий взрыв хохота отвлек их внимание от самолета. Хохот был вызван матросом, прогнавшим с палубы старшего унтер-офицера. Он поплевал на руки и, обтерев их о свой комбинезон, заметил с суровой усмешкой:

— Пусть-ка сунутся к нам! — Усмешка сошла с его лица, губы сжались в узкую полоску, глаза сверкнули. — Пусть помнят,

что мы можем дать из этих орудий десять залпов за короля Георга и, если на то пойдет, сколько угодно за нас самих!

Лесли многозначительно поглядел на Сама. Эти несколько слов ясно показывали ту тонкую черту, которая отделяла их от настоящего мятежа.

На палубу вбежал матрос. Он был возбужден. В один миг граммофон был покинут, и все обступили вновь прибывшего, чтобы узнать новости, которые он, видимо, жаждал им сообщить.

— Ребята! — задыхаясь, выкрикнул он. — Вы знаете, что было на «Малайе»?

Он остановился, чтобы отдышаться. Толпа ждала, и никто не задавал вопросов, зная, что матрос сам все расскажет.

— Так вот, команда отказалась выбирать якорь, и офицерам пришлось пойти на бак и самим проделать это.

— Эка штука! — вставил чей-то голос. — Ведь они, бедные, наверное испачкали себе руки!

— Да, — быстро продолжал гость. — Но когда они вытянули якорь из грунта, один из наших ребят взял кузнечный молот и выбил стопор другого якоря.

Лесли захохотал во все горло. Другие присоединились к нему и долго не унимались. Матрос стоял и ждал, желая продолжать рассказ. Но все было ясно и без того.

Понемногу смех замер.

— Что же было потом? — спросил Лесли.

— Офицеры пошли вытаскивать второй якорь.

— Я всегда говорил, что они болваны, — лаконически вставил один из слушателей.

— Тогда один из наших сказал им, что, если они это сделают, ребята отдадут тот, который господа офицеры только что подняли. Ну, они и махнули на это рукой.

Лесли оглядел длинный ряд кораблей. Это была удивительная картина. Солнце сверкало на полированных дулах орудий. Орудий — без обслуживающей команды. За длинными стройными линиями корпусов угадывалась мощь их машин. Машин, неподвижных и покинутых кочегарами, стоявшими плечо к плечу с матросами на баке. Это был флот без матросов. Боевые корабли без бойцов.

Шесть линейных кораблей и линейных крейсеров и четыре крейсера. Пятнадцать тысяч человек, глухих к зову рожков и

увещаниям офицеров и превративших эти могучие гиганты в бесполезные скорлупки. Неведомо для них адмирал благодарил всех святых за то, что эти люди не понимали всей огромности силы, которой они овладели. Неведомо для адмирала моряки Средиземноморского флота, стоявшего на якоре в разных портах побережья, ждали случая сойтись вместе и проявить свою солидарность с Атлантическим флотом.

ГЛАВА СОРОК ТРЕТЬЯ

Второй день забастовки приближался к концу.

Группа офицеров с командиром корабля во главе быстро прошла по палубе на бак. Забастовщики сгрудились плотнее, словно для отражения атаки. Капитан вскочил на шпиль, офицеры окружили его пьедестал.

— Матросы, прошу вас выслушать меня!

В его голосе была нотка мольбы, звучащая странно и унижительно для человека, державшего в своих руках такую власть. Он хотел выждать, чтобы толпа хоть немного утихла, но потом дрожащими руками развернул какую-то бумагу и начал читать, в надежде, что ее содержание заставит умолкнуть матросов, не считавшихся с его просьбами.

— «...возвращаются в порты своей постоянной стоянки».

Разговоры среди матросов замерли, и головы повернулись в сторону капитана.

— «...адмиралтейство постановило пересмотреть вопрос об урезке жалованья».

Толпа хлынула к шпилью. Не поняв ее движения, офицеры плотнее обступили шпиль. Это был момент напряженного ожидания.

— Продолжайте! Это нам интересно! — крикнул кто-то в толпе.

Командир удивленно вскинул глаза. Напряжение разрядилось.

— «...никаких мер принято не будет».

Пристальное внимание на лицах матросов сменилось улыбками, которые перешли в широкую усмешку, когда капитан закончил словами:

— «Всякий дальнейший отказ от выполнения своих обязанностей повлечет за собой дисциплинарные взыскания».

Командир опустил руку и оглядел круг матросских лиц. На его собственном лице, мрачном и осунувшемся, написана была

неуверенность в том впечатлении, которое произвели его слова. К толпе почти вплотную подошел старший офицер, умоляюще протянув руки.

— Чего вы еще хотите? — жалобно произнес он. — Пожалуйста, перестаньте упрямяться. Как только вы перейдете к повиновению, мы поднимем якорь и возвратимся в Девонпорт.

— Значит, в Девонпорт, а не в какую-нибудь чортову трущобу, где вам легче будет расправиться с нами? — спросил один из матросов.

Командир умоляюще взглянул на него.

— Даю вам слово. Назад в Девонпорт, и приказ адмиралтейства будет выполнен до последней буквы.

Настало молчание. Люди переглядывались с легким сомнением. Лесли ждал, колеблясь и видя, как офицеры уговаривают отдельных матросов подчиниться. Он чувствовал, что это конец забастовки. Приказ адмиралтейства содержал то, ради чего выступили эти люди. Большого они и не требовали. Командир корабля прыгнул со шпилья и подошел к нему.

— Уинтерс, попроси их подчиниться!

В его глазах было просительное выражение, которое мало тронуло Лесли. К нему обращались, как к вожаку забастовки. Он был известен. Засунув руки в карманы, Лесли отвернулся. Пусть просят людей сами, он не желает быть к этому причастным. Командир корабля закусил губу и, повернувшись, покинул бак. Его офицеры последовали за ним. Матросы начали убирать канат, а в носовую часть прошел кузнец.

Через трое суток корабль прибыл в Девонпорт. Корабли Атлантического флота вернулись в свои постоянные порты, не окончив маневров.

ГЛАВА СОРОК ЧЕТВЕРТАЯ

— Что же вы делаете, ребята? — Служанка бара, улыбаясь, подала через стойку две кружки пива. — Привели флот обратно в порт! Стыдно вам!

Улыбка ее показывала, что она говорит шутя. Флот был ее лучшим клиентом, и с его возвращением дела пивной должны были оживиться.

Сам бросил на стойку монету.

— Мы вернулись вот за этим. — Он указал на монету. — Если бы мы не сде-

лали того, что сделали, ваша пивная пустовала бы каждый день.

— Я знаю, Сам, — отозвалась служанка. Улыбка сошла с ее лица, она нахмурилась и, понизив голос, добавила: — Вы молодцы, что постояли за себя!

Час был ранний. Пивная лишь недавно открыла свои двери, и, если не считать нескольких занятых матросами столиков, в баре было пусто. Лесли и Сам заглянули сюда как в старое место встреч, хозяева которого знали их и были расположены к ним.

Вошло несколько рабочих, и разговор перешел на более безобидную тему — футбол. Открылась дверь, и хорошо одетый штатский, быстро оглядев находившихся в баре, подошел к стойке. Лесли заметил, что служанка приняла несколько чопорный вид и, передавая напиток, забыла пошутить с гостем. Пройдя вдоль стойки, она на миг взглянула на Лесли и повернулась к нему спиной. Он в это время подносил кружку ко рту, но остановил руку, когда взгляд его упал на большое зеркало за стойкой. В широком стекле он ясно видел голову и плечи девушки. Она приложила палец к губам и еле заметно покачивала головой. Поставив кружку на стойку, Лесли внимательно всмотрелся во вновь прибывшего. Лицо, платье — нет, ошибки быть не могло: заправский сыщик!

Опорожнив стакан, тот вскоре покинул бар. Служанка громко рассмеялась.

— Он знает, что я разгадала его, и знает, что я терпеть не могу полицейских, особенно сыщиков.

— Они теперь кишат везде. В каждой пивной они увиваются вокруг матросов, как мухи вокруг банки с вареньем.

Лесли повернулся. Это говорил рабочий, человек кроткого вида, в очках. Голос его звучал уверенно. Глядя на Лесли поверх очков, он продолжал:

— Взвешивайте свои слова, молодой человек!

Лесли улыбнулся и, подойдя к столику, подсел к рабочему.

— Теперь все позади, — сказал он. — После того обещания, которое нам дали, нас никто не тронет.

Рабочий недоверчиво покачал головой и скептически улыбнулся одними уголками рта. Он положил свою руку на руку Лесли.

— Не верь им, сынок! Это ложь. Вас еще посадят за ваши дела.

Распахнулась дверь, и в бар просунулась голова мальчишки-газетчика.

— Вечерняя газета, вечерняя газета!

Лесли разостлал газету на столе и вдруг откинулся от поразившей его неожиданности. Забыв о присутствии девушки, он нецензурно выругался. С газетного листа на него смотрели крупные буквы заголовка:

«ДОМА В ОПАЛЕ»

«Матросские жены гонят мужей от порога за нарушение присяги»

Лесли был так озадачен, что даже рот раскрыл и обвел присутствующих недоумевающим взглядом.

— Да ведь это сплошные враки! — зарычал он. Он продолжал озиаться, будто ища объяснения, и наконец отшвырнул газету. — Сжечь ее надо!

— Это не поможет, мой милый!

Лесли посмотрел в лицо рабочему, кроткие глаза которого укоризненно глядели на него.

— Вам, матросам, надо бы знать, что флот почти что владеет этим городом. Порт дает занятия половине здешнего населения, да и от вас, ребят, доход достигает миллионов.

Рабочий не повышал голоса, но матросы слушали с интересом, так как он говорил о вещах, происходивших у них на глазах, но о которых им никогда не приходилось задумываться.

— Из канцелярии вашего адмирала вышел приказ держать сегодня под наблюдением все пивные.

Высокий голос служанки прервал их разговор.

— Ты опять принялся пичкать ребят своими социалистическими бреднями? — Она засмеялась. — Не обижайтесь на старого Джима, он вечно толкует про социализм или какой-нибудь другой «изм».

Джим снял очки, тщательно уложил их в футляр и сунул во внутренний карман пиджака. Когда он вынул оттуда руку, в ней была аккуратно сложенная газета. Лесли наблюдал за тем, как он медленно разворачивал ее и расстилал на столе. Она была в половину формата тех газет, которые привык читать Лесли, но Джим обращался с ней бережно, как с каким-то редким изданием.

Это был «Дейли Уоркер». Лесли увидел серп и молот, изображенные между этими двумя словами, потом его взгляд,

опустившись ниже, остановился на первом заголовке:

«Солдаты поддерживают матросов. Борьба против урезки жалованья»

Лесли придвинул к себе газету и прочел статью до конца. Разительный контраст бросался в глаза. Вот была газета, излагавшая дело матросов и не лгавшая о нем. Но почему они никогда не встречали этой газеты? Почему им приходилось покупать лживые листки, вроде того, который он выбросил две минуты назад? Лесли взглянул на Джима, словно ожидая от него ответа на свой невысказанный вопрос.

Джим взял газету, сложил ее и снова спрятал в карман.

— Одну минуту, — попросил Лесли, протягивая руку. — Дай мне газету. Я хочу взять ее на борт.

Джим мягко отвел его руку и покачал головой.

— Не могу. Если хочешь, купи, но я не раздаю эту газету сам. Мы не делаем таких вещей.

Лесли не знал, кого тот подразумевал под этим «мы», но видел, что Джим не имеет намерения расстаться с газетой.

Вскоре Джим ушел, и Лесли не пытался остановить его. Случайно взглянув на покинутый им стул, Лесли увидел, что там что-то лежит. Он присмотрелся — это был «Дейли Уоркер».

Джим не давал ему газеты, Лесли сам нашел ее.

ГЛАВА СОРОК ПЯТАЯ

Лесли плелся вперед; ступавшие по гравии подошвы горели, и от них по ногам поднималась вспышками нестерпимая боль. Тяжесть, бившая его по плечу, возрастала с каждой минутой. Смутно расслышав команду, он повернулся, стараясь держать шаг с тридцатью пятью парами ног, уже целый час мерившими вместе с ним взад и вперед учебный плац. Пот катился по лицу, попадал в глаза, и его жгучая соленость усиливала тысячу мучений, терзавших тело. Однообразный хруст гравия впивался в воспаленный мозг, как сверло в зуб.

Чорт, неужели этот садист никогда не скамандует «стой!»? Кто-то простонал, и Лесли услышал глухой стук. Чьи-то ноги отказались идти дальше, тело ружуло

ничком, и винтовка задрезжала на гравии.

— Стой!

Они остановились без четкого шелканья каблуков и шатались на ногах, в ожидании следующей команды.

— К ноге!

Тридцать пять винтовок упали на землю, тридцать шестая упала раньше без команды, а несший ее лежал в обмороке.

Лесли перевел дух и взглянул на Сама. Лицо Сама побагровело и было покрыто пылью. Сам сплюнул, и слюна его была окрашена кровью.

— Вставай! — приказал унтер-офицер, тыча ногой в простертое на земле тело.

Упавший матрос поднял голову и усиленно встал на ноги. Взяв ружье, он поплелся в ряды, и винтовка, волочась за ним, стучала прикладом по камешкам.

— Бегом марш!

Один из матросов повернулся и поднял ружье. Лесли увидел блеснувший металл и, выбросив вперед руку, остановил удар, который иначе швырнул бы унтер-офицера на колени.

— Не смей! — прошептал он. — Они ведь только этого и ждут. — И он продолжал, подбадривая товарища: — Держись, парень! До смерти нас не загоняют.

Лесли проходил последний урок военного дела. Это была война между золотым галуном и синим воротником, и Лесли знал свое место среди синих воротников.

Противник проявил тактическое искусство. Со дня прибытия кораблей в Девопорт протекло три недели, и жизнь уже вошла в обычную колею. Матросы снова стали послушными слугами офицеров. Кают-компания ничего не забыла. Под ширмой признания победы жилой палубы она тайно готовила списки наиболее активных матросов. Ее союзники в казармах теперь осуществляли месть, месть, которую необходимо было замаскировать. Министр ведь дал слово...

И теперь эта жгучая боль в ногах и плечах вселяла в кровь Лесли непримиримую ненависть, которая в дальнейшем дала ему новую силу в его борьбе.

Как дуновение свежего воздуха, сигнал рожка достиг слуха измученных матросов. Второй день их пытки подходил к концу. Волоча ноги, как гири, Лесли подошел к матросу, который во время ученья замахнулся на унтер-офицера. Это был «Джинджер», тот самый, который на второй день

забастовки выпроводил с жилой палубы «старшего». Он откинулся спиной к стене столовой, и его красное лицо скривилось мучительной усмешкой.

— Негодяи! — выругался он. У меня ноги вздулись так, что не ступить. Но этот унтер-офицер еще попадетс я мне когда-нибудь, и я выбью из него семь склянок.

— Только не теперь, — предостерегающе сказал Лесли. — Эту неделю придется потерпеть. Единственное, что мы можем сделать, — это письменно просить адмирала порта принять нас и выслушать нашу жалобу.

«Джинджер» согласился, и они пошли искать товарищей. В этот вечер в ящик для жалоб было брошено тридцать шесть прошений, и все они были адресованы адмиралу.

На следующий день в сарай, в котором их собрали на муштровку, с большой свитой из офицеров вошел коммодор.

Сердце Лесли забилося, и по спине пробежала дрожь.

Коммодор остановился перед матросами, широко расставив ноги и заложив руки за спину. Его важный вид производил гораздо большее впечатление, чем широкая золотая нашивка на рукавах. Лесли мысленно смерил расстояние до него, но не в ярдах или футах, а в размахе ружейного приклада. Коммодор предпочел остановиться вне таких возможностей.

— Я слышал, что вы собираетесь итти с жалобами к адмиралу.

Это было произнесено явно вызывающим тоном, как бы подстрекавшим на такой же ответ. Лесли невольно крепче сжал в руке винтовку.

— Прежде всего вы должны подать просьбу о том, чтобы вас принял я, а затем, если я не смогу удовлетворить ваше ходатайство, я препровожу его адмиралу.

Тихое фырканье рядом с Лесли убедило его, что он не одинок в своем мнении о коммодоре. Обращаться к нему, когда жалоба была направлена именно против него!

— Вас не наказывают за Инвергордон. Мы все знаем об обещании правительства, но до моего сведения дошло, что с тех пор вы продолжали бунтовщические действия, и я приму такие меры, какие найду необходимыми, чтобы пресечь вашу вредную деятельность среди молодежи, кото-

рая способна наделать глупостей под нашим влиянием. Я вас не боюсь.

Он их не боится!

Лесли хотелось выйти из рядов и крикнуть ему в лицо: «Ты боишься! Каждый твой жест показывает это. Ты стоишь в двадцати шагах от нас. Опыт учит тебя, что матросы иной раз взмахивают ружейным прикладом не в ту сторону, куда велено».

Ценой величайшего усилия над собой он сдержался. Пусть эта самоуверенная, самонадеянная свинья болтает сколько хочет. Ей не запугать их, не заставить забыть про их окровавленные плечи и распухшие ноги, забыть про те пытки, до которых может додуматься только золотопогонный изверг. Немецкий коммунист сказал: «Когда придет время...» — и этот мучитель только приближает его.

Коммодор удалился со своей свитой лакеев, и Лесли вполголоса послал ему вслед проклятие.

ГЛАВА СОРОК ШЕСТАЯ

Дивизионный офицер поднял глаза от стола, на который Лесли положил свое письмо к адмиралу. Они узнали друг друга, и на лице офицера мелькнула усмешка, а у Лесли немного отвисла челюсть. Перед ним был «Свиное рыло». Так вот куда занесла его судьба: он стал дивизионным офицером в морских казармах!

— Садись! — предложил он.

— Благодарю вас, сэр, — вежливо ответил Лесли, — я предпочитаю постоять.

Стоять во время спора выгоднее, чем сидеть.

Офицер молча стал читать письмо, а Лесли перевел взор на дежурного унтер-офицера. Тот подмигнул ему, но Лесли не понял, предостерегает или подбадривает он его.

— Гм!.. Я хочу поговорить с тобой по душе, и можешь быть уверен, что ни одно твое слово не выйдет из этих четырех стен.

Лесли указал на унтер-офицера и спросил:

— Зачем же здесь он?

— Выйдите отсюда! — буркнул «Свиное рыло».

Лесли, прищурив глаза, внимательно приглядывался к нему. Все полтора года совместной службы с этим офицером Лесли

казалось, что он уже где-то служил вместе с ним. Теперь эти резко произнесенные слова опять оживили какое-то стертее воспоминание в его мозгу. И вдруг все стало ясно. Угольная куча. Мужчина и девушка с мешком. Его старый друг Пат. «Свиное рыло» был тот самый офицер, чей фонарик поймал Пата и вызвал его арест.

Лесли нагнулся над письменным столом.

— Простите меня, сэр. Не были ли вы в Шотландии во время всеобщей забастовки?

«Свиное рыло» откинулся в кресле. Он был удивлен.

— Господи помилуй! Какое отношение это имеет к твоему письму? Но, если хочешь знать, я был там.

— Тогда не откажите, сэр, сказать мне, что сделали с матросом О'Лири, арестованным за раздачу припасов.

— О'Лири, О'Лири... — напрягал память офицер. — Дай подумать! Я, кажется, помню такого.

Он наморщил лоб, стараясь восстановить в памяти то, что было пять лет назад. Лесли ждал.

— А, — воскликнул «Свиное рыло», — припоминаю! Ты спрашиваешь, что с ним сделали?

Лесли кивнул.

— Три месяца карцера и увольнение со службы. А ты, значит, знал его?

Лесли смотрел в окно, не желая, чтобы офицер в эту минуту видел выражение его лица. Помедлив, он спокойно ответил:

— О'Лири был моим другом, сэр!

Офицер зашуршал бумагой, которую он держал в руке, и Лесли изгнал Пата из своих мыслей, чтобы сосредоточиться на том деле, за которым он пришел.

— Так вот, скажи мне, Уинтерс, что ты имеешь против морской службы? Чем ты недоволен?

Тиканье канцелярских часов как будто подчеркивало однообразие стандартных вопросов офицера.

— Всем и ничем, — ответил Лесли.

Офицер был терпелив, удивительно терпелив для «Свиного рыла».

— Ну, брось, Уинтерс! Так мы ни до чего не договоримся. Давай говорить откровенно!

Лесли был осторожен. Но тут он решил перейти в атаку.

— Почему, уходя с корабля, сэр, вы

сказали, что «не станете служить за такие деньги?»

Карандаш выпал из руки «Свиного рыла» и, стуча, покатился по столу. Офицер поймал его в тот миг, когда он уже падал на пол. «Свиное рыло» на секунду растерялся.

— Что за чепуха! Я сказал лишь то, что думали все офицеры. Урезка жалованья нас никак не устраивала, а мы теряли больше вашего.

— Я знаю, сэр, — отозвался Лесли. — Адмиралы потеряли по пятнадцати шиллингов в день. В пятнадцать раз больше, чем мы. — Он надеялся, что легкий сарказм в его голосе не ускользнет от внимания офицера. — Но, видите ли, сэр, получили-то они по семь фунтов пятнадцать шиллингов в день!

— Да, да, — согласился «Свиное рыло», — если считать в процентах, вы, конечно, теряли больше. Но мы не бастовали.

— Почему? — неожиданно спросил Лесли. «Свиное рыло» при этом дерзком вопросе невольно раскрыл рот. Он видел, что дипломатия английского джентльмена плохое оружие против резкой прямооты матроса.

— Совершенно ясно, почему, молодой человек. Мы рисковали слишком многим.

— Иначе говоря, — дополнил его слова Лесли, — уйдя из флота, вы пропадете так же, как и мы. Там вы никому не нужны. Впрочем, вы уходите с половинной пенсией, а мы — с пустыми руками.

«Свиное рыло» ничего не ответил, но сделал какую-то пометку на письме Лесли. Тот не обратил на это особого внимания. Он ждал следующего хода противника.

— Нам необходима строгая экономия. Финансы страны находятся в ужасном состоянии. Мы стояли перед лицом тяжелого кризиса.

— Но почему же экономить именно за наш счет? О финансах страны мы ничего не знаем, зато мы хорошо знаем, что в последние годы деньги летели направо и налево.

— Не болтай вздора, молодчик! Ты говоришь, как уличный агитатор, и эта роль тебе не к лицу. Сколько тебе лет?

— Двадцать пять, — с удивлением ответил Лесли.

— Я так и думал, — молодой и горячий! — задумчиво пробормотал офицер.

Лесли вспыхнул и сильно прикусил губу, чтобы удержаться от гневной

вспышки. Этот отвратительный человек играл им. Все, что Лесли ему говорил, говорилось напрасно. Офицер сам знал все это. Не это интересовало его. Ему нужно было выяснить образ мыслей Лесли и то, насколько он отражал взгляды всей нижней палубы.

Офицер взял в руки письмо Лесли. Оно было почти забыто обоими, а между тем по поводу него Лесли и послали сюда.

— Я позабочусь о том, чтобы твое письмо было доставлено адмиралу, и когда будет ответ, снова вызову тебя сюда. Можешь идти!

Лесли повернулся на каблуках и вышел. В уме у него мелькнула мысль, которая рассердила его и побудила с таким треском хлопнуть дверью, что окна задребезжали. Он не сказал и половины того, что хотел.

ГЛАВА СОРОК СЕДЬМАЯ

Глухой стук упавшего на пол тяжелого вещевого мешка заставил Лесли насторожиться. Он думал, что здесь никого нет и ему представляется случай покурить тайком за стелажими для мешков. Кто-то пришел сюда. Быстро потушив папиросу и обжегши при этом пальцы, Лесли осторожно выглянул поверх стелаж. Островерхая шапка унтер-офицера. Лесли втянул голову в плечи и, нагнувшись, побежал по проходу подалее от места своего незаконного курения. С голиком в руке он вышел из-за стелажей и принялся мести пол. Биение сердца постепенно успокаивалось, — он убедился, что унтер-офицер не заметил изобличавшей преступника тонкой струйки дыма, которую Лесли не мог рассеять.

Лесли прилежно мел пол, который уже подметали не менее четырех раз за последний час, и вдруг замер на месте. Матрос, возившийся с вещевым мешком, был Сам, а унтер-офицер стоял рядом с ним, наблюдая за опорожнением мешка. Голик со стуком упал на пол, и Лесли забыл обо всем на свете. Что это стряслось? Уж не арестован ли Сам? Сотни разных вопросов требовали ответа.

— Что случилось, Сам? — спросил Лесли, и голос его звучал хрипло. Присутствие унтер-офицера заставило его держаться на расстоянии.

— Я кончил, Лес, — коротко ответил Сам.

Лесли взглянул на унтер-офицера. Тот не проявлял интереса к их разговору.

— Кончил — что? Работу? — Лесли был озадачен.

— Нет, совсем. Кончил службу во флоте.

Лесли усмехнулся.

— Что же, тебя отправляют под конвоем в Китай? — спросил он, думая, что Сам шутит.

— Вроде как в Китай, — горько улыбнулся Сам. — Если бюро безработных — Китай, то ты прав.

И Лесли увидел, что, несмотря на улыбку, Сам говорит очень серьезно.

— Да как они смеют! Не может быть! — пробормотал Лесли, но вспомнил свой опыт последних дней и понял, что это вполне может быть.

— Не смеют? — с некоторым раздражением отозвался Сам. — Я тебе тысячу раз говорил, что в этом полку с тобой могут сделать все, что захотят. Разве только беременным тебя сделать не могут!

Лесли сел и огорченно уставился в пол. Его первый друг Пат ушел так же внезапно, а теперь уходит Сам, почти дослужившийся до пенсии. Да, морская служба берет человека, ломает его, а потом выбрасывает. Сломала ли она и его? Он отогнал от себя уныние и прошелся взад и вперед. Нет, служба не сломала его! Он никогда не пресмыкался. Он отвечал ударом на удар и не сломался, а только закалился. Закалился, чтобы продолжать работу, которой его научил Сам.

— Матрос первой статьи Уинтерс!

Лесли поднял глаза и отозвался:

— Здесь!

— Тебя требуют в канцелярию командира.

Лесли молча последовал за вестовым. Спрашивать о причине вызова не стоило, — вестовые в таких случаях обычно лгали, боясь сказать правду. Наверное, это по поводу его письма.

Командир был в кабинете один. Он стоял за письменным столом, теперь отгороженным длинной медной штангой, защищавшей командира от слишком резких проявлений ненависти горячих матросов.

— Матрос первой статьи Уинтерс?

Лесли нашел этот вопрос излишним, но

четко ответил: «Да, сэр!», дивясь, почему командир не поднимает глаз от стола.

— Адмиралтейство одобрило твое увольнение. Твои услуги больше не нужны.

Одобрил ли Лесли постановление адмиралтейства, этого командир так и не узнал. Как по сигналу, дверь распахнулась, и голос за нею рявкнул:

— Направо кругом, марш!

Лесли автоматически повиновался. Слова командира еще не проникли в его сознание. Потом он захохотал, чем весьма удивил конвоира. Пять минут спустя он уже распаковывал свой вещевой мешок на том самом месте, где так недавно узнал об увольнении Сама.

Не давая ему опомниться, Лесли водили из одной канцелярии в другую и наконец привели на заключительный медицинский осмотр. Он еще помнил первый осмотр, десять лет назад. Помнил, как он следил за каждым движением врача, как старался раздуть возможно шире грудь и как в тревоге ждал результата. От того медицинского осмотра зависел его прием во флот. От нынешнего осмотра не зависело ничего, решение уже было принято. Годен или негоден — все равно. Для той огромной армии искателей работы, в ряды которой он теперь вступал, не требовалось никакого осмотра.

Широкие открытые ворота, охраняемые вооруженными часовыми, были в нескольких ярдах перед ним. Каждый шаг приближал его к этим воротам. Тысячи раз выходил он из них, но с тем, чтобы снова вернуться. А теперь сверкающий штык преградил бы ему обратный путь так же непреодолимо, как если бы на воротах висел тяжелый замок. Странно выходить за ворота таким образом! Что лежит за ними? Он знал или, вернее, предчувствовал. Он разыщет людей, которых встречал лишь через большие промежутки времени, людей, говоривших с ним на языке, понятном ему, на языке, дышавшем тем революционным духом, который давно дремал в нем и проснулся в Инвергордоне. Этот дух был еще как малое дитя, но друзья воспитают и укрепят его, и он станет гигантом.

Лесли остановился. Из караульного помещения вышел «Свиное рыло» и большими шагами шел наперерез Лесли. Не отдав ему чести, Лесли двинулся дальше.

— Одну минуту!

Лесли остановился снова и ждал, не глядя на офицера, не вздумает ли тот в эту последнюю минуту еще раз показать свою власть.

— Итак, ты один из них? — спокойно спросил он.

Лесли взглянул на него. Улыбка сошла с лица офицера, когда он увидел, какой яростью пылали устремленные на него глаза Лесли.

— Конечно, я один из них, и вы отлично знали это уже в тот день, когда я приходил к вам в канцелярию. Зачем же вы разыгрываете удивление?

— Да что ты! Право, я не знал, — уверял «Свиное рыло».

— Не будем спорить об этом. Теперь все решено. Но я не огорчен. У меня нет дома, нет денег и, кстати сказать, нет даже штатского платья. Вы думаете, это заботит меня? Ничего, справлюсь!

— Господи помилуй! — воскликнул «Свиное рыло». — Что же ты будешь делать?

Лесли выпятил подбородок и взглянул офицеру прямо в глаза.

— Я вступаю в коммунистическую партию.

Он повернулся и шагнул за ворота. Он знал, что ждет его по ту сторону.

*Перевод с английского
Д. Горфинкеля и Н. Чуковского.*

Вадим Шефнер

ЛЕСНОЙ ПОЖАР

Забывчивый охотник на привале
Не разметал, не растоптал костра.
Он в лес ушел, а ветки догорали
И нехотя чадили до утра.

А утром ветер разгонял туманы,
И ожил потухающий костер
И, сыпя искры посреди поляны,
Багровые лохмотья распростер.

Он всю траву с цветами вместе выжег,
Кусты спалил, в зеленый лес вошел,
Как вспугнутая стая белок рыжих,
Он заметался со ствола на ствол.

И лес гудел от огненной метели,
С морозным треском падали стволы,
И, как снежинки, искры с них летели
Над серыми сугробами золы.

Огонь настиг охотника, и, мучась,
Тот задыхался в огненном плену, —
Он сам себе готовил эту участь,
Но искупил ли этим он вину?

.
.

Не такова ли совесть?

Временами

Мне снится сон среди тишины ночной,
Что где-то мной костер забыт, а пламя
Уже гудит, уже летит за мной.

Ал. Черненко

МЕЧТА

Теперь Максим Егорович на маяке уже не работал, теперь он помогал чудесному ученому, биологу Макарову, которого однажды в жестокий шторм спас при крушении его рыбо-научного судна. С тех пор и не расстаются эти два старика-робесника, которым вместе было чуть ли не полтора года лет. Они жили дружно, никогда не ссорясь и не разлучаясь. Многие удивлялись этой дружбе простого маячника-рыбака и ученого-биолога. Мало кто знал, что сошлись они на прочной основе: из-за их общей любви к морю, к обитателям этого моря — к редкостным каспийским рыбам. До встречи каждый из них жил одиноко: Максим Егорович — на маяке, а Макаров — в своей лаборатории, среди аквариумов и склянок с заспиртованными рыбами. И вот, во время шторма, они нашли друг друга, познали дружбу...

Максиму Егоровичу Макаров нравился и за душевный его характер, и за глубокую его ученость, и за то, что Макаров хотел управлять всем Каспием, всем рыбным царством. Макаров мечтал сделать из Каспия необычайный живорыбный садок, из которого только поспевай черпать осетров, севрюг, белорыбц. Он хотел сплошь заполнить Каспий многочисленной и вкусной рыбой. За это и нравился Максиму Егоровичу ученый старик.

Макаров же полюбил Максима Егоровича за необыкновенные его познания в жизни моря. Максим Егорович совсем легко рассказывал о том, что с таким трудом далось ученому и что чуть ли не

всю жизнь изучал он. Макаров часто узнавал от этого простого рыбака такое о повадках рыб, что нельзя было узнать ни из каких книг; он узнавал от него о местах скопищ рыбы, о движении косяков, о местах нерестилищ, о зимних рыбных стойбищах... Так и жили старики вместе, обогащая друг друга знаниями: один — знанием жизни моря, другой — знанием наук о рыбе.

Максим Егорович помогал ученому, часто натапливая его на самые насущные нужды ловецкого хозяйства: то он обращал его внимание на усовершенствование невода, то высказывал мысли о комбинированном лове рыбы одновременно ставными и плавными сетями, то убеждал его найти такой состав, который бы возможно дольше сохранял невод и сети от порчи их водой.

А однажды он высказал такое, что круто повернуло всю научную работу Макарова. Дело было совсем «пустяковое», как любил говорить Максим Егорович, но оно так взволновало ученого, так его захватило, что он долгое время ходил сам не свой. С тех пор старики и стали совсем неразлучными друзьями.

Об этом Максим Егорович и рассказывал своему однопоселковцу, молодому Орешкину, только что окончившему рыбный вуз. Они сидели в кабинете Макарова, поджидая его, чтобы вместе с ним ехать на взморье.

— Ну и вот, Сенька, — неторопливо рассказывал Максим Егорович, — один раз как-то разговорились мы, значит, с моим

сударем... Ты же знаешь, он меня Максом зовет, а я его сударем. Знаешь почему зову его так? Догадываешься? Он ведь каждого нового человека величает «сударем» или «милейшим». Ну, и вот... Разговорились мы это о каспийских шипах, я и говорю ему: «А ты знаешь, сударь, откуда эта самая рыба повелась?» — «Откуда, Макс?» — спрашивает он. — «Это, — говорю, — помесь между севрюгой и стерлядью и еще помесь между осетром и той же стерлядью. Сначала мой сударь задумался, прошелся взад-перед, порылся в книгах, в своих тетрадках, а потом вдруг подскочил ко мне, схватил за руку и кричит: «Макс, поздравляю! Вы сделали открытие!» А мне и невдомек. Я говорю ему: «Двери, сударь, закрыты. И окна закрыты». А он все свое: «Макс, я утверждаю, вы сделали открытие!» Ну, и я свое: и окна, мол, сударь, и двери — все закрыто!

Максим Егорович плутовато улыбнулся; желтоватые глаза его в зеленых ободках оранжево блестели, как у ерша.

Орешкин настороженно поглядел на дверь, за которой слышались шаги, но шаги тут же затихли. Потом он посмотрел на Максима Егоровича, на его насмешливо прищуренный глаз и подумал: «Все такой же хитрец, каким был и на маяке. Ну, и забавный старикан!»

А Максим Егорович продолжал все так же неторопливо:

— Только заметил тут я, что дело не шуточное: нос и щеки у моего сударя побелели. У него всегда становились они белыми-белыми, словно кто-то посыпал их толченым мелом, когда он был чем-нибудь недоволен или же когда приходила ему в голову дальновидная мысль... Ну, подходит, значит, ко мне сударь с побелевшими, точно обмороженными, щеками и носом и спрашивает: «А вы, Макс, слышали об американце Лютере Бербанке?» — «Нет, — говорю, — сударь, не слышал». — «А о нашем Иване Владимировиче Мичурине слышали?» — «Нет, — говорю, — и о Мичурине не слышал, сударь». Ну, и пошел он тут строчить! «Это, — говорит, — герои труда, великие творцы новых растений. Они, — слышь, — создали новые, улучшенные сорта яблок, груш, слив, персиков, винограда, таких крупных и вкусных, каких до Бербанка и Мичурина не было. Они же создали и совсем новые растения! Вы, — говорит, — понимаете. Макс. что значит

сила человеческого разума?» — «Ну, — думаю, — пошли-поехали! Можно, значит, ставить самовар: чай пить будем с самоварными разговорами до самого утра».

Максим Егорович лукаво подмигнул Орешкину.

В это время за дверью снова слышались шаги. Орешкин приподнялся было, но Максим Егорович предупредил его:

— Нет, нет, Сенька! Это не сударь. — Он посмотрел на часы: — Его лекция протянется еще с полчаса. — И опять обратился к своему рассказу: — Пьем мы, значит, чай, а сударь все о чудесах Бербанка и Мичурина толкует: как они соединяли, то бишь, скрещивали разнородные растения и как получали от этого новые. Одним словом, рассказал мне сударь про все дела гибридизации. А потом и говорит: «Вы, Макс, точно подметили: шип — это, видно, не особый вид рыбы, а естественный гибрид между севрюгой и стерлядью, а также между осетром и стерлядью. Вы понимаете, Макс, куда толкает ваше открытие, ваша мысль? Она толкает на применение мичуринского метода в рыбоводстве... А кстати, Макс, посмотрите на карту! Посмотрите на Волгу, на весь Волжский бассейн со всеми его притоками. Не кажется ли вам, милейший, что он похож на развесистое дерево, а корень этого дерева уходит в Каспий? Это очень знаменательно, Макс! Но дело не в этом. Дело гибридизации, Макс, конечно, трудное, вы сами понимаете. До сих пор еще, милейший, не было во всем мире ни одного Мичурина среди рыбоводов...» Я подтверждаю: «Правильно, сударь! Знамо, дело нелегкое. У нас и ловцы так говорят: рыба в реке — еще не в руке». Под конец сударь и говорит: «Давайте, Макс, попробуем вывести рыбы-гибриды! А пока — никому ничего». Я опять подтверждаю ловецкой присказкой: «Известно, сударь: лучше десять раз обойти, чем быть на мели».

И опять Максим Егорович плутовато подмигнул Орешкину, а тот, взволнованный рассказом старика, поднялся со стула и торопливо зашагал по кабинету.

— Дальше, дальше рассказывай, Максим Егорович! — попросил он.

— А вот слушай... — И Максим Егорович, выйдя из-за стола, зашагал вместе с Орешкиным.

Орешкин, хотя то и дело и поглядывал на дверь, однако внимательно слушал бывшего маячника. Он, как и всегда, когда

слушал, говорил или читал, слегка улыбался и даже, казалось, посмеивался, и это придавало ему вид, что парень он себе на уме. Рослый и широкоплечий, он был намного выше Максима Егоровича. Поэтому во время разговора с ним он вынужден был наклоняться, сжирать глаза, что делало его еще более похожим на человека себе на уме.

Максим Егорович хорошо знал Орешкина, знал его природную сноровку, дальновидную смекалку. Поэтому он был очень доволен, что, наконец-то, молодой рыбак закончил рыбный вуз; поэтому он так подробно и рассказывал ему про самое сокровенное, что было у него и Макарова.

— С тех вот пор, Сенька, и занялись мы с моим сударем рыбами-гибридами. Ты видал их у нас? Вот-вот! Те самые! У-ух, сколько их у нас, не честь! Тьма-тьмушная! И все разные-разные! Не поймешь: то ли сазан, то ли осетр, то ли судак, то ли севрюга... Прямо умора! Раньше, бывало, ловцы так говорили: осетр сому не товарищ, стерлядь селедке не подруга. А теперь мы с сударем делаем всех товарищами, всех подругами. А есть у нас, Сенька, одна пара таких золотистых-золотистых, — по цвету вроде как сазан, а по форме смахивает на судака. Никак не поймешь, что это за рыба! Ну, никак! Ты видал эту пару?

— Чего ж тут не понять? — не отвечая на вопрос, оживленно заговорил Орешкин. — Видать, скрестили вы сазана и судака. Вот и все! — Он мельком посмотрел на дверь и, все более оживляясь, испытующе спросил: — А вы пробовали скрещивать осетровые породы с частичковой рыбой: с судаком, лещом, сазаном? — Его маленькие черные глазки насмешливо уставились на Максима Егоровича. Видно было, что у парня имеется уже своя мыслишка и на стариков он смотрит так себе — не свысока, конечно, но уверенно, с тайной надеждой быть вскоре по меньшей мере подстать им. — Ты же, Максим Егорович, знаешь: у осетровых нагул идет в среднем восемь-десять лет, а у частичка всего три-четыре года. Такой вы вот вывести гибрид: вкус осетра, а время нагула как, предположим, у воблы — три года.

— Ишь ты, какой умач! — Максим Егорович тихо засмеялся. — Помню, таким же был ты, когда еще без портков бегал. А не забыл, как вверх ногами ходил?

Вскинешься эдак на руки, а ноги под потолок — и пошел. Эх-ма!

Орешкин сдержанно улыбнулся, но тут же настойчиво переспросил:

— Скрещивали вы осетровых-то с частичком?

Прищурился глаз, Максим Егорович ответил вопросом:

— А ты видал ту золотистую пару, про которую я рассказывал? Не видал? Почему не видал? Уже три дня живешь у нас — и не видал. Нехорошо, нехорошо! Я же сколько раз звал тебя: «Заходи, Сенька, в лабораторию! Заходи!»

— Макарова... стесняюсь, — неохотно признался Орешкин.

— А чего стесняться? Я ведь там не сторож какой, а полный хозяин, что ни на есть компаньон по этим самым гибридам. Сударь заставляет меня даже статьи подписывать вместе с ним. Прямо потеха! Заходи — и баста! Учись, перенимай, Сенька, рыбную науку! Я стар и сударь стар. Кто будет двигать дальше эту науку? Ты будешь двигать, наша ловещая молодежь будет двигать. Известное дело: молодость — на всех парусах, старость — с гребком на челне... Мы с сударем частенько об этом толкуем. И о тебе не один раз толковали. Хотим, Сенька, тебя в помощники к себе взять, в ассистенты эти самые. Понятно? Сударь говорит, башковитый ты парень, умач. Шибко понравилась ему твоя работа «Рыбы и рыбный промысел». Во всем, слышь, объеме охватил рыбное дело. Молодец! Да-а, Сенька! Большие дела надумал наш сударь. Говорит, ежели Мичурин имел мечту превратить всю землю в цветущий сад, то Каспий, слышь, мы непременно превратим в мировой что ни на есть живорыбный садок. Э-эх, дожить бы до тех времен, Сенька! Дожить бы!

Тут Максим Егорович мечтательно улыбнулся и совсем тихо, чуть ли не шопотом, но вдохновенно заговорил:

— Дал бы это нам товарищ Сталин радио из Москвы: приготовить, мол, лучших золотистых осетров на Международный съезд Советов. А мы — чик из этого самого садка-Каспия — и готово! Кушайте на здоровье, дружки-товарищи всех стран! Мы уж для вас постарались! Э-эх, дожить бы до этого счастливого денечка!

Неожиданно распахнулась дверь, и в кабинет вошел Макаров, худенький и костля-

вый старичок, сверкая лысиной, которую, словно венки, окружала совсем небольшая каемка белых пушистых волос.

— А! — Широким жестом приветствовал он Орешкина. — Молодой человек! Здравствуйте!

Орешкин сдержанно поклонился.

— Вам говорил Макс? — И он кивнул на Максима Егоровича. — Хотим вас, милейший, просить поработать с нами. Вы согласны?

— Согласен... — запинаясь, ответил Орешкин. — Очень прошу вас...

— Отлично! Превосходно! — Вынув из кармана куртки шелковую ермолку, он быстро надел ее и тут же набросил на плечи

короткую накидку-крылатку. — Макс, а как баркас? Готов?

— Готов, сударь, — ответил Максим Егорович и направился к двери. — Ждет нас у пристани.

— Тогда поехали. — И, подходя к Орешкину, Макаров взял его под руку. — Вам мой коллега, — тут он показал глазами на Максима Егоровича, — вероятно, уже рассказывал о наших опытах с рыбами-гибридами. Эти опыты, милейший, мы уже переносим из лаборатории в естественные условия. Сейчас вот поедем на взморье и покажем вам ильмень с нашими питомцами...

Максим Егорович, пропустив в дверь Макарова, а следом за ним Орешкина, озорно и молодо подмигнул последнему.

Людмила Шопова

СЧАСТЬЕ ЛЕТАТЬ

(ИЗ ПОЭМЫ)

Взвились,
с высотой по-приятельски встретясь,
И кажется,
город огромный затих,
И только ведут переключку столетья,
На Дальний Восток
простирая пути.
Три месяца ехали, —
версты считали, —
Когда-то
к сибирским глухим рудникам
Две женщины русских
дорогой кандалной,
И вязли кибитки в снегу,
и печальный
Выматывал душу
напев ямщика.
Дали глухие, широкие дали...
На станциях сутками ждали, пока
Других лошадей
в их возки запрягали.
О юге, о доме
старались не думать.
Навстречу — замерзший пустынный
Байкал,
По льду переправа
на берег угрюмый,
И там, за Читою,
пути к рудникам...
Там в черной дыре,
в руднике Благодатском,
В краю, где суровость
не знала границ,
Там, выбрав судьбу:
безвозвратно остаться, —
Делили с мужьями неволю они.
Но, взвив над Россией
свободный свой голос,

Стихом обличая
жестокие дни,
О женщинах этих,
о доле их гордой
Писал величайший
поэт-гражданин.
И, может быть, видел сквозь даль
не бессильных,
Не прячущих горе
в кибитке своей,
Других,
чьи широко раскроются крылья,
Народа могучего дочерей.
Ведет самолет
Гризодубова Валя,
Как пух лебедей,
над землей облака.
Маршрут на Восток.
И легка на штурвале,
Спокойна и неутомима рука.
Плывут, проплывают
за городом город,
Свердловск опоясан
клубящейся мглой.
Растут облака,
превращаются в горы.
И горы, шатаясь,
ползут на крыло.
Хребты их смыкаются.
Встали стеною —
Спереди, сзади,
сверху, с боков.
Ни щелочки.
Слой громоздится на слое.
Куда ни лети,
езде — молоко.
Пусть умных приборов
испытана точность,
Все ж в небе ослепшем
вести самолет,

Все ж спорить
с бунтующей, вздыбленной ночью
Не просто.
И это лишь летчик поймет,
Как ходит игольчатый холод по телу
И вырастают секунды в года,
Когда вдруг заметишь
в стекле запотелом
На крыльях
каемку блестящего льда.
Пробить эти белые скалы.
Там снова
Спокойно,
там воздух прозрачен и тих...
Родина —
самое гордое слово
На крыльях
до звезд золотых донести.
И бешено крутятся
стрелки приборов,
И маска у рта.
Как живит кислород...
Качаются, падают
зыбкие горы,
И высятся контуры
синих ворот.
Ширится выход
из мглистого плена,
Попутного ветра
послышался клич,
И кажется близкой
планета Владлена,
Открытая в год,
когда умер Ильич.
И отдан штурвал
Осипенко Полине:
На небо взглянули
пытливо глаза,
Но вечер близ Омска
не хочет быть синим, —
Там темной завесой
упала гроза.
Блеснули сквозь дымку
Иртыш, Енисей,
Огни в Красноярске,
огни под Иркутском —
Край смелых, прославленных,
сильных людей,
Край песен,
что с губ никогда не сотрутся:
«Славное море, привольный Байкал...»
В лесистых передниках
горные склоны,
Но снова клубят горизонт облака.
И неотвратима
встреча с циклоном.

Все небо
в раскидистых облачных грядках.
В затейливых башнях,
в разлетах мостов;
Воздушные гейзеры и ветропады
Бушуют и ропщут у самых винтов.
Все больше кидает
с крыла на крыло,
В разводах причудливых
стекла кабины,
И кажется —
цель леденящих валов:
Сбить с курса
и вырвать штурвал у Полины.

Лампочек больше
в кабине зажечь,
Прибавить моторам
число оборотов,
От резкого крена,
бросков, разворотов
Глазами, руками,
всей силой беречь,
Держать самолет
в состоянии полета!..

Впервые за всю ее летную жизнь
Погода ведет себя
так сумасбродно,
Но стрелки верны,
и дорога лежит
К Востоку
сквозь хаос почти первородный.
И в памяти
в этот неистовый холод
Невольно на миг
Севастополь встает.
Задорный прибой,
соколиная школа,
Вся юность,
так рвавшаяся в перелет.
Напрасны
предательских вихрей набеги, —
Уже до Байкала
сквозь мрак донеслось
В наушниках пение скрипок:
«Онегин» —
Сигналы
далекой и близкой земли,
Земли,
для которой любые преграды
Ты перелетишь
везде и всегда,
Земли, за которую жизнь, если надо.
И вздох свой последний
с улыбкой отдашь.

М. Никитин

С КИНОАППАРАТОМ НА ФРОНТЕ

Если поддасться обаянию утренней тишины, которая царит на Березовой аллее б. Каменного острова, покажется удивительным, что маленький домик «Кинохроники», укрытый под березами, связан сейчас с Балтийским морем и Кимасозером, с каким-то далеким полустанком Кировской железной дороги, с большим городом, начинающим трудовой день.

Двенадцать операторов — небольшой отряд ленинградской студии — «заняли исходные позиции», чтобы приступить к съемкам, подсказанным ночными и утренними радиопередачами, свежими газетами и просто жизнью.

Вот и сейчас выскочила из ворот и, пылу дымком, умчалась к Кировскому проспекту легковая машина с двумя операторами, погрузившимися в нее вместе с аппаратурой. Где-то какое-то событие.

Бесстрастные линзы кинообъектива должны захватить события врасплох: во всей их обнаженной правде и простоте. Оператор может избрать любой угол и любую точку съемки, но он не может вмешиваться в жизнь, прикрашивать ее режиссерской выдумкой, иначе пленка утратит драгоценный характер летописи и документальности...

Небольшая группа кинооператоров мирно беседовала в красноармейской землянке на границе. Не предвидя событий, молодые, веселые люди сидели вместе с бойцами, коротая время в ожидании съемок будничного сюжета. Но когда про-

вокационные выстрелы финской белоохранительницы вынудили советское правительство на ответный удар, кинооператоры поднялись вместе с бойцами и заняли землянку, комиссара, зачитывающего приказ Военного Совета, суровые ряды танков, дробявших под биением могучих моторов.

Оператор Симонов, его помощник Алеша Сокольский, шофер Макаренко перешли границу вместе с первыми частями Ленинградского военного округа.

А с рассветом — в Петсамо и на Ухтинское направление, в Петрозаводск и в Новую Ладугу, туда, где образовался фронт. из Ленинграда и Москвы уже мчалась в поездах и на самолетах вся кадровая и резервная армия операторов «Союзкинохроники».

В синеватой полудремоте лежал еще Каменный остров. Шпиль Петропавловки терялся в дымчатой вуали, накрывшей землю. Холодное утро последнего ноябрьского дня 1939 года вставало над городом, спокойно начавшим трудовой день, хотя в 32 километрах от него уже работали перевязочные пункты.

В эти часы и рождался документальный фильм, который мы знаем как «Линию Маннергейма».

Радио только что сообщило, что войска Ленинградского военного округа перешли границу, и полчаса спустя на дороге к Карельскому перешейку выскочила небольшая колонна кинохроники с осветительной аппаратурой, звукозаписью и подвижной электростанцией, именуемой «Лихтваген». В этой съемочной группе

были операторы тт. Лифшиц, Блашков и Доброницкий, звукооператор Картавенко, водители и рабочие подвижной съемочной группы. Проскочили дороги и пути, занятые сплошными обозами, идущими к границе, и вдруг застряли на пустыре за переправой, где уже лежало чужое поле, слева заслоненное небольшой молчаливой деревушкой. На подъеме «Лихтваген» застрял и зарылся в снег. Трехтонка же, шедшая позади, проскочила. Чуть правее двигалась танковая часть, и Доброницкий обратился к танкистам:

— Помогите, товарищи, съемки сорвутся!

Танк — металлическая глыба — отделился от колонны и забуксировал «Лихтваген». Но злополучная машина настолько глубоко зарылась, что, взревев моторами, танк не смог сдвинуть ее с места. Рванув еще несколько раз, танк сорвал гусеницу и сам беспомощно застрял. Стали готовиться к вынужденной ночевке.

Вдруг явственно послышалось тарахтение.

Из-за холмика показался тягач. Люди, стоявшие у танка, переглянулись, лица осветились надеждой.

— Прекрасно! — сказал младший командир, водитель танка. — Горевали, оказывается, напрасно. Через пятнадцать минут пустимся вслед колонне.

Тягач подошел, развернулся, потому что танк был между «Лихтвагеном» и деревушкой, и водитель, заглушив мотор, соскочил на снег. Он почему-то измерил взглядом расстояние между танком и тягачом и, подойдя к разорванной гусенице, озабоченно склонился над нею.

В тот же миг пулеметная очередь рассекла вечернюю тишину. В броню танка застучали пули. Люди вынуждены были прятаться и осмотреться.

Стреляла деревушка. Брошенная, молчаливая, она вдруг обнажила оружие, спрятанное на крышах, на чердаках и сеновалах.

Лежа под броней танка, Доброницкий и Лифшиц горестно переглянулись: первая съемка сорвалась. В расстоянии 200—250 метров отчетливо виднелась ближайшая пулеметная точка финнов.

Из слухового окна бил желтоватый, искрящийся огонек, и частые удары сыпались то на башню, то на ее нижний броневой пояс.

Эффектная обстановка, но темнота па-

рализовала зрительные возможности обьектива, а операторы, лежа на снегу, ясно различали силуэт деревушки, желчно изрыгавшей пулеметный огонь. Светосила человеческого глаза, оказывается, превыше любой сверхчувствительной линзы.

Вздыхая, операторы лежали плечом к плечу. Сорвался ведь первый боевой сюжет! А как он «заиграл бы», если бы его можно было снять с ночной подсветкой.

Но какая уж тут подсветка!

Как только танкисты зажигали фонарь и ползли к порвавшейся гусенице, — белофинны открывали огонь.

Трижды зажигали фонарь, и трижды деревушка била по танку. На рассвете она дала последние очереди и притаилась.

С советского тыла по дороге на Териоки показались стрелковые части и впереди их — подразделение танкеток. И хотя колонна уже вошла в полосу действительного огня, деревушка молчала, словно брошенная: финны не стреляли. Это, однако, не изменило их участи. Прыгнув через обочину, одна из танкеток понеслась через поле прямо в деревню, а в обход с тыла разбежался цепью взвод красноармейцев. Белофинны были переловлены. Кадр, как говорят, сам «просился» на пленку. Группу пленных, захваченных близ самой границы, и засняли кинооператоры.

Вынужденная стоянка «Лихтвагена» окончилась. Его весело вытолкнули на дорогу, и он, замыкая воинскую колонну, двинулся на Териоки.

Тяжелая машина связывала. На забытых обозами дорогах она легко могла стать пробкой, способной закупорить целый узел.

«Лихтваген» отправили в Ленинград и пошли с бойцами.

Под пулеметную пальбу, открывшуюся внезапно, колонна рассыпалась, освободив место своим танкам. Головной из них шевельнул гусеницами, выскочил вперед и осмотрелся, поводя башенным орудием, словно хоботом. Было видно, что стреляют с колокольни. Бойцы отвечали из-за домов и обочин ружейным огнем, и каменная щебенка сыпалась с верхушки храма.

Орудие танка выстрелило. Операторы запечатлели этот момент и глянули на колокольню. Огромная каменная глыба отломилась от пролета и рухнула внутрь. Все стихло. Несколько бойцов бросились

к церкви и по внутренней лестнице побежали на колокольню. Операторы за ними. Два белофинских трупа лежали на площадке вместе со своим пулеметом. И этот кадр вошел в летопись.

С высоты 40 метров открывалась чудесная панорама: в дымке через Териоки вдоль залива двигалась советская пехота с танками, артиллерией, обозами... Операторы начали съемку...

6 декабря 1939 года на развилке двух дорог снимался кадр, вошедший в «Линию Маннергейма» как бытовая картинка в прифронтовой полосе: перед выходом в бой танкисты брились, не вылезая из башен. Косясь на зеркало, они видели и свои лица и колонну танков, остановившихся позади на дороге.

Налетели два белофинских разведчика. Хлестнули пулеметным огнем.

Операторы поймали в видискатели прицелов белофинские самолеты, но — какая горечь! — они казались не больше мошки. Никакого представления о налете. Аппараты убрали. Танкисты продолжали бриться. Самолеты продолжали сбрасывать бомбы.

Симонов, Сокольский и Ешурин снимали эту сцену.

Где-то впереди, как плеть, щелкнул выстрел, другой...

Началась частая пальба.

Ешурин шел нога в ногу с пехотой, ринувшейся вперед под прикрытием танков. Вот снег, окрашенный кровью, и огромный круп лошади, бьющейся в агонии. Ешурин бежит, согнувшись, скорее ползет, и, поймав в рамку кадр, делает съемку. На пляске запечатлен предсмертный трепет животного, свалившегося среди вспышек и залпов артиллерийской перестрелки.

Не разгибая спины, Ешурин пополз дальше: труп белофинна, упавшего навзничь. Снимать или нет? Снял, — распластавшееся широкое тело с гранатой, зажатой в руке.

Дальше стало снимать труднее. Люди бегут, поднимаясь со снега, и падают. Ешурин снимает и этот кадр и думает не о пуле, свистнувшей над головой (свистнула — значит миновала), а о кадре. Дойдет ли?

Сомнения основательные.

С расстояния, доступного кинообъективу, непосредственно бой показать непомерно трудно.

Бойцы бегут и падают. Броски и перебежки. Это — кадр. А вот и другой кадр: бойцы бегут и падают, сраженные.

Вы помните кадр с фугасами?

Ползут бойцы с огромными ранцами на спине. Взрывчатку, гремучую смесь, несут на себе смельчаки, рискующие взлететь вместе с грузом. Чуть правее, на расстоянии, продиктованном композицией кадра, ползет Симонов. Ползет и целится в подрывников объективом «Аймо». Потом он отстает и тоскливо выжидает в снегу, рассчитывая по минутам, когда взлетит белофинское укрепление.

«Аймо» наготове. Симонов нацелился и ждет. Тяжелым ударом его встряхивает вместе с землей, и черные клубы газов заслоняют небо. Симонов нажал спуск. Перед зрачком объектива побежала пленка, фиксирующая подвиг четверки подрывников.

Сумеречный декабрьский свет ограничивал съемочные возможности. Операторы дорожили каждой минутой. К наступлению темноты рюкзаки наполнялись заснятыми кассетами. Тогда заплочный мешок с пленкой приобретал цену оперативного донесения, которое нужно было спешно перебросить в тыл. Прежде всего это диктовалось требованиями боевого репортажа: в обстановке непрерывных перемещений прифронтовой полосе пленка могла погибнуть вместе с оператором. И, наконец, как-никак, это около 16—20 килограммов груза. Освободившись от него, каждый пополнял свой рюкзак запасами свежей пленки.

По ночной дороге без фар мчалась фронтовая машина с командного пункта, и часто кому-нибудь из операторов, взявших на себя роль курьера, в машину подсаживали одного-двух пленных белофиннов:

— Сдадите в штабе дивизии!

Однажды ночью комбриг Хренов, человек, неустанно помогавший операторам в тяжелой фронтовой обстановке, усадил Доброницкого и Ногинского в машину и отправил в Ленинград с пленкой.

Километров пятнадцать машина неслась по безлюдной дороге и буквально на пути к Ленинграду стала. Дорогу на Ленинград закрыл огромный обоз. Посредине него в свете зажженных фар были видны две груженные трехтонки, сцепившиеся колесами. Доброницкий и Ногинский выскочили в луч фар и вдруг обернулись на знакомый оклик:

— Миша!

Шофер кинохроники, ехавший на фронт за пленкой, тоже застрял и случайно встретил операторов, возвращающихся с пленкой. Быстро перегрузили пленку с машины на машину. Шофер, застрявший в одном конце пробки, повернул в Ленинград, операторы повернули обратно к фронту.

В одну из траншей, где залегли артиллеристы-корректировщики, вполз человек в красноармейском шлеме, поразивший артиллеристов необычной для бойца выкладкой. В одной руке у него была винтовка, в другой — съемочный автомат «Аймо», по бокам — до десятка кассет, подсумок, рюкзак и гранаты. Даже в эту минуту, когда небольшое пространство, отделявшее советских артиллеристов от белофинских окопов, сплошь заливалось артиллерийским огнем, корректировщики не могли удержаться от улыбки при появлении этой странной фигуры. Познакомились.

— Оператор Союзкинохроники Добронички!

— Лейтенант Сысоев, младший лейтенант Козлянов.

И всех троих потрянуло от огромного взрыва. Снаряд разорвался в пяти-шести метрах.

— Снимать? — спросил Сысоев.

— Конечно, — сказал оператор, освобождаясь от рюкзака.

Траншея глубокая, почти в рост.

Все пространство «прошивалось» пулеметным огнем. Высовываться безрассудно. Нужно ловить случайные «паузы»: глянуть глазком, выбрать точку — тогда снимать.

Корректировщики указали объект — белофинский наблюдательный пункт. Оператор изловчился (аппарат в обе руки) и на мгновение выглянул. В следующее мгновение приподнял аппарат над головой и, ориентируясь на глазомер, сделал съемку. И так несколько раз. Прощальный кадр — корректировщики, оставшиеся в траншее.

Позиционная обстановка корректировала работу операторов, приучала к расчетливости, осмотрительности, разумным, оправданным вылазкам. Само командование пресекало рискованную погоню «за кадром». Командир соединения однажды запретил Симонову выходить из штаба (за караулы) без сопровождения бойцов. Это диктовалось серьезностью обстановки. Так было и всюду, где операторам грозила опас-

ность. Сами бойцы и командиры разведывали место съемок, прежде чем пустить туда операторов.

Юркий «пикап» операторов, носившийся по линии фронта, постепенно оснащался вооружением и скоро уже стал заправской «боевой» машиной. Рядом со съемочной аппаратурой и кассетами висели ручные гранаты, винтовки, полкой ниже — противогазы, запас продовольствия.

Однажды после съемок только что занятого ДОТа «пикап» выскочил на дорогу и помчался к штабу. Нужно было перекинуть в Ленинград снятую пленку. Дорога шла лесом. В машине с операторами сидели неизбежные «спутники» — двое пленных, которых нужно было доставить в штаб, и раненый советский боец. В пути присоединилась колонна — пять-шесть грузовиков также с пленными. Вместе ехали полчаса, час... Дорога, вначале знакомая, вдруг преобразилась. Неизвестно откуда появился завал, — несколько часов назад его здесь не было. Вылезли, растащили деревья, опутанные проволокой, поехали дальше. Картина, открывшаяся взору, подтвердила догадки, — здесь недавно закончился бой. На дороге и по обочинам лежали трупы белофиннов.

Наконец разыскали свой штаб, — он перебрался на другое место.

— Как вы попали сюда? — вскакивая от изумления, закричал командир дивизии.

Проскочили действительно наудачу: в расположении штаба действовала большая диверсионная банда...

11 марта 1940 года вместе со старшим политруком Чуриловым операторская группа — Симонов, Сокольский, Ногинский — перебралась на командный пункт, от которого расстояние до Выборга было наименьшим. Участь Выборга была решена. Справа и слева от командного пункта накапывались цепи бойцов. Симонов и Сокольский поднялись на наблюдательный пункт. На левом фланге засняли связистов. Откуда-то далеко из тыла к огневой линии пролегла связь. Бойцы-телефонисты тянули провода к корректировочному пункту, выдвинувшемуся на полтора-два километра вперед. В сопровождении старшего политрука Чурилова операторы сошли с командного пункта и ползком, с полной выкладкой плюс запас пленки (около 2 000 метров на каждого), поползли по снегу левее осажженного города. Натолкнулись на свой батальон, засевший в траншее.

Обрадовались друг другу, поговорили, отравились дальше. Доползли до каменного здания, — трехэтажный дом, насквозь пробитый снарядами. Наша артиллерия была навесом, и в Выборге уже поднимались огромные волны пламени. Белофинны уже спешили покинуть город. И, покидая его, жгли все, что может гореть.

Симонов решил снять горящий Выборг. Вместе с Сокольским он пробрался на третий этаж. Симонов еще не успел высунуться из окна, как несколько кирпичей обрушилось перед самым его носом. Высовываться было опасно. По окну с какой-то точки белофинны стреляли длинными пулеметными очередями. Иногда слышался тяжелый взрыв. То били минометы. Однако покидать это место казалось непозволительным. Панорама горящего Выборга открывалась отсюда словно нарочно для объектива. Изловчившись и нацелившись, Симонов сделал одну, вторую съемку и сполз с Сокольским вниз.

И вот снова уже свои, — командный пункт, с которого отчетливо видны предместья Выборга, уже брошенные и зажатые белофиннами дома, сараи, склады бумаги. От последнего обороняющегося белофинского рубежа было не более трехсот метров. Сокольский зарядил аппарат. Запасные кассеты были уложены в заплечном рюкзаке. И вдруг тяжелым всплеском разрыва всех швыряет в стороны. Из-под снега вдруг обнажилась земляная воронка. Симонов упал. Ему на ноги упал Сокольский. Симонов взглянул в лицо Алеши и по бледности, хлынувшей на лицо, понял, что он ранен.

Минометы били по скоплению людей, по командному пункту, который давно уже опустел; операторы вынесли друга из-под огня. Достали повозку. Погрузили на нее Сокольского и, не обращая внимания на разрывы мин, поспешили в тыл. Лошадь степенно трусит. Ногинский выхватил вожжи у возницы и погнал коня. На пункте первой помощи сделали операцию, но рана оказалась смертельной. Алеша погиб.

После того как «Линия Маннергейма» пошла по экранам, кого-то на кинофабрике осенила мысль — показать в своей фотогазете авторов кинофильма за работой.

— Дайте ваши рабочие кадры!

Операторы растерялись.

— Позвольте — все тридцать пять тысяч метров — это рабочие кадры. Всё подлинно, всё натура.

— Нет, такие, где есть операторы!

Тут Симонов и Ешурин переглянулись. Рабочих кадров действительно не было. В будничных, «городских» сюжетах на съемках «хроникального» события, иногда пользуясь минутой досуга, операторы запечатлевали на двух-трех метрах пленки рабочий момент. Оператор становился перед объектом, скажем, во время съемки на «Красном Треугольнике», в то время как заводская пожарная команда лихо взбиралась по лестнице на крышу.

Никому в голову не пришло сделать такой «рабочий кадр» в боевой обстановке. Стали перебирать в памяти. Не было таких кадров. Впрочем: «Есть» — сказал Симонов.

Отыскали пленку и прокрутили в просмотровом зале заново «Линию Маннергейма». Установили, что тот кадр, где ведут раненых танкистов на ближайший пункт медицинской помощи, и является «рабочим кадром». Симонов, Ешурин, Сокольский выводили танкистов под огнем белофинской артиллерии. Но когда попытались увеличить кадр для фотогазеты, результаты получились негодные. Лица операторов, помогавших раненым танкистам добраться до ближайшего пункта медпомощи, были почти неузнаваемы, так как кадр был снят с большого расстояния.

Фото не получилось. Если бы вместо фото дали текстовку, она рассказала бы, как снимался один из тысяч фронтовых кадров, вошедших в «Линию Маннергейма».

А дело было так.

В районе Вьясинена Ешурин, Симонов и Сокольский вылезли из машины, оставленные артиллерийской канонадой. Вперед двигалась на прорыв бригада тяжелых танков. Операторы подогнали машину в лесок и, вооружившись «Аймо», перебежками бросились вперед. Дорога. Община. На открытом поле несколько подбитых машин.

Из ближайшего танка слышались стоны. Операторы подошли к подбитой машине и оказали помощь раненому экипажу. Шли не сгибаясь. Этот кадр вошел в «Линию Маннергейма».

За стальными переборками несгораемых сейфов навечно хранятся подлинные негативы — летопись советско-финляндской войны 1939—1940 гг. Это — драгоценнейший документ эпохи, который с гордостью будут смотреть грядущие поколения советских людей.

ЧЕЛОВЕК ВЫШЕЛ НА ВОЛЮ

Асфальт, по которому мы ступаем, камни мостовой, витрина антикварной лавки, вывеска винного погреба — все мокро, все окутано серой мутью.

Она наполняет улочку до самых крыш. Подобно всем закоулкам старого города, эта улочка мало доступна для дневного света. Дома с узкими прорезями окон кажутся нежилыми. Таких домов нет в городах России. Из темных окон смотрит балтийское средневековье, населенное рыцарями Ливонского ордена, купцами-ганзейцами.

Кое-где сохранился орнамент порталов — строгий, холодный орнамент северной готики. На барельефах — кресты, скрещенные шпаги, головы в нимбах, вырезанные римскими цифрами даты. Иные здания украшает герб Таллина — щит с тремя львами, всклокоченными и тощими.

В конце улочки маячит светлое пятно. Мы приближаемся. Пятно приобретает очертания арки. За ней — слепящая ясность полудня и дали залива.

Спутница говорит:

— Вот здесь!

Она останавливается у гранитного контрофорта. Впереди — стальная поверхность воды, на которой четко вырисовываются боевые корабли. Позади — каменная громада города, острые крыши, шпили кирок.

— Я хотела вам показать это место, — продолжает спутница смущенно. — Правда, хорошо? Из сумрака сразу на свет, на простор. Я целыми часами простаивала здесь. Недаром в гимназии меня звали Кармен-Сильва, — иронически прибавила она. — Знаете, была такая румынская ко-

ролева, которая писала романы и стихи. Но я заболталась! Мы опоздаем.

Моя спутница, Соня Петровская, светловолосая девушка, сотрудница местной русской газеты. Она знакомит меня с городом. Сейчас мы направляемся в ратушу.

1

В сводчатом зале, у готического окна, в старинном резном кресле ревельских бургомистров сидит товарищ Кийдельмаа, городской голова советского Таллина.

Полгода назад он был чернорабочим. Но держится он с таким достоинством, говорит о хозяйстве своего города с таким знанием дела, как будто долгие годы занимает свой пост.

— Ну, что же вы успели здесь осмотреть?

Вопрос обращен ко мне.

— Были на Вышгороде, — говорит голова, выслушав меня. — Видели укрепления, башни. Хорошо. Старины здесь много! И заметьте, старина тут была очень живуча. Сейчас поймете, что я хочу сказать.

И голова рассказал историю одного из старинных зданий Таллина. Этот дом с гербами ганзейских городов на сером фасаде принадлежал братству Черноголовых, которое было основано, кажется, шестьсот лет назад. В доме у входа висит модель корабля. Это было грабительское, пиратское братство. Эта средневековая организация со всеми церемониями жила до тысяча девятьсот сорокового года. Еще как жила! Потомки пиратов владели рудниками, фабриками. На вечерах в доме

Черноголовых бывали министры буржуазной Эстонии. Члены братства получали привилегии от правительства. Еще бы, они усердно вели пропаганду против Советского Союза, держали связь с иностранными империалистами. Теперь братство распущено, как организация антинародная. Видите, старый город хранит не только легенды!

В новой части города единственная постройка, заслуживающая внимания, — это театр «Эстония». Он построен еще в 1913 году на общественные средства. С тех пор подобных зданий не строили. Начали было сооружать Дворец радио и за четыре года возвели только один этаж. Теперь постройка этого многоэтажного здания заканчивается.

Никогда еще не было в Таллине такого строительства.

Всего полгода с небольшим в Эстонии Советская власть, а построено много. Готовы шестьдесят домов для рабочих. Это удобные, благоустроенные дома с квартирами по три-четыре комнаты. В центре столицы выстроена большая школа. Скульптор Иоэссаар сделал для школы барельефы, изображающие радостное детство советских ребят. Строятся еще две школы и больница. Улицы окраин заливаются асфальтом. Тридцать тысяч квадратных метров новых мостовых будут проложены в нынешнем году.

Город растет. Недавно в черту Таллина включено пригородное местечко Немме. Немме считалось самостоятельным городом. В его маленьком хозяйстве нехватало средств на самое необходимое — на водопровод, на канализацию. Многие улицы оставались без воды. За электричество платили много дороже, чем в столице. Но хозяева Немме — торговцы и фабриканты — не хотели присоединения пригорода к столице, не хотели оставлять свои насиженные места в магистрате. Объединение стало возможным только при Советской власти. Теперь в Немме начаты большие работы по благоустройству.

На столе у городского головы — таблицы, цифровые отчеты. Но он почти не заглядывает в них.

Говорит о том, что в бывших особняках богачей открываются детские очаги, о том, что многосемейные рабочие переезжают из подвалов в сухие, просторные квартиры.

Эстонцы немногословны. Правда, о своем городе голова способен рассказывать мно-

го и с увлечением, но, когда разговор заходит о нем самом, он смущается и точно теряет дар речи.

— Не знаю. Да стоит ли обо мне? Если вам так нужно, побывайте на заводе «Красный Круль». Я там работал. Там много моих друзей.

Мы поднимаемся, — я и Соня, — выйдем. В приемной, на резных скамьях, окруженные тусклыми полотнами старых мастеров, сидят посетители.

— Знаете, как учились эстонские коммунисты? — говорит моя спутница. — В подпольных кружках. В каждом таком кружке было всего два человека — руководитель и слушатель. Занятия устраивались в кафе, в парке Кадриорг, на склоне вышгородского холма — в сквере. Чудесное место этот сквер, весь город как на ладони! Кто заподозрит двух мирно беседующих горожан? Правда, полицейские агенты рыскали всюду. Кружковцы старались не задерживаться на одном месте. Они то прогуливались по аллеям, то останавливались у стойки буфета, беседуя вполголоса. Некоторые наизусть передавали целые главы из книги Ленина «Государство и революция», из «Вопросов ленинизма» Сталина. Называют — потому что книга могла выдать кружковцев.

— Далеко ли «Красный Круль»?

— Нет. На шоссе в Коппли. Раньше завод принадлежал Крулю. «Красный Круль» — это должно звучать так же, как «Красный Путиловец». Знаменитый завод! В 1938 году крулевцы бастовали. Кийдельмаа мог бы рассказать об этом. Рабочие требовали прибавить пять центов в час. А директор пригласил к себе председателя стачечного комитета, предложил кофе с ликером и заявил, что он согласен прибавить. Вожди стачки получают по четыре цента, остальные рабочие — по центу, по два. Конечно, директор придумал этот фокус, для того чтобы расколоть забастовщиков. Крулевцы не поддались. Вам надо побывать на «Красном Круле». Впрочем, многих друзей Кийдельмаа вы там не застанете. Людей выдвигают. Это советское слово, я недавно узнала его. А может быть, давно. Знаете, иногда не верится, что прошло всего полгода Советской власти. Сидит в ратуше чернорабочий, и этому уже перестали удивляться. А я, вы думаете, кто? Опытная журналистка? Как бы не так! Я три месяца назад была предвизицей.

Мы на площади ратуши. Громадные омнибусы выплывают из переулков, проносятся маленькие легковые машины, распространяя терпкий запах сланцевого бензина. Девушка рассказывает о себе.

— Мы давно ждали этого. Дома, в Петсери, было радио. Как жадно мы слушали Москву! Петсери совсем близко от границы. Мы с отцом включали приемник и думали, что вот там, за лесом, за канавкой, идет другая жизнь — манящая и недоступная. Слушать Советский Союз строго запрещалось. Говорили, что в Москве по радио выступает Ваня Бармин. Ваня Бармин бежал через границу. Долго о нем не было никаких известий. И вдруг петсерцы заговорили в один голос: Ваня в Москве стал певцом. У парня, говорят, действительно были способности. Правда, я сама не слышала его по радио. Но мы все верили, что это так. Хотели верить, понимаете? Я тогда училась в гимназии. Сочинения писала всегда на высшую отметку, учителя считали, что мне нужно заняться литературной работой. Но где тут! Я завидовала Ване Бармину, сказочному счастливцу. Досадно было, что я не родилась мальчиком, — тоже бежала бы через границу. Девочке как-то неудобно. Вот какие у нас были мечты!

— Как вы попали в редакцию?

— Вышло все удивительно просто. Я работала продавщицей. Магазин национализировали. Явился к нам комиссар. Он услышал о моих литературных стремлениях. «Нет смысла тебе за прилавком стоять», — сказал комиссар. Я сначала испугалась, подумала, что меня хотят уволить. «В Таллине, в редакции «Советской Эстонии», наверно, нужны сотрудники. Поезжай-ка!» Я вспомнила судьбу Вани Бармина и поехала. Приняли. Поработала месяца два в отделе писем регистратором, потом перевели в литсотрудники.

Извилистая улица Пикк привела к большому серому дому. Здесь редакция. Чистенькие комнаты, стук машинок. Худощавый юноша принимает по телефону итоги дневной выработки на Балтийской мануфактуре. Он просит повторить фамилию стахановки. Биркенфельд? Да, Биркенфельд.

— Спасибо!

Юноша вешает трубку и бежит мимо нас в комнату машинисток.

Девушка говорит:

— Мой будущий муж. Я уж все вам расскажу. Он тоже из Петсери. Мы давно знакомы. Тоже журналист. Приехал и поступил в редакцию вслед за мной. Выходит, устроились и на работе и, так сказать, в личной жизни. В следующую субботу мы созовем гостей. Приходите. Хорошо?

2

На другой день я поехал на завод «Красный Круль». Действительно, из близких друзей городского головы Кийдельмаа на производстве осталось немного.

Сорок крулевцев, прошедших школу партийного подполья, работают директорами национализированных предприятий и на других ответственных постах. Синимаа, например, — директор крупного завода б. Тоффер, Иванов — начальник отдела кадров Наркомлегла, Франц — комендант дома правительства Эстонской ССР.

На заводе много молодежи. Недавно принято больше ста новых рабочих.

Цеха «Красного Круля» радуют глаз чистотой и порядком. Характерная подробность: количество административного персонала здесь сведено до минимума. В литейном цеху, например, на сто шестьдесят рабочих всего семь служащих: инженер, четыре мастера и два конторщика. Между тем, объем производства сильно вырос.

Завод, носивший печать кустарного универсализма, теперь специализируется на машиностроении. В заказах недостатка нет. Нужно делать машины для новых фосфоритных рудников в Мярду, для развивающихся разработок сланца в Кохтляярве. Заказы идут из Москвы, из Киева, из Ленинграда. Для РСФСР нужно приготовить пять километров радиаторных труб. Завод не знал таких крупных заказов раньше. Многие сомневались, справится ли литейный цех. Литейщики подумали и заявили, что справятся.

При Круле один формовщик обслуживал 12 стоек с формами, теперь — 14.

При Круле токарь Варм делал в час 1 эксцентрик, теперь — 3.

При Круле слесарь Синимаа выпиливал в час 3 изоляционных кирпича, теперь — 120.

Скромность — национальная черта эстонцев. Руководители завода говорят, что стахановцев в цехах нет. Пока, дескать, только ударники. Излишняя скромность!

Уже сейчас есть образцы нового, творческого, подлинно стахановского отношения к работе. Ведь слесарь Синимаа, о котором мы только что говорили, повысил выработку путем рационализации. Раньше, при Круле, эта рационализация не приходила в голову. Синимаа вообще не думал о том, чтобы улучшить производство. Кто думал об этом? Теперь другое дело. Синимаа работает на своем заводе.

Однажды бумажная фабрика в Кохила прислала срочный заказ. Поломалась ответственная деталь машины. Авария грозила остановкой целого цеха. Прежде такие детали выработывались за границей. Теперь же оказалось, что эта работа заводу по силам. Группа стахановцев сконструировала приспособление к станку, и деталь была выточена.

На заводе, в учреждениях — всюду видна огромная воля, с которой трудящиеся взяли в свои руки свою индустрию, свои города, свою страну.

3

Снова центр.

Узкие, тесные улицы, крупные золоченые буквы вывесок, всепроникающий запах сланцевого бензина. На улице Виру встречаю Петровскую. У нее новость:

— Мне заказали очерк. Это в первый раз. Да, большой очерк о рабочей семье. Я уже была утром. Иду опять. Идемте вместе! Вам будет интересно. Это недалеко, на бульваре Эстония. Против театра.

Улица Виру выводит в новую часть города. Посреди большой площади — театр, подле него — оживленный городок базарных тентов и ларьков. Одна сторона площади обсажена деревьями. Это и есть бульвар Эстония, раньше принадлежавший к аристократическим кварталам столицы. В той же квартире, в которую мы идем, жил сын спичечного фабриканта. Вернее, жила его собака и при ней слуга. Сам хозяин почти целый год проводил в Ницце и Монте-Карло.

Говорят, собака была очень редкой: не то китайской, не то японской породы. И будто бы ела она фрукты и сырые яйца. Судьба этого примечательного животного неизвестна. Что же касается хозяина, то он, по слухам, так и остался в Монте-Карло.

В квартире новые жильцы. Ватага ребяташек, пестрящая разноцветными руба-

шонками, шумно встречает нас в передней. Один карапуз голосит:

— Тетя Соня!

Петровская берет его на руки. Русоволосую девушку с блокнотом здесь уже знают.

— Здравствуйте, Павел Федорович! — говорит она плотному мужчине с крестьянским лицом, появившемуся в дверях комнаты. — Мы к вам. Я из газеты «Советская Эстония». А вот этот товарищ — из Ленинграда.

Мужчина улыбается.

— Спасибо! — произносит он и жмет руку девушке. Потом здоровается со мной и снова благодарит. Это немного странное приветствие. Но вскоре я узнал, что Виноградин готов благодарить каждого советского работника. Да, каждого человека, работающего в советском учреждении, он считает своим другом и доброжелателем.

История его такова.

Родом он из русской деревни. В Восточной Эстонии у него была ветхая хибарка — такая хибарка, что стены приходилось подпирать колыями. Был у Виноградина гектар песчаной земли. Один гектар на семь голодных ртов! Собственно, Виноградин должен был получить еще два гектара по суду у барона, который незаконно захватил землю бедняка. Виноградин долго ходил по судам, но земли не добыл. Судьи неизменно стояли на стороне захватчика. Еще бы, он давал жирные взятки, посылал окорока, сотовый мед!

Виноградину очень не хотелось оставлять деревню. Он любит деревню. Каждую весну его тянет к плугу. Но плуг продали. На что плуг в безлошадном хозяйстве? Один выход — отправиться на поклон к тому же барону, просить подмоги у него, виновника всех бед Виноградина.

Виноградин не пошел. Послал жену. Она вернулась и передала, что богатч согласен помочь. Даст и лошадь и орудия. Обойдется в 80 крон.

Таких денег Виноградин и не видел. Волей-неволей заколотил хибарку, продал последнее и двинулся в город. То было в канун Нового, 1940, года, в жестокую стужу. Целый день Виноградин бродил по столице в поисках комнаты. Домовладельцы смотрели на его рваный полушубок, узнавали, что у Виноградина четверо ребят, и отказывали.

На перекрестках Виноградин боязливо

озирался, нет ли поблизости полицейского. Днем они чуть не поймали его. Один раз Виноградин спрятался за сугроб в парке Кадриорг, другой раз нашел убежище в часовне. Виноградин — безработный и бездомный, в этом его вина. Таких, как Виноградин, не должно быть в столице, этого не хотел господин президент. Президент нашел радикальный метод борьбы с безработицей. Односельчане Виноградина, прибывшие вместе с ним, были тотчас схвачены и высланы на родину.

Виноградин, поминутно оглядываясь, шел по окраинному переулку. Объявление, прибитое к стене дома, извещало, что здесь сдается подвал. Виноградин позвонил. Вышел человек с салфеткой на шее и спросил:

— Семейный?

— Да.

— Сколько детей?

— Четверо.

— Видишь ли, братец, я семейных не принимаю. Ну, уж ради Нового года!

Виноградин поклонился.

Так сегодня Новый год! Виноградин только сейчас вспомнил об этом. Что же, он встретит праздник в тепле. И то хорошо! В тот же вечер Виноградин привел жену и детей, остановившихся у знакомых, и семья устроилась на новой квартире. В маленькой подвальной комнате были стол и узкая койка без матраца. Стол отодвинули в угол. При этом раздался хруст — в углу был лед. На сыром полу растянули одеяло, привезенное из деревни, и улеглись вповалку.

Кусок штукатурки упал с потолка. Наверху плясали. У домовладельца собрались гости. Мария Виноградина тронула руку мужа и сказала:

— С Новым годом, Павел!

Муж не ответил. Он уснул, как только голова его коснулась куртки, скатанной вместо подушки. Мария не стала его будить. Муж должен был встать рано и идти на поиски работы. В ту новогоднюю ночь Мария хотела, чтобы муж не проспал, чтобы он вышел раньше всех.

Прошел год.

Все переменилось в этом удивительном году. Безработица, сырой подвал — все это ушло из жизни Павла Виноградина и его семьи. Накануне Нового, 1941, года он переехал сюда — на бульвар Эстония. Павел хорошо встретил праздник. Собрались товарищи по работе. Гулко раздава-

лись веселые голоса в просторных комнатах.

Виноградин работает на товарной станции. Нашлось место и жене, которая прежде и не искала места — знала, что бесполезно. Мария поступила на ситцевую фабрику и зарабатывает не меньше мужа. Впервые в жизни Виноградины приобрели мебель: комод, кровати, стулья. Это для начала. Ребята, давно не видевшие обнорек, одеты и обуты. В прошлую пятницу купили Ване рубашку, в прошлую среду — платье Шуре. Эти покупки — событие для него. С сияющим видом Виноградин сообщает:

— В воскресенье был в кино!

Я спрашиваю:

— Первый раз?

— Да, первый.

Оказывается, Виноградин недавно решился поехать на трамвае. До сих пор экономил.

— Газеты читаете?

— Да, начал помалу.

Сегодня Виноградин ходит в кино, ездит в трамвае. Завтра он сядет за книгу. Он с сожалением говорит, что учиться в детстве почти не удавалось, нужно наверстать.

Соня спрашивает:

— В деревню вас не тянет?

— Иной раз тянет, все-ж-таки, — отвечает Виноградин, — я коренной пахарь. Как усидеть весной в городе? Письмо я получил из деревни. Пишут, что спорную землю, из-за которой судился я, можно получить. Хотя хлопотать из-за этого клочка не стоит, беднякам и так дают землю. Пишут, что дадут и мне, если я приеду. И пишут еще, что в селе кино показывают. Вот как! И у нас кино!

— Как же решили?

— Не поеду. Работы не брошу. Читал я в газете, — говорит Виноградин задумчиво, — что товарищ Сталин просит колхозников помочь городу, дать рабочих. Сколько же? Забыл. Что-то много надо, миллионы. Я хотя не колхозник, но все равно, я уж останусь.

Таллинский искусствовед Юлий Генс показывал мне свое обширное собрание гравюр и книг. Роясь в своих сокровищах, он называет имена местных художников. Советует посмотреть работы Айно Бах,

которая занимает видное место среди графиков Эстонии. Генс протянул мне книжку:

— Нашел. Вот она!

Диковинная книжка. На каком языке она? Не на эстонском, хотя издана в Таллине. На венгерском? Нет. На греческом? Нет, тоже не похоже. Генс смеется и приходит мне на помощь. На цыганском, оказывается.

— Жил здесь богатый адвокат, — рассказывает он, — большой любитель цыганщины. Так вот однажды этот адвокат отправился куда-то в Румынию, записал там несколько таверных легенд и решил их издать. Сам придумал для своего издания алфавит. Художнице Айно Бах, о которой вам рассказывал, посчастливилось получить заказ на иллюстрации. Вышло это произведение в нескольких экземплярах. Конечно, никто, кроме самого издателя, прочесть книжку не мог. Да-с! Впрочем, ничего удивительного тут нет. Наоборот! Я должен вам сказать, что эта история очень характерна для прежней жизни.

Рисунки Айно Бах действительно хороши. Сделаны в манере, как нельзя более подходящей для сказочного содержания книги. На темном фоне эфемерные, полупрозрачные фигуры людей, животных. Они как бы рождены темнотой и вот снова будут поглощены ею. Чтобы так нарисовать, требуется большое, горячее воображение, большая непосредственность, острое техническое мастерство.

К сожалению, это единственная книга, которую иллюстрировала талантливая художница.

Получить заказ на иллюстрацию книги было редким счастьем для эстонского художника. Книг издавалось мало. Даже крупные писатели вынуждены были выпускать свои произведения сами, на собственные средства.

Художники сами гравировали и печатали свои рисунки, сами продавали их любителям. Конечно, эти произведения не шли дальше Таллина или Тарту.

Бедность материальная и духовный гнет давили мастеров искусства. Многие из них стремились вырваться из рамок узкого мирка и пробить себе путь к народу. Об этом всю жизнь мечтал Христиан Рауд, один из лучших графиков Эстонии, недавно отпраздновавший свое семидесятипятилетие. Темы его рисунков национальны. Спокойные, контрастные тона, спокой-

ные, строгие и сильно проведенные линии отличают его стиль. Особенно интересны иллюстрации Рауда к эстонскому эпосу «Калевипоэг». В поэме действуют суровые силачи, родственные героям финских и скандинавских рун. Поэма прославляет мужественную борьбу и труд. Художник прекрасно выразил эту идею. Мы видим Калевипоэга, воссозданного рукой художника, рослого, ладно скроенного эстонца. Он пашет землю. Он возвращается с охоты, таща на спине узел с сотнями медведей, волков и лисиц. Он плывет через море в страну Суоми, чтобы наказать злого колдуна. Снаряжаясь для боя, богатырь неуклюже сует в ножны свой волшебный меч. Рауд глубоко реалистичен. Легендарный Калевипоэг предстает как воплощение живой идеи, как сын живого эстонского народа, энергичного, трудолюбивого, стойкого.

Одно из виднейших мест в художественном мире республики принадлежит Эдуарду Вийральту.

Буржуазные критики пытались причислить его к лагерю мракобесов. Вийральта именovali «выдающимся представителем средневековья в современной графике». Художник издевался над близорукими рецензентами. Он шел своим путем.

Правда, среди его работ есть рисунок под названием «Ад». По теме он как будто сближает Вийральта с западноевропейскими упадочниками, апологетами инквизиции, монашества. Но нужно пристальнее всмотреться в рисунок, чтобы понять добродушный, иронический юмор, с которым изображены персонажи ада. Нет, конечно же, вольнодумец, отнюдь не мракобес, нарисовал такой ад! Смотреть на него скорее весело, чем страшно. И в то же время зритель отдает себе отчет в огромной изобретательности художника. Сколько их тут, пугающих, корчащихся рож? Десяток? Нет, при ближайшем рассмотрении их оказывается с полсотни. Вы поднесите рисунок ближе. Да их тут целая сотня! Может быть, и две. То, что издали принимаешь за глаз, на самом деле лицо; уголок губы становится чьим-то носом; каждая крупная фигура состоит, оказывается, из многих мелких.

Быть может, найдутся критики, которые поспешат приклеить Вийральту ярлык формализма. Это было бы так же опрометчиво, как обвинять художника в мракобесии. Вийральт — реалист. Напрасно бур-

жуазные рецензенты тянули его в мир нереального.

В маленькой Эстонии было голодно, тоскливо. Вийральт уехал за границу. В Париже он иллюстрировал пушкинскую «Гаврииладу». Тонкая насмешка над мракобесием, выраженная в «Аде», здесь видна еще яснее. Затем художник оставил книжные темы. Гонимый жаждой непосредственных жизненных впечатлений, жаждой живой природы, он направился в Марокко.

Серия марокканских зарисовок показывает, как прочно утвердился художник на плодотворной почве реализма. С неподражаемым мастерством нарисована марокканская женщина — покорное, забитое существо с печатью постоянного испуга на маленьком, почти детском личике. Вот курильщик опиума. Впрочем, можно не смотреть на название картины. Ошибиться все равно нельзя. Не сонливость, не усталость исказили черты человека. Именно опьянение опиумом, состояние, не похожее ни на какое другое, подмечено, передано художником.

Кочуя с мольбертом по марокканским селениям, Вийральт часто обращался мыслью к далекой Эстонии.

Часто среди горячих песков мечтал он о проходе родных мест. И не только об этом. Вийральт — сын эстонского крестьянина. Он вырос в деревне. Он любит северную, эстонскую деревню, ее людей. По неволе он оторвался от своего народа. Ведь если бы не нужда, разве художник покинул бы родину на столько лет?

5

Я видел Вийральта.

С любопытством поздоровался я с высоким краснощеким человеком, которого знал до сих пор лишь по его рисункам да по рассказам знакомых.

Мне говорили, что о молчаливости Вийральта в Париже ходили анекдоты. Будто бы художник жил полгода у писателя Моруа и за все время не сказал ему ни одного слова. Вийральт молчал, когда Моруа сообщал ему об успехе марокканских зарисовок. Моруа показывал ему рецензии во французских газетах, — Вийральт молчал и временами иронически улыбался.

В последнее время художник переменился. Новость облетела всю интеллигенцию Таллина. Вийральт перестал молчать.

При мне в кругу друзей Вийральт, тихо и немного смущаясь, говорил о своих планах. Он говорил, что Советская власть вернула его к родному эстонскому народу. Как только сойдет снег и дни станут длинными и светлыми, художник возьмет мольберт и поедет в деревню. Там есть что делать Вийральту. Он будет рисовать людей, будет изображать их новые чувства и дела. В Марокко он исходил сотни километров, побывал в десятках селений и всюду видел рабские, отмеченные нищетой лица. Теперь он будет изображать радостные чувства творческого, свободного труда. Родному народу он отдаст свое мастерство.

Об этом мечтали и Христиан Рауд и Айно Бах, все передовые мастера искусства. Айно Бах, кстати, приглашена в качестве педагога в художественную школу, которая значительно расширена. Растет книжная продукция Государственного издательства. Явилась работа — работа, нужная народу и потому захватывающе интересная.

Адамсону-Эрику, видному живописцу, отвели новую мастерскую в центре города. Мастерская на пятом этаже, в светлой комнате, смотрящая окнами поверх путаницы остроконечных крыш и башен Таллина. Хозяин еще не успел устроиться, когда я посетил его, — картины стояли на полу, прислоненные к стенам, пахло свежей штукатуркой. Адамсон-Эрик брал картины, одну за другой, ставил их на стулья, на подоконник. На одном полотне — горная долина. Художник спрашивает:

— Унаёте?

— Что это?

— Крым. Неужели не были?

Несколько лет назад художник совершил поездку по Советскому Союзу. Он завидовал советским художникам: у них такая чудесная страна, такая просторная, так много работы и так много разнообразной природы!

— А теперь я сам советский художник, — говорит он, улыбаясь. — Да, мы недавно организовали союз советских художников Эстонии. Крым, Кавказ — это все теперь наше. Правда? Ах, как там хорошо!

Адамсон-Эрик — талантливый пейзажист. Ему прекрасно удалось и виды балтийского побережья, песчаные ландшафты Петсерского уезда, леса и поляны родного края. На фоне побережья Балтики художник

изобразил товарища Сталина. Это удачная, глубокая по замыслу работа. Художник выразил в ней торжество сталинских идей в странах Прибалтики.

Сейчас эта картина находится в Москве, в Музее народов СССР. Там же помещены образцы работ на коже, выполненных Адамсоном-Эриком. Резьба и тиснение по коже — национальное искусство эстонцев. Художник сделал переплет для Конституции Эстонской ССР и ряд других вещей.

Вот еще новость. Правительство Эстонской ССР предложило художникам и скульпторам оформить новые школы, детские очаги, клубы, Таллинский вокзал, Дом рабочих в Тарту. Десятки мастеров откликнулись на это предложение.

Сделано много панно, барельефов. Они все на выставке.

Выставка интересна. Обращает на себя внимание работа живописца Грейберга. Это громадное панно для Общегородского профсоюзного клуба. Тема — труд, свободный труд советских людей. Вся трудовая Эстония отображена на этом грандиозном полотне. Все профессии представлены здесь. Вот рыбак в знойдвестке — рослый рыбак, обитатель острова Vormsi. Вот шахтер, работающий на сланцевых рудниках Кивиели. Работница текстильной фабрики управляет челнок. Токарь у станка. А вдали леса строящегося здания. Каменщики укладывают кирпичи, плотники строгают бревна. Тема труда, — одна из основных тем древнего эпоса эстов, излюбленная тема эстонского народа, — вновь воплощается кистью художника социалистической эпохи.

6

Я видел писателя Семпера. Он заместитель народного комиссара просвещения. В комиссариате много дела. Открываются новые школы, реорганизуется преподавание. Семпер страшно занят, но не оставил пера. Сейчас так хочется писать, как никогда.

Несколько лет назад вышел роман Семпера «Камень на камень». Герой романа — молодой архитектор Хурт. Он живет в провинциальном городке. Его окружают невежественные люди с отсталыми, узкими взглядами, люди, не понимающие настоящего искусства. Хурт борется с ними, но терпит неудачу.

Этот роман казался Семперу закончен-

ным. Но теперь жизнь, — новая советская жизнь, — подсказала писателю продолжение. Тысячи таких, как Хурт, возродились к творческой жизни. Семпер пишет вторую книгу романа.

Семпер занимается переводческой работой. Прежние эстонские правители старались отгородить страну от русской культуры. В результате, эстонец не может прочесть на родном языке «Войну и мир», «Горе от ума». Очень многие классические произведения русской литературы ему известны либо в хрестоматийных отрывках, печатавшихся до 1917 года, либо вовсе неизвестны.

Этот пробел нужно восполнить. Готовятся к печати объемистые сборники русской поэзии. Семпер переводит стихи и редактирует. Выпускаются книги Льва Толстого, Гоголя, Пушкина, Салтыкова-Щедрина, Гончарова.

Впервые на эстонском языке появляются многие произведения западноевропейских классиков — Шекспира, Мольера, Теккерея. Семпер с горечью говорит о низком уровне культуры в буржуазной Эстонии. Световая реклама на фронте средневекового здания — вот что представляла собой хваленая «цивилизация». Молодежь считала величайшим писателем Уэллеса, автора уголовных романов. Да, предстоит большая работа! Нужна серьезная борьба против этого невежества, наряженного в западноевропейские одежды двадцатого века.

Мы говорим с Семпером о темах, ожидающих писателя. Теперь можно будет в художественной форме рассказать народу о его героях, о славных борцах за свободу Эстонии — о Викторе Кингисепе, о боевой подруге его — Юлиане Тельман.

Несколько лет назад писатель Кернер осмелился написать роман, в котором, — в очень осторожном, завуалированном виде, — описывалась подпольная работа эстонских коммунистов. Роман был конфискован, автор подвергся преследованиям. Скоро выйдет новая книга Кернера — «Зарево над городом». Герой ее — крестьянский парень, который уезжает в город на заработки, поступает на завод и воспитывается в пролетарской среде. Выходит в свет новый сборник стихов Барбаруса, новая книга известного романиста Туглааса, словом — много, много новых книг на новые темы.

Я прощаюсь с Семпером поздно ночью.

Но свет еще долго будет гореть в его кабинете. Он еще хочет писать.

Только теперь развертываются во всю силу творческие способности народа. В этом убеждаешься всюду: на заводе, в мастерской художника, в киностудии, где впервые начинают ломать рамки короткометражной хроники, в театре, где уже ставятся пьесы нашей советской эпохи.

Антс Лаутер, один из лучших актеров Эстонии, рассказал мне, как горячо встретила публика новый репертуар — «Вассу Железнову», оперу «Тихий Дон».

Небольшая оперная труппа подготовила еще в этом сезоне «Пиковую даму», «Майскую ночь», «Кармен». Композитор Ойя заканчивает оперу «Клятва». Время действия — 1905 год. В основе сюжета — эпизоды борьбы прибалтийских крестьян против баронов. Обновляется репертуар драмы, оперетты. Благодарную тему для своей новой музыкальной комедии выбрал композитор Прийт. Называется она «Дочь рыбака». Героиня — девушка с острова Сааремаа. Подобно многим эстонским крестьянам, подобно Павлу Виноградину, она отправляется на поиски работы в столицу. Таллин становится советским. В советском городе дочь рыбака находит место. Она становится знатным человеком столицы.

7

Слушая мой рассказ о таллинских впечатлениях, Юлиана Тельман спокойно повторяет:

— Да, да! Так и должно быть.

И Юлиана, — который раз уже за время нашей беседы, — вспоминает Кингисеппа, конспиративную квартиру на улице Кару. Нет в живых Кингисеппа. Но он из мрачного, исхлестанного жандармской плетью 1922 года видел советское сегодня.

На улице Кару была прачечная. За прачечной — крохотная комната. Вход в нее был искусно замаскирован руками Юлианы. Там и поселился Кингисепп. Комнатушка его тстчас стала большевистским штабом. В ней собирались руководители подпольных организаций. Все сидели на полу, потому что для мебели места не хватало.

Кингисепп сидел обыкновенно возле железной печки на корточках. Он курил трубку, аккуратно выпускал дым в дверцу. Он никогда не сбрасывал пепел на пол, обя-

зательно за дверцу. Говорил он неторопливо, спокойно.

Под конец совещания Кингисепп раздавал товарищам пачки прокламаций, пахнувших типографской краской. Простыми словами говорили они о будущем. Печатались прокламации в том же доме, в подвале. Люк вел из комнаты в типографию. Здесь работала Юлиана Тельман. Дни проходили в напряженной работе. Здесь же, на улице Кару, Юлиана вместе с Кингисеппом встретила Первомайский праздник.

В комнате было холодно и сыро. Кингисепп был нездоров, но бодрился.

— Смотри, Юлиана, — сказал он, глядя в окно, — сколько флагов!

— Где, где?

Юлиана кинулась к окну. Но улица была пустынна. Блестели камни мостовой, мокрые от дождя. Вдали маячил полицейский в резиновом плаще.

— А я вижу! — упрямо сказал Кингисепп. — Смотри, Юлиана, в завтрашнее!

Большевик Кингисепп передал Юлиане дар прозрения. Иначе разве могла бы она с таким мужеством переносить тяжесть и опасность подпольной работы? Разве не твердая уверенность в будущем поддержала ее силы в ту весну 1922 года, когда палачи расстреляли Кингисеппа и многих его друзей и силы реакции, казалось, торжествовали победу? Юлиана не теряла этой уверенности и в тюрьме.

С бьющимся сердцем прислушивалась она к глухим ударам, сыпавшимся снаружи в тюремную стену. Удары означали, что товарищ сдержал свое слово. То был один из заключенных, отбывший свой срок. Перед выходом из тюрьмы он обещал вызволить из-под замка Юлиану. Как вызволить? Рядом с тюрьмой строилось здание. Смелчак поднялся на леса и оттуда медленно, ночь за ночью, долбил стену. Наконец, — этот миг навсегда остался в памяти Юлианы, — черная трещина прошла по стене, и на пол свалился кусочек штукатурки. Еще немного — и через отверстие в камеру глянул дневной свет.

Воля!

Конечно, не только для себя хотела воли Юлиана. Строго говоря, и за стеной тюрьмы не было воли.

Выход из тюрьмы означал для Юлианы одно — работать в партии, готовить освобождение для всего народа. Юлиана вышла в пролом, и с нею вместе пять подруг-подпольщиц.

Куда теперь? Юлиана припомнила знакомые адреса, явки. Но оказалось, что подпольная организация разгромлена. По пятам за Юлианой охотились сыщики. Тогда Юлиана решила уехать на время из Эстонии.

Поздно вечером она вышла из каменных теснин старого города. Приземистые ворота с львами Таллина над аркой вывели ее на набережную. Впереди, во мраке, мерцали рейдовые огни, угадывался простор моря. На пристани Юлиану ожидал катер контрабандиста, согласившегося переправить революционерку в Советский Союз.

Юлиана спустилась по скрипучим ступеням. Под тенью мола покачивался на волнах катерок-скорлупка. И вдруг три тени поднялись навстречу Юлиане. Блеснула сталь револьвера.

— Руки вверх!

Снова тюрьма. Тельман провела в ней, в общей сложности, шестнадцать лет. Однако и здесь она продолжала борьбу. Из тюрьмы, под угрозой жестоких истязаний, она вела переписку с подпольщиками. Издавала на листках папиросной бумаги тюремную газету. Огромная выдержка нужна была для этого. Один раз, один только раз с Юлианой случилась истерика. Она стыдится вспоминать об этом. Минутная слабость!

Мы беседуем с Юлианой Тельман в Центральном Комитете комсомола, нарядном здании, расцвеченном знаменами и лозунгами. На столе груда писем, адресован-

ных Юлиане Тельман, депутату Верховного Совета Советского Союза.

Одно письмо — от крестьянки Марко, живущей в окрестностях Виру. Марко тяжело больна — паралич приковал ее к постели. Она мечтает увидеть Юлиану Тельман, услышать ее голос. Может ли она надеяться, что Юлиана как-нибудь по дороге в Виру заедет к ней?

Юлиана часто ездит по республике. Желание больной крестьянки исполнилось. Юлиана заехала к ней, рассказала о себе, пообещала выписать для Марко газеты. Обещание, конечно, выполнено.

Юлиана хорошо справляется с множеством нахлынувших на нее дел: в Центральном Комитете комсомола, в правительстве молодой республики.

И попрежнему находит она время, для того чтобы выступать перед избирателями в Таллине, в Виру, в Вильянди, в Пернове. Эту сухонькую, сероглазую женщину с плотно сжатыми губами, боевую подругу Кингисеппа, всюду, — по всей Эстонии, — встречают как вестника новой жизни.

Она говорит о прошлом, о героической работе эстонских коммунистов. Говорит о сегодняшнем расцвете творческих сил в свободной стране.

— Видите, — говорит она, — партия Ленина—Сталина не ошибается!

И эстонцы, сдержанные, хладнокровные эстонцы, отвечают шумными рукоплесканиями.

А. Бен

СТАЛЬ И НЕЖНОСТЬ

(ПОЭЗИЯ ПАВЛА ТЫЧИНЫ)

I

Невозможно представить себе дореволюционную украинскую поэзию без Тараса Шевченко. Нельзя говорить о современной украинской поэзии, обходя молчанием творчество Павла Тычины.

Шевченко и Тычина... Сближение этих имен не случайно. Недаром Павло Тычина избран в Верховный Совет УССР трудящимися Каневского избирательного округа. Ведь здесь, в Каневе, находится могила Шевченко... Посылая своим депутатом в Верховный Совет Павла Григорьевича Тычину, избиратели Каневщины дали тем самым высокую оценку его творчеству, выразили любовь и доверие украинского народа к своему поэту.

У Тараса Шевченко, как и у других великих поэтов, всегда было много подражателей. Они усердно занимались перепевами отдельных мотивов его поэзии, но в их сереньких стихах не было — да и не могло быть — ни пламенного шевченковского гнева против врагов трудового народа, ни беззаветной сыновней любви к родине. Узость, «хуторянская» ограниченность интересов, совершенно не свойственная Шевченко, — характерная черта этой эпигонской поэзии.

Можно, таким образом, старательно «подражать» большому поэту, рабски копировать некоторые внешние особенности его стихов, клясться его именем и оставаться в то же время глубоко чуждым ему по духу. Можно, однако, работая по-своему, прокладывая в поэзии новые пути, быть в то же время продолжателем лучших традиций классической поэзии, связанных с именем того или иного великого поэта. Именно этим путем, который под силу немногим, идет Павло Тычина.

II

Первым заметившим Павла Тычину и угадавшим в начинающем, никому в то время не известном поэте яркое, оригинальное дарование, был замечательный украинский писатель Михайло Коцюбинский. Встречи с любимым писателем, личное общение с ним сыграли большую роль в формировании Тычины как поэта. Со стихами талантливого черниговского юноши Коцюбинский, находясь на Капри, познакомил Максима Горького. Об этом вспоминает Горький в письме П. Г. Тычине от 10 августа 1927 года:¹

«Знаю я Вас давно, мне много и нежно — как он изумительно умел говорить о людях — рассказывал о Вас М. М. Коцюбинский, читая некоторые Ваши стихи».

Несмотря на то, что отдельные стихотворения молодого поэта появились в печати (при содействии Коцюбинского) еще в 1911—1912 годах, первая книжка стихов Тычины вышла в свет лишь в 1918 году. В «Солнечных кларнетах» нет ученических, незрелых стихов — это книга настоящего, большого поэта.

Название сборника правильно отражает отличительную особенность поэзии Тычины, — в ней много музыки и солнца. В стихах первой книги «звенит-смеется» ясный летний день, «ветры на арфе играют», «Днепр трогает струны», «звучит земля, как орган»... Радостью жизни, любовью к родной земле проникнуты стихи Тычины.

Но в многокрасочном и полновзвучном мире, куда вводит читателя автор «Солнечных кларнетов», не все благополучно. Вот по голубой степи

¹ Письмо впервые было опубликовано в киевской газете «Вісті», № 221 (5111) от 24 сентября 1937 г.

проносится «вороний вітер» — черный ветер смерти и разрушения. Падает, раскинув руки, голодный ребенок, скошенный вражеской пулей. На безлюдном поле чернеет во ржи чей-то труп. Не долгожданный живительный дождь, а кровь орошает жаждущую землю...

Страдания трудового народа Украины, терзаемого врагами, острой болью отзываются в сердце поэта:

...Стоїть сто-розтерзаний Київ,
і двіста розп'ятий я, —

пишет он в своей книге «Плуг» (1920 г.), куда вошли стихотворения преимущественно 1918—1919 годов. И все же в стихах поэта нет отчаяния, безнадежности, — велики силы народа, и окончательная победа его уже неотвратима.

Могучее дыхание побеждающей революции ясно слышится в стихах этих лет. Расстреляны за селом восставшие крестьяне-бедняки, но вот уже летит на врагов конный партизанский отряд. Гибнет в бою овеянный славой революционер, но в освобожденный от белых город уже входят повстанцы, а с ними, как организующая и направляющая сила, идут коммунисты, идут рабочие.

В стихотворении, открывающем сборник «Ветер с Украины» (1924), Тычина приветствует неудержимый, сметающий все преграды ветер революции, живительное дыхание которого проносится над всей землей.

Искусно пользуясь бессмертными образами «Слова о полку Игореве», наполняя эти образы новым содержанием, поэт создает талантливое и оригинальное произведение «Плач Ярославны», о победе рабочего класса над врагами народа.

Непримиримой ненавистью к злым и лицемерным врагам, вызывающим у Тычины чувство физического омерзения, проникнуто стихотворение «Ответ землякам» — достойная отповедь желтоблагитным предателям родины, тщетно пытавшимся перетянуть поэта на свою сторону.

Горячо любя свою землю, свой народ, Павло Тычина в то же время выступает как подлинный пролетарский интернационалист. «Через головы племен» поэт протягивает руку передовым писателям-борцам — Барбюсу и Роллану (см. стихотворение «Нет, не стерплю, оглянусь», написанное в 1921 году).

Всенародную популярность завоевал Павло Тычина своим сборником «Партия ведет» (1934). В одноименном стихотворении с большой художественной силой и предельной простотой запечатлены мысли и чувства народа, его безграничное доверие и любовь к великой партии Ленина — Сталина.

Напористой силой, боевого задора исполнено

стихотворение «Комсомолия». Убийственной насмешкой над врагами звучат эти стихи:

А свиней, что сунутся,
всякое там сбродие,
истребим всех дочиста,
черное отродие, —
хрюкай,
не хрюкай,
ваше благородие.

Много еще дела нам!
Мы не любим хилости!
Вон, смотри, заядые
лезут тупорылости.
Г а д ы!
Пошады?
Никакой вам милости!

(Перевод Михаила Фромана)

III

Особое внимание уделяет Тычина теме сталинской дружбы народов. В «Песне молодости» автор с большой художественной силой отражает всенародную уверенность в нерушимости этой дружбы, неоднократно испытанной в совместной борьбе против общих врагов.

Стремясь как можно глубже, ярче и полнее воплотить в своей поэзии тему дружбы народов нашей страны, поэт обращается не только к настоящему, но и к прошлому, где находит замечательные примеры тесного творческого общения лучших людей этих народов. Так, немало ярких, запоминающихся строк посвящает он изображению дружбы Горького с Коцюбинским, раскрытию глубокого ее смысла (см. стихотворения «Как мы писали письмо М. Коцюбинскому» и «Горький»). Необходимо также указать на интересный отрывок из еще не законченной автором поэмы о Шевченко и Чернышевском, идейная близость которых и глубокое уважение друг к другу общеизвестны.

Дружба украинского и грузинского народов, расцвет которой мы теперь наблюдаем, уходит своими корнями в далекое прошлое. В книге «Чувство единой семьи» (1938) помещено прекрасное стихотворение — «Давид Гурамишвили читает Григорию Сковороде «Витязя в тигровой шкуре». В стихотворении этом убедительно показано, как под влиянием замечательного грузинского поэта XVIII века Давида Гурамишвили и гениального произведения Шота Руставели в мировоззрении украинского поэта-философа Григория Сковороды происходит перелом: Сковорода осознает неправильность своего бегства от жизни и необходимость борьбы против социальной несправедливости. Особую оригинальность и своеобразие придает этому стихотворению умелое использование

Тычиной отдельных грузинских фраз, перевод которых дается здесь же, в стихотворном тексте.

Поэзия Тычины отличается редким богатством и разнообразием тематики. Возьмем книгу «Чувство единой семьи». Кроме уже упомянутых произведений, мы здесь найдем радостный гимн в честь Сталинской Конституции, яркие, взволнованные стихи об освободительной борьбе международного рабочего класса, воспоминания о встречах с Коцюбинским, песню участников восстания Уота Тайлера (XIV век),¹ обращение поэта к своим избирателям, отрывок из драмы «Конец феодала», стихотворение о советском Кавказе, главу из поэмы о Котовском и другие стихи.

При тематическом и жанровом многообразии поэзия Тычины отличается внутренней спаянностью, цельностью, единством. Что же объединяет стихи поэта?

На поставленный вопрос невозможно ответить, не указав на то основное, решающее, чем — в конечном счете — определяется все творчество Тычины. Речь идет о мировоззрении, об этом, по выражению Николая Тихонова, «внутреннем солнце поэта».

Пристальное внимание к вопросам теории свойственно Тычине в высокой степени. Десять лет назад поэт, желая как можно полнее и глубже отобразить советскую действительность, оперировал в некоторых своих стихотворениях множеством философских терминов, перелагал в стихи отдельные положения диалектики. Таково, например, стихотворение «Старая Украина измениться должна», напечатанное в книжке «Чернигов» (1931). Но такие стихи — теперь уже пройденный этап в творчестве поэта. В новых произведениях Тычины философская терминология отсутствует,¹ но глубокое проникновение в самую сущность сложных и противоречивых явлений, слияние в прекрасных поэтических образах большой мысли и сильного чувства убедительно свидетельствуют о принадлежности этих стихов выдающемуся поэту, вооруженному самым передовым мировоззрением человечества — философией марксизма-ленинизма, поэту цельному и целеустремленному. Стихи Тычины объединяет именно эта цельность, это единство авторского мировоззрения.

Остановимся в этой связи на стихотворении «Чувство единой семьи», открывающем книгу того же названия. Высококультурный советский поэт, которому доступны в оригинале лучшие произведения мировой литературы (кроме западноевропейских языков, он знает также грузинский, ар-

¹ Автор пользуется ею лишь в одном месте, где она действительно необходима: в первой главе «Сабди Котовского» в начале которой излагается интересный философский спор между двумя персонажами этой поэмы.

мянский, азербайджанский, еврейский (древний и новый) и турецкий), Тычина в этом стихотворении очень ярко и глубоко изображает самый процесс овладения незнакомым языком, говорит об отражении в языке жизни народа, его труда и борьбы, его радостей и печалей, подводя таким образом читателя к пониманию того «чувства единой семьи», благодаря которому «чужой» язык начинает восприниматься как родной. Поэт пишет:

И сам ты вдруг — как гром над кровлей,
как молниями озаренный,
как будто выпил на здоровье
из родника воды студеной.

Ой, выпил, выпил да утерся
и припадаешь снова, снова
и открываешь первородство
в глубинах языка чужого.

Его коснешься ты — все мягче,
все легче он тебе сдастся,
Хоть слово сказано иначе,
но суть в нем наша остается.

Как будто так: в руках подкова
упругая все гнется, гнется,
и разом вдруг — чужое слово
в родной язык родным ворвется!

То не язык, не просто звуки,
не слов блуждающие льдины,
в них слышен труд, и пот, и муки —
живой союз семьи единой.

В них шум лесов, цветенье поля
и волны радости народной.
В них разум класса, кровь и воля
от давних дней и по сегодня...

(Перевод Николая Брауна)

О ясности и стройности мировоззрения Тычины, о глубокой идейности его поэзии не менее ярко и убедительно свидетельствуют и многие другие стихи. О чем бы Тычина ни писал, он всегда остается самим собой — большим советским художником, исполненным постоянного творческого беспокойства, то нежным, то суровым, глубоко искренним в любви и в ненависти.

Гнев против врагов трудового народа много лет слышится в стихах Тычины. Вспомним хотя бы его давний «Ответ землякам». Однако в стихах последних книг этот справедливый гнев звучит с особенно грозной силой, его направленность еще более четка и определена. Поэт говорит от имени всего могучего советского народа.

Он ощущает тему политическую, тему родины как свою личную, кровно близкую и, по-своему продолжая боевые традиции Маяковского, живо откликается на волнующие события нашей действительности.

Впрочем, сущность поэзии Тычины наиболее четко охарактеризована самим поэтом: последняя

книга его стихов, вышедшая ко дню его юбилея (28 января 1941 г.), недаром носит название «Сталь и нежность». В этих двух словах — целая программа, успешно осуществляемая Тычиной. В стихотворении «На получение ордена» автор обращается к народу с вопросом — каким он, поэт, должен быть в наше время?

І народ як нива грає
голосом відповідає:
сталь і ніжність, любий мій,
поєднать¹ в собі зумій.

Все вмісти в собі — й природу,
й думи вільного народу,
й запах рідної землі,
повні зорі на Кремлі. . .

С этим стремлением к наибольшей творческой полноте в изображении нашей действительности тесно связано смелое новаторство Тычины в области формы, всегда подчиненное идейному заданию.

IV

Одной из отличительных черт поэзии Тычины, придающих ей особую прелесть, является своеобразное сочетание в его стихах неподдельной народности языка с изощренностью и отточенностью поэтической формы. В этом смысле очень показательна «Сабля Котовского» — большая, еще не законченная поэма. Возьмем язык положительных ее героев. Ясный и простой, он богат меткими народными словами, поговорками и пословицами и насыщен чисто украинским юмором, то добродушным, то едким. Тычина так глубоко постиг дух живого народного языка, что подчас почти невозможно отличить пословицы, придуманные поэтом, от пословиц, бытующих в народе («В бога поверь, так пан сам найдеться» и др.).

Эта простота весьма далека, однако, от упрощенности. Блестящее мастерство Тычины сказывается во всем. «Сабля Котовского» отличается богатством и емкостью изобразительных средств, позволяющими ввести в ткань произведения и бытовые сценки как серьезного, так и комического характера, и философский спор, и картину боя, и взволнованную речь, и замечательные описания природы. Отсюда — многоголосость поэмы, ее симфонизм. . .

Говоря о мастерстве Тычины, нельзя не указать на наличие в его стихах неологизмов, создаваемых им в полном соответствии с духом и законами украинского языка. Песня у Тычины «сонцебризна»,² озера у него «розпрозорились»,³

дождь «переструнює»¹ ветви; для советского избирательного права поэт находит эпитет «ясно-весне». . .

Следует при этом особо отметить использование в поэзии Тычины некоторых русских слов, хотя и не вошедших в украинский язык, но иногда необходимых поэту для более полноценного выражения какого-нибудь оттенка мысли или чувства. Приведем характерный пример. Давид Гурамишвили убеждает Сквороду: «Будь земним, життєупругим, як герой в новелі!». Тычина не случайно остановил свой выбор на русском слове «упругий»: поэт, повидимому, нашел, что в данном контексте оно подходит больше, чем однозначнее украинское слово «пружний». Слово «життєупругий» (т. е. «жизнеупругий»), прекрасно передающее мысль автора, составлено, таким образом, из двух слов, одно из которых русское.

Павло Тычина формировался как поэт под благотворным воздействием поэзии Тараса Шевченко, Леси Украинки, прозы Михайла Коцюбинского и украинского фольклора; из русских поэтов, близких Тычине, следует отметить Александра Блока и Владимира Маяковского.

Однако глубоко ошибочным было бы предположение о зависимости поэта от тех или иных учителей, о какой бы то ни было творческой его несамостоятельности. Здесь уместно напомнить прекрасные слова Максима Рыльского: «Лучший способ подражать великому поэту — быть оригинальным». Творчество Павла Тычины является убедительным подтверждением правильности этой мысли.

На долю Тычины выпало большое счастье — жить и работать «в семье великой, в семье вольной, новой» (Шевченко). Борьба и труд многонационального 193-миллионного советского народа — неисчерпаемый источник вдохновения для каждого истинного поэта. Лауреат Сталинской премии Павло Тычина находится сейчас в расцвете творческих сил. Никогда не успокаивающийся на достигнутом, всегда полный больших замыслов, он даст еще много прекрасных произведений, достойных нашей эпохи.

Передать на русском языке мощь и красоту стихов Тычины, их своеобразное очарование — в высшей степени трудная и ответственная задача. Ее невозможно удовлетворительно разрешить без точного и ясного представления о характере поэзии Тычины, без подлинной творческой любви к ней.

Ленинградские поэты, которым принадлежит большинство переводов, помещенных в книге «Из-

¹ Сочетать.

² Т. е. брызжащая солнцем.

³ От слова «прозорий» (прозрачный).

¹ «Переструнивает».

бренные стихи,¹ много сделали для ознакомления русского читателя с украинской поэзией. О плодотворности их работы в этой области свидетельствует изданная в 1939 году хорошая книга «Поэзия Советской Украины», а также ленинградское издание «Кобзаря». Таким образом, к работе над переводом избранных стихов Тычины ленинградские поэты оказались подготовленными.

Переводы М. Комиссаровой — наиболее многочисленные в сборнике. Отличаясь, как правило, большой близостью к подлиннику, они в то же время кажутся часто не переводами с другого языка, а самостоятельными, оригинальными произведениями. Особенно удались Комиссаровой переводы «Думы о трех ветрах» и «Плача Ярославны», а также лирических миниатюр Тычины из книги «Солнечные кларнеты». Вот одно из этих стихотворений, датированное 1918 годом:

Не смотри же так приветно,
Яблоневоцветно.
Зреют звезды, как пшеница:
Буду я томиться.

Не ласкай меня шелкбво,
Ясно-соколово.
Рдеют розы на рассвете:
Будет день мой светел.

Поутру играют грозы —
Будут снова слезы!
Встала мать. Дымится хатка.
Где же ты, касатка?

А я здесь, в саду, в тенёчке,
Где цветки-веночки...
Что скажу ей? — Все заметно:
Яблоневоцветно.

Прекрасно звучат стихи Тычины в переводе Н. Брауна, одного из лучших переводчиков украинской поэзии (см., например, его перевод «Сабли Котовского»).

¹ Павло Тычина. Избранные стихи. Перевод с украинского под редакцией Николая Брауна. М., 1940.

Высокой оценки заслуживает ряд переводов Вс. Рождественского, вздумчивого и культурного поэта-переводчика, а также переводы, принадлежащие киевскому поэту Н. Ушакову.

Очень хороши переводы отдельных стихотворений Тычины, принадлежащие Н. Асееву, А. Прокофьеву, Б. Пастернаку, С. Маршаку, В. Звягинцевой, М. Фроману.

К сожалению, не все помещенные в сборнике переводы можно считать удачными. Ценность некоторых из них снижается рядом недостатков. Возьмем, например, перевод «Курчавьясь, пробегают тучи», принадлежащий А. Пеньковскому. «Женуть вітри, мов буйні тури» — пишет Тычина, а переводчик почему-то заменяет этих «буйных туров»... зубрами:

Как зубры, буйно мчатся ветры...

Местами переводчику изменяет художественное чутье и тогда вместо «чернобровой» в русском тексте появляется «черноглазка».

Некоторые неточности допущены также в переводе «Я знаю», особенно в первой и последней строфах, что затрудняет правильное понимание стихотворения (перевод сделан Вс. Рождественским).

Творчество Тычины представлено в книге довольно полно. Все же в сборнике есть пробелы: в книге избранных стихов очень хотелось бы видеть такие произведения, как «Псалом железу», «За всех скажу», «Ленин» (из книжки «Чернигов»), «Песня про Кирова», «Давид Гурамишвили читает Григорию Сковороде «Витязя в тигровой шкуре». Следует также указать на то, что старое стихотворение «Я знаю», написанное в 1920 году и помещенное в книге «Плуг», по ошибке попало в заключительный раздел сборника, где напечатаны стихи последних лет.

Но эти отдельные погрешности не могут влиять на общую оценку сборника.

Выход книги избранных стихов П. Г. Тычины в русских переводах является радостным событием для читателей, живо интересующихся творчеством лучшего поэта Советской Украины.

А. Грушкин

ЛЕО КИACHEЛИ

I

В 1915 году, в самый разгар империалистической резни, в лихолетье самой черной реакции, написал Киачели свой первый роман «Тариэл Голуа». За плечами писателя были — участие в революционных боях 1905 года, побег из кутаисской тюрьмы в 1907 году, несколько лет эмиграции (в Швейцарии) и с 1909 года систематическое сотрудничество в грузинской литературной периодике.

Роман «Тариэл Голуа» был произведением большой социальной темы, больших идейных обобщений, произведением, запечатлевшим титаническое дыхание первой русской революции в условиях грузинской деревни. Живительная буря 1905 года разбудила творческие силы многих национальных «окраин» царской России; вслед за «Матерью» Горького, произведением эпохальным, появились «Фата Моргана» Коцюбинского, эта величественная эпопея революционной борьбы украинского села, вдохновенные гимны певца революционной Латвии — Райниса и его собрата по духу татарского поэта Габдуллы Тукая. В разных жанрах, разными творческими средствами все эти писатели разных наций и языков разрабатывали тему, которую открыл им 1905 год, — тему, величия вставшего против угнетателей, взявшего в свои руки собственную судьбу революционного народа.

К числу произведений этого типа принадлежит и «Тариэл Голуа». Это своего рода торжественная песнь (в прозе) в честь Человека с большой буквы, настоящего гиганта по духу, которого писатель сумел увидеть в старом земледельце затерянной в горах деревни, издавна пользующемся среди односельчан репутацией мудреца; в 1905 году этот убежденный сединами, но юный душою труженник отдает вместе с сыном Леваном все силы освободительным боям.

«Тариэл Голуа» — это книга о могучих страстях, о высоком героическом начале в человеке. Это одна из тех книг, возвышающих веру в человека, в его силу и достоинство, к созданию которых как раз в этот период так страстно призвал Горький. Лучшие романтические традиции старой Грузии, страны волшебных, феерических легенд и величавого воинского эпоса, ожили на страницах романа Киачели; от них веет живительным горным воздухом, в них слышится шум орлиных крыльев. Но сквозь романтический колорит явно выступает новое, революционно-демократическое содержание: умение писателя не только поэтически чувствовать, но и трезво мыслить, рационалистически взвешивать жизненные явления, когда этого требует благо народа.

Вот сын Тариэла Леван, юный вожак «эртобы» (так назывались стихийно возникавшие «братства» революционно настроенных грузинских крестьян). Пылкий юноша, он поспешил похитить свою возлюбленную Тину, дворянскую дочь, с которой его разлучали сословные перегородки. Страстная любовь бедняка-плебей к девушке-аристократке — какой традиционный еще для средневековой Европы сюжет! Зачем он понадобился Киачели? А все дело в том, что разрешается он по-новому: Киачели не разделяет с Леваном его радости по поводу удачного похищения Тины. Он на стороне здравого смысла, вещающего устами Тариэла, отца Левана:

«— Пока ты работаешь для эртобы, ты должен оставить дочь Давида».

Леван, по его собственным словам, «никогда не был непослушным сыном». Он преклоняется перед мудрым отцом. И все же —

«Этого Леван не ожидал. Он вздрогнул».

Но отец неумолим.

— Я ставлю тебе это условие. Другого выхода нет. Народ скажет, что, мол, Леван использовал обстоятельства и устроил свое личное дело... общественное дело нужно творить бескорыстно и честно. В него нельзя вносить личный интерес, будь это даже сама любовь».

Сколько величия и красоты в этой суровой, может быть, даже отчасти чрезмерно аскетической морали, требующей самоотречения во имя общего блага! И страстный юноша подчиняется требованию отца, он смиряет сердце велением разума. Не за обладание красавицей Тиной, не за свое личное счастье, а за общее дело всего трудящегося народа начинает он борьбу.

А какими красочными мазками описана в романе история предательства, грустная повесть о простодушии и излишней доверчивости участников «эртобы», поверивших в искреннее раскаяние авантюриста Годалендия, купленного дворянином Давидом, того самого, который в конце концов предательски убивает Левана! Как трагичен образ глухонемого Бачуа, преданного друга Тариэла и Левана, желающего от всей души раскрыть дорогу ему людям двуличие Годалендия, но лишеного физической возможности выразить свои мысли, — с какой психологической тонкостью переданы предсмертные переживания этого погибшего от истязаний царских стражников нищего калеки! Сколько солнечной ясности в передаче мироощущения старого Тариэла, который хотя и крестится при виде покойника, но внутренне пренебрегает церковными обрядами, всем своим дыханием он осознает связь собственного «я» с окружающей, так любимой им природой Кавказа.

«...колыхание молодой кукурузы — это порывы его сердца; соки земли — кровь в его жилах... прозрачно-ясное голубое небо — его душевное настроение». И недаром старому деревенскому мудрецу кажется, что «нет старости — нет смерти! Природа признает только жизнь...» От этого радостного утверждения бытия так органичен переход к решению пожертвовать лично своею жизнью для борьбы за новую, свободную жизнь всего своего народа. В эпилоге романа Тариэл показан на фоне декабрьских дней 1905 года, когда «революционной свободе угрожала реакция, огнем и мечом наступавшая на Грузию». Старый борец первым откликается на призыв молодого агитатора-студента «записаться в отряд красной дружины». Мужество старца вдохновляет и окружившую его со всех сторон молодежь, последовавшую его примеру.

«Тариэл стоял среди них, как вековой дуб с кое-где обломанными бурей ветвями, но все же сильный и могучий, глубоко ушедший в землю крепкими корнями и окруженный порывающим ввысь зеленым молодняком».

Этот полусимволический образ является логическим и эмоциональным завершением романа. Тариэл Голау — это в такой же мере художественное воплощение революционного подъема грузинской деревни, в какой горьковский Павел — собирательный образ для русского революционного пролетариата. Не следует при этом забывать, что концовка романа хронологически совпадает с тем самым временем (после 17 октября 1905 года), когда грузинские меньшевики, следуя примеру своих российских «коллег», призывали рабочих и крестьян к разоружению, в то время как большевики мужественно готовили вооруженное восстание.

Автор «Тариэла Голау», в период создания романа стоявший в стороне от идей большевизма, сумел, однако, благодаря своей художественной силе реалиста дать образы, объективно подтверждающие правильность большевистской тактики в первой русской революции: вся фигура Тариэла и его героический финал — это пламенная апология последовательной революционной борьбы и той идеи вооруженного восстания, которая была основным тактическим лозунгом большевиков в 1905 году.

Замечательное умение писателя зорко видеть и анализировать действительность сказалось и в той прозорливости, с какой он тогда изобразил не только основное для деревни противоречие между всем крестьянством и помещиками, но и социальные противоречия внутри деревенской общины. Как антипатичен большинству крестьянской сходки кулак Мелитон, требующий от бедняка Каджины уплаты за купленный у него, Мелитона, участок, несмотря на то, что этот клочок земли давно оплачен (согласно условию) кабальной работой Каджины на пашне Мелитона. «...Я в течение года своим потом поливал твои нивы» — восклицает бедняк.

«...Теперь наступило наше время...»

В этих словах звучит уверенность в своей силе впервые проснувшегося полупролетаря деревни, которого через два десятилетия Киачели покажет в иных условиях — творцом-строителем новой жизни.

II

Одна из главных тем в творчестве Киачели — столкновение самобытной, яркой, потенциально могучей, но несущей в себе весь груз патриархального прошлого природы с новыми, непонятными ее сознанию жизненными формами.

Вот его лесоруб из сванетского селения Алмасгир Кибулан, герой одноименной новеллы (1928 г.), богатый по телосложению и по всему духовному облику, суеверный дикарь по своим понятиям. Его любимый сын, молодой удалец Гивергиа, поль-

стившись на денежную награду, обещанную арендатором-лесопромышленником, пытался привязать веревку к бревну, лежавшему поперек скалы и задерживавшему сплав леса, потеряв равновесие, упал в бушующий поток и погиб. Но отец не верит в его смерть, — не хочет верить, он бежит за рекой, пытается нагнать внезапно исчезнувшего сына, он верит, что могучая Дали, эта Диана древних сванских мифов, не даст погибнуть «своему любимцу Гивергилу». Добежав по течению реки до самого Черного моря, он увидел в морской глубине «лучезарный лунный облик Дали, держащей в своих объятиях улыбающегося Гивергила». Старик «погрузился всем телом в море. Но он не чувствовал моря. Он не почувствовал и смерти. Он видел перед собой только улыбающийся образ единственного сына, зовущего на помощь».

Этими словами заканчивается новелла. И как она мастерски-лаконична, как скупое и полновесное каждое слово! Какую томительную напряженность ощущает читатель, пока вместе со старым отцом ожидает, справится ли Гивергил с трудной задачей, вернется ли живым! Как впечатляюще горе Алмашира, горе всепоглощающее, переходящее в безумный экстаз! И в то же время сколько любви и уважения заставляет писателя почувствовать к этому темному, как дремучий лес, но такому же мощному человеку! Сколько в нем внутренней красоты и цельности и как мелок в сравнении с ним человек «коммерческой» складки, подрядчик-арендатор, уверенный, что все в мире покупается на деньги! Весь рассказ — это единая симфония уходящего полусредневекового мира патриархальной Сванетии, где предания о «белоглавом Тетигульде» и «седом Лайде» — «верных часовых Сванетии» — и могучий раскат старинных охотничьих песен так гармонируют с таинственным мраком ущелий, с шумом водопадов, с «белыми шелковыми кружевами» горных вершин.

Главным персонажем лучшей новеллы Киачели «Крейсер «Шмидт» (1933) является также человек, воспитанный патриархальным укладом прошлого Грузии, но это уже не гордый своей независимостью сванетский охотник или лесоруб, а верный слуга абхазского князя, его молочный брат, «хитроумный и храбрый Аки Адаба». Это не только преданный своему господину раб, это — пламенный поэт и фанатик рабства, вкладывающий в свое служение князю всю силу, весь пафос своей примитивной, но сильной природы, это — нечто вроде пушкинского Савельича, но с восточной спецификой. Когда его господин, Уджуш Эмха, бывший царский офицер, убил матроса с большевистского крейсера (в 1918 году в Сухуме) и убийце, как врагу советской власти, угрожает расстрел, Аки Адаба взваливает убийство матроса на себя и доб-

ровольно соглашается пойти на смерть вместо Уджуша. Казалось бы, ситуация, напоминающая шиллеровскую «Bürgschaft».

И тем не менее от мужественного поступка Аки у читателя остается тягостное впечатление: уж очень тупая и рабская эта бессмысленная, погрозно направленная доблесть, тем более что с погрязшим в рабских предрассудках абхазцем выгодно контрастируют представители революционных матросов с крейсера «Шмидт», такие, как «Василий Хританюк, артиллерист», энергичный и душевный парень, как «красный капитан» крейсера, Кузьма, по прозвищу «Грозный», старый подпольщик-революционер. Этих русских людей грузинский писатель изображает с полным пониманием их психологического склада; они рисуются ему настоящими людьми будущего, подлинными друзьями народов Кавказа. Кузьма Грозный с той минуты, когда он узнал о самоотверженном, но бессмысленном «подвиге» Аки, решил его перевоспитать, взял его к себе на корабль, — «классовую слепоту Аки он принял как собственное оскорбление». Он пытался объяснить «странному абхазцу», что тот, за кого он отдавал свою жизнь, был его, Аки, врагом, в то время как убитый князем матрос — это «бедный мужик», такой же, как и сам Аки. И княжеский слуга, казалось, поддавался этой агитации, — он оплакивал убитого матроса, как своего брата, и на его ресницах «бисером сверкали горькие слезы».

Но однажды все разрушилось. Уджуш расстрелян красными. И Аки в ужасе восклицает:

«— Капитан, я оплакал твоего матроса, как собственного брата. И этим поклялся тебе в братской верности. А ты убил моего господина, Уджуша!»

Абхазец хотел броситься в воду за князем, но разгневанный Кузьма сам застрелил его.

«Водворилось молчанье.

«Потом Кузьма произнес:

«— Все равно, этот раб человеком не стал бы... Подберите. Выбросьте вон! — Спокойными, твердыми шагами он направился к капитанскому мостику».

Трагедия Аки в том, что его прекрасные природные задатки (храбрость, способность к самоотвержению) направлены взрастившим его укладом по руслу рабской, собачьей преданности последышу феодального рода. При других условиях из него мог получиться достойный человек, — действительность полуфеодальной (даже в XX веке) Абхазии сделала его рабом, орудием в руках угнетателей. Это противоречие между возможностями, заложенными в человеке, и действительностью, препятствующей их разумному осуществлению, чрезвычайно характерно для героев Киачели.

Разве дряхлый Баадур (новелла «Упрямый собственник», 1933), захваченный волной коллекти-

визации в «год великого перелома», в своем роде не могучая, не цельная фигура? Разве не присутствует и в нем богатырское начало? «Кто может перецесть, сколько земли он вспахал за свою долгую жизнь, сколько холмов и бугров взрыл, сколько недоступных склонов и каменных целин пустил в обработку! Сколько им вырублено и выжжено лесов, взорвано скалы чтобы использовать все дары кормилицы — сырой земли!» Это звучит эпически, почти как древняя сага.

Но Баадур также фанатически предан принципу частной собственности, как абхазец Аки — принципу рабской покорности господину. В этом его, Баадура, драма. Правда, в нем, кроме собственнического инстинкта, присутствует и другая душа крестьянина — душа труженика, сближающая его с новым, советским временем. Он получил пожизненную пенсию от рабоче-крестьянского правительства и гордится этим. Его старость обеспечена, за это он благодарен большевикам. И за то, что сын стал «большим человеком», — тоже. Он даже под влиянием сына вошел в «коллектив», решив, что это, в сущности, то же, что и «нади» (старая грузинская форма трудовой взаимопомощи), и с восторгом заучивал слово «коллектив», повторяя его помногу раз. Но он не в состоянии отказать от изгороди са «своего», теперь уже коллективного, участка, ему кажется, что вместе с ней исчезнет все его прошлое, весь его привычный, с детства знакомый мир. И он ночью встает со своего старческого одра для того, чтобы тайком от всех восстановить свою изгородь, хотя смутное сознание и подсказывает этому упряму, что трактору (который он, впервые увидев, принял за буйвола), «этой неведомой и чужой силе, все равно никак не сумеет противостоять его крепкая изгородь».

За утопическим, нелепым почным трудом над восстановлением изгороди и застает его смерть. Так гибнет этот седовласый патриарх, этот «последний из могикан» одиночной грузинской деревни, которому многолетняя привычка к мелко-собственническому мраку помешала разглядеть восходящий солнечный день. Этому новому дню активно служит его сын, коммунист Бесо, который непосредственно не действует в рассказе, но чье присутствие все время ощущается.

III

Если передовые, связанные с идеалами великого Октября силы внутри самого народа Грузии в «Крейсере «Шмидт» совсем не даны (и это — крупнейший недостаток рассказа Киачели), а в «Упрямом собственнике» только намечаются, то развернутый показ этих новых сил и на их фоне — человека с ломающимся переходным созна-

нием дан в романе «Гвади Бигва», представляющем собой подлинную вершину творческого мастерства Киачели.

В «Крейсере «Шмидт» показана гражданская война, в «Упрямом собственнике» — начало коллективизации, роман же «Гвади Бигва» — это воспроизведение сегодняшнего (или недавнего) дня грузинского колхозного быта, изображение колхозного строя, уже победившего и укрепившегося. Впрочем, и в этой стадии сохраняется многое от прошлого, притом прошлого, специфичного для грузинской деревни. Вот, например, пожилой колхозник Гоча, — он до сих пор считал бы для себя честью выдать дочь за выходца из дворянского рода, — все-таки честь для мужика! И вместе с тем этот же Гоча оскорбляется не на жизнь, а на смерть, когда ему, в порядке полушутки, намекнули на его бывшие дружеские связи с кулаками. «Значит, по-твоему, я — кулак!» — в негодовании кричит он бригадиру. Он вне себя. Назвать кулаком — что может быть обиднее? Это уже новая этика, миропонимание новой социалистической деревни, где все, что связано с эксплуатацией чужого труда, с кулачеством, осуждается как преступное.

Вековое, традиционное присутствие и в целом ряде бытовых форм, часто очень красивых, сохраняющих аромат веками создававшейся народной культуры.

Но это издавна сложившееся, вековое затейливо переплетается с новым, советским. Последнее особенно ощутимо в женских образах Киачели. Вот сорокалетняя Мариам, лучшая ударница в колхозе, — воплощение кипучей, неиссякаемой энергии; со всем присущим ей огненным темпераментом она обрушивается на ленивого соседа (это и есть Гвади, герой романа), отлынивающего от работы в колхозе. И как сочны, как выразительны ее грубоватые гневно-поучительные тирады!

Вот представительница другого, нового поколения, комсомолка Найя, упорно отстаивающая свое человеческое достоинство, свое право распоряжаться собственной судьбой от грубых посягательств со стороны самодура-отца. Вот ее подруга, обаятельная в своей наивности и непосредственности Элико. «Ты... веришь, — говорит она Найе о пытавшемся ее соблазнить низкопробном авантюристе Арчиле, — что между мною и этим мерзавцем так же не может быть ничего общего, как между нашей родиной и капиталистическими странами...»

И эта, казалось бы, несколько книжная фраза звучит в ее устах естественно и свежо.

Очень красочен и тип Соломэ, сестры Гочи, — это простая деревенская женщина, умная и рассудительная. Ей уже не мало лет, но все молодое ей близко. И именно эта душевная молодость в сочетании со здравым смыслом и неиссякаемым

здоровым юмором делают таким привлекательным ее образ.

На фоне обновленной грузинской деревни одиноким, лишним чувствует себя главный герой романа Гвади Бигва. Гвади, с точки зрения ударницы Мариам, «бездельник», лентяй, непутевый, недисциплинированный колхозник. И в самом деле, трудодней у Гвади ничтожное количество, он приходится на колхозную работу гастролером, то и дело ссылаясь на большую селезенку; только сыновья-ударники спасают честь его дома, только из-за них его и держат в коллективе. Он на все махнул рукой, даже на свою внешность: ходит целыми днями в драной чохе с карманами из тряпья, нашитыми на месте газырей. И все же Гвади — не шаблонный лодырь. Это — поэт в душе, человек с яркой художественной жилкой, сочетающий в себе одновременно и наивность ребенка, и хитрость плута, и романтическую мечтательность. Его обычное «вранье», которым он иногда сердит, но чаще потешает односельчан, заставляя их прощать ему все его производственные грехи, — заключает в себе немало элементов фольклора, богатой традиции народной фантастики. Он в какой-то мере напоминает деда Щукаря на грузинской национальной почве. Именно такие, как он, становились во времена феодального прошлого шутами и сказочниками. Он живет в мире выдуманных им самим снов, мечтаний, иллюзий. Захотел он расправиться с Арчилом Пория, жуликом из бывших дворян, «примазавшимся» к советскому хозяйству и бессовестно эксплуатирующим Гвади, — и Гвади кажется, что он уже осуществил свое намерение: он в упоении смакует все детали своей «расправы» с врагом, он упивается собственной храбростью и находчивостью.

«Гвади и сам не подозревал, что он способен на такие дела. Откуда только силы брались! И какую ловкость он проявил и как хитро все обмозговал!»

Он даже точно помнит, что бросал, как мяч, сильного, рослого Арчила.

А когда реальный, живой Арчил, держащий шантажом в своих руках несчастного Гвади, снова является к нему в дом и предлагает десятирублевку за хранение ворованного товара, когда Гвади увидел, что «бумажка была действительно новенькая, немаята», тогда «хруст ее отдался в руках Гвади сладостной музыкой».

«— Много, чириме,¹ — произнес он наконец, и внезапно, точно против его воли, вслед за словами прорвался коротенький хихикающий смехок».

Значит, бесхарактерный Гвади может снова пойти на преступления ради Арчила, на престу-

пления по отношению к государству и к своим собственным детям: мандарины из его сада, предназначенные для них, сожрал ненасытный Арчил и его столь же наглые, как и он сам, со-трапезники. А между тем его старший сын Бардгуния уже собрал всех своих братьев и устроил целое следствие. Кто утащил мандарины? Подозрение падает на малышей. Об их мнимом проступке старший брат докладывает самому «бабайе» («тятя» по-грузински), не зная, что именно он, их отец, и обокрал своих детей. «Бабайя» для виду делает попытку определить, кто именно из ребят полакомился запретными фруктами, — он ощупывает их животы.

«— Эх, если бы и в самом деле к вам в животы мандарины эти попали. Хоть немного пользы было бы... И какие же подлецы их сожрали! Им, собачьим детям, мандарины эти в прок не пойдут! — произнес он с надрывом, притянул к себе маленького Чиримия и громко чмокнул.

«— Знаю я, знаю, что вы не трогали... Потому и болит мое сердце, — произнес с каким-то непонятным волнением Гвади, прижимаясь лицом к детскому животу».

Дети истолковали волнение и слезы отца по-своему:

«— Видишь, бабайя плачет. Это потому, что ты нас поколотил. Видишь? — Китуния грозно, с красным, как бурак, лицом наступал на старшего брата».

Дети любят своего «бабайю». Ведь он так ласков и сердечен с ними.

Пушкин, сравнивая изображение характеров у Шекспира и Мольера, отдавал предпочтение первому: «У Мольера скупой только скуп, — писал он. — У Шекспира Шейлок скуп, мстителен, ча долюбив». Разносторонность, многогранность характера — одна из основных черт Гвади: это не положительный герой, но и зачисление его в разряд «отрицательных» ничего бы не выяснило: это человек, данный в движении, в мучительном состоянии раздвоенности, в борьбе раздирающих его на части противоречий. Он и нежно любит своих детей и причиняет им вред в одно и то же время! И так на каждом шагу. Золото и мусор, высокое и низменное перемешаны в его душе.

Один из наиболее прекрасных, облагораживающих моментов в его внутренней жизни — это его страстная любовь к ударнице Мариам. В ее образе слилось для Гвади все самое прекрасное, самое идеальное, — недаром он не хочет допускать по ее адресу никаких двусмысленных, оскорбляющих ее шуток!

Мариам не подозревает об его страсти, — она просто жалеет незадачливого соседа, помогает ему по хозяйству, присматривает за детьми.

А влюбленный Гвади стоит ночью перед теп-

¹ Ласковое обращение, часто употребляемое героем романа.

лящимся очагом, рассматривает на свет краденый женский джемпер, спрятанный у него Арчилом, и грезится ему, что он, Гвади, вручает эту необычную «блузу» своей любимой, царице своих снов.

«Тебе и в голову не придет, — утешает он ее в своем патетическом монологе, которого она не может услышать, — что как только начнется сбор мандаринов, нагоию трудодней, не меньше трехсот будет их у меня! А может, и все четыреста, — чтобы ты не смела думать, будто Гвади слаб, никуда не годится. . . . Четыреста трудодней и у тебя не наберется, чириме. Признания, не наберется ведь. Ты не стесняйся со мной. Велика важность, если не наберется. . . Я — мужчина, чириме, тебе за мной не угнаться! . . .»

И Гвади в этот момент искренне верит, что он перегонит Мариам в трудоднях и подарит ей нарядный джемпер.

«Тогда ты взойдешь на высокий балкон, точно луна в полнолуние. . . Выйдешь вот в этой самой блузе. . . Те тополя, что растут за плетнем, от зависти до корня посохнут, как увидят тебя; крапива, и та, словно розовый куст, зацветет, услышав твой голос, чириме. . .»

Как своеобразен этот аромат пряной и цветистой поэзии Востока в сочетании с «трудоднями» и джемпером!

Гвади — яркая, художественная натура. Он живет в мире сказок; он беседует не только с козленком, как с достойным собеседником, но удостоивает разговор даже свою собственную тень: для него, как и для его духовных предков, создававших драгоценности народного творчества, весь мир живет одухотворенной жизнью, — даже неодушевленные предметы наделены зрением и слухом. А на практике — полнейшая беспомощность, неумение устроить свою судьбу, даже когда для этого есть все предпосылки, тягостные для его собственного сознания грязные сделки с Арчилом. Мягкий Гвади с его душевным «чириме!», обращенным ко всему миру, легко становится послушным орудием в руках бандита, враждебного народу и рабоче-крестьянской власти проходимца.

В этом смысле в Гвади, как и в прежних героях Киачели — в Аки и в Баадуре, много социального трагизма. Но если сказкой была и мечта о фантастически-изобретательной расправе с Арчилом, и об обладании прекрасной Мариам, то все это бледнеет в сравнении с той сказкой, которую порождает сама действительность. На торжественном колхозном собрании, том самом, куда все сходилось в лучших нарядах, Гвади выбрали в комиссию по проверке хода соцсоревнования. Это был умный ход со стороны руководителей колхоза и партийной ячейки. — он был продиктован стремлением втянуть стоявшего на отшибе и гибнувшего человека в самый волеводорот колхозной

стройки, с тем чтобы разбудить в нем все лучшее, наиболее ценное в его одаренной, хотя и беспутной натуре. И цель оказалась достигнутой. . .

«Как поверить? За что эта незаслуженная честь? Ему. . . Ему себя рядом с лучшими людьми родного колхоза. . .»

«. . . Значит, и меня за человека признали, чириме!»

Так передает автор путающиеся мысли своего героя. Гвади не верит своим ушам. Когда он уходит с митинга, ему кажется, «что земля, эта искони ему знакомая, исхоженная земля. . . заодно с тенью пустилась в пляс, завертелась колесом и манит его, Гвади, последовать ее примеру».

Восприятие своего триумфа героем Киачели также полно фантастических красок, как и весь его внутренний мир.

«— Ого-го! Так, чириме! — кричал Гвади своей тени, когда она, словно безумная, взбегала на вершину высокого дерева.

«. . . Когда тень его взлетала, ему казалось, что он сам взлетает. Гвади решительно перестал различать, где он, а где его тень».

Гвади, возвращающийся с собрания, — это уже не прежний Гвади. Это уверенный в ценности своего «я», участник общего дела.

«Когда, — говорит автор, — в какую именно минуту так решительно перестроилось его сознание, он не знал и сам. А между тем это был гигантский прыжок из старого мира в новый».

Только теперь он заметил, как «не по-людски» он одет. И даже карманы из тряпья, нашитые на его чоку вместо газырей, «так и вспыхнули», когда «снопом искр обдали их черные глаза Мариам». И, придя домой, он, всегда грязный, обрванный, «умыл лицо и руки, не забыв прибегнуть к помощи мыла», и облачился в нарядную чоку с «необыкновенным кинжалом», доставшуюся ему от деда и столько лет пролежавшую в сундуке. Сыновья Гвади смотрят на него в его необычном наряде с затаенным дыханием. . . «Да это же бабайя!» — восклицает один из них. А Гвади «. . . некоторое время молча глядел на них, растрогался почему-то и заговорил:

«— Смотрите, дети, смотрите! Деда вашего кинжал: он, бедный, никогда с ним не расставался. . . И дома носил и на улице. Даже в поле не выходил без кинжала. . . Время, детки, беспокоеное было, верно, оттого и привык. Правду сказать, он так и прожил до смерти, не загубив ни единой человеческой души. А в те времена врагов у нас было не мало, дети. Пожалуй, и следовало отправить кое-кого на тот свет, да духу нехватило. Был он крестьянин, робкий человек. . . О детях думал, о внуках болел, бедняга. Правда, вас еще не было на свете, но ради вас надрывался он, ради вас ярмо тянул!»

Откуда здесь вдруг это, звучащее почти как сказка, воспоминание о «беспокойном» времени, о давно «истлевших» врагах грузинского крестьянина, которых «пжалуй, и следовало отправить на тот свет»? За этим эпическим рассказом стоит огромная вековая традиция народных воспоминаний о крепостном праве, о чудовищном произволе князей. Почему Гвади вспомнил о всех этих давно известных ему вещах именно в этот момент? Только ли потому, что дедовский кинжал напомнил ему о прошлом? Нет, не только: он, выбранный в комиссию по проверке работы двух колхозов, обремененный народным доверием, распрямившийся во весь рост своей личности, вдруг особенно остро ощутил контраст между собой и своими обездоленными предками, рабами князей. Настоящее обернулось к Гвади всем сверканием солнечных лучей, потому и прошлое стало переосмысляться, доходить до сознания по-новому, с особой свежестью и силой. Многие с детства знакомое, но забывшееся, всплыло в памяти по-новому, как-то особенно четко и выразительно.

Для полного счастья Гвади необходимо еще одно: взаимность со стороны Мариам. И он, пользовавшись первым попавшимся предлогом, заходит к ней в дом в позднее, ночное время удивить ее своей щегольской чохой и дедовским кинжалом. Мариам с изумлением открывает, что у горемычного Гвади «и рост недурной» «и шея как следует», «жених, да и только!» — только пуговицы требуется пришить. Это-то прозаическое занятие и прерывает Гвади своим неожиданным для Мариам объяснением в любви. Гвади всегда был плохим богомольцем. Но дева Мария была высшим в его сознании образцом и идеалом — не божественной, а земной, человеческой, телесной красоты. И свою желанную Мариам он не мог не сравнить с ней, как человек, знакомый с мифологией, сравнил бы с Афродитой.

«— Икона... икона... богородица, чириме... — молитвенно бормотал Гвади. — Он и в самом деле глядел на Мариам, как богомолец на икону».

Мариам растеряна, по ее руке текут «горячие слезинки» обезумевшего Гвади.

«Разве могла она представить себе, что Гвади способен на такую пламенную страсть?»

«— Чего ты хочешь? — спрашивает она в испуге».

«— Радости хочу, Мариам, счастья... Жизни хочу и любви, Мариам! Твоей любви, твоей ласки и доброты, Мариам! — заговорил Гвади, и ей казалось, что голос его прорывается из глубочайших недр души, в нем слышалось клокотание стихийной страсти, пылавшей, как в горне, в этих недрах. Это была не просьба, это был вопль!»

Так поэтически передает Киачели любовный экстаз, овладевший его героем. Здесь все сливает-

ся — гнетущее душевное одиночество, долголетнее и вдруг сразу исчезающее ощущение своей личной неполноценности, неутоленное эстетическое чувство, хмель южной летней ночи.

«... Гвади не ушел. Он завладел другой рукой Мариам».

Сон о Мариам оказался в руку. Сбылся и другой сон — о расправе с Арчилом, высосавшим из Гвади все соки. Но не только за себя отомстил ему теперь Гвади. Он убил врага в тот самый момент, когда тот собирался поджечь лесозавод. Гвади спас завод. Он — герой. «И видения, — радостные, солнечные, — но на этот раз оправданные, возникают перед ним из самой глубины сумрака».

«Заря вставала. Первый ее луч разорвал туманную пелену и, прорвав сумрак, золотой дорожкой протянулся у ног Гвади».

Этим словами кончается роман. Но читатель знает, что с зарей для Гвади наступит день подлинного окончательного торжества.

В творчестве Киачели его последний роман подводит итог давно волновавшей писателя проблеме. В психологическом облике абхазца Аки были ценные задатки, но они не помешали ему пасть жертвой собственной темноты и несознательности, они не спасли от бесславной гибели.

Много положительного было и в старике Баадуре, однако и он не смог все-таки стать новым человеком. А в психике Гвади золото вытеснило мусор. И это не его заслуга: его переделала советская действительность, советская демократия, подлинная демократия, раскрывающая для недавних «париев» необъятные творческие перспективы.

Проблема переделки человека имеет далеко не узко-литературное значение. Разве, читая роман Киачели, не вспоминаешь бичующих слов товарища Жданова о тех «псевдо-моралистах», которые «расценивают человека как однажды сложившуюся, неподвижную, мертвую схему».¹

Герой Киачели совсем не подходит под «мертвую схему». В нем много такого, что легко могло привести его к моральной гибели, к полному падению, к яме, где барахтаются разные Арчилы. И все же читатель любит Гвади с его любовным «чириме!», с его ясной поэтической душой. Любит и радуется, когда светлое начало в нем побеждает, когда он выходит на новый, радостный путь. И невольно благодарит превосходного писателя Лео Киачели за его проникновенное произведение, поздравляя его с высокой наградой — Сталинской премией — достойной оценкой его творческих заслуг перед родиной.

¹ А. Жданов. Изменения в уставе ВКП(б). Доклад на XVIII съезде ВКП(б) 18 марта 1939 г. Политиздат, 1939, стр. 26.

И. Березарк

«РЕПИН» И. ГРАБАРЯ

Двухтомный труд И. Э. Грабаря о Репине, отмеченный Сталинской премией, известен лишь сравнительно узкому кругу лиц. Между тем, эта работа Грабаря весьма поучительна для всей нашей критики.

Прежде всего следует отметить, что присуждение Сталинской премии по критике искусствоведу, занимающемуся вопросами изобразительного искусства, должно, нам кажется, способствовать сближению различных критических отрядов. До сих пор они были разобщены. Только в самые последние годы театральная и кинематографическая критика как-то приблизилась к критике литературной. А ведь и кино и театр творят на литературном материале.

Конечно, у каждого из искусств есть своя специфика, но, вместе с тем, литературная и художественная критика в целом должны разрабатывать общеэстетические проблемы, одинаково важные и для нашей литературы и для нашего искусства. Есть, наконец, и методологические вопросы, возникающие при создании критических работ, — вопросы формы, стиля, особенности передачи материала. И в этом смысле труды Грабаря поучительны для критиков, работающих в других областях, — для критиков литературных, театральных, для музыковедов и т. д.

Что поражает прежде всего, когда читаешь книгу Грабаря о Репине? Необыкновенная простота языка. Речь идет о предметах специальных, о проблемах живописи, о композиции, краске, цвете, рисунке. И обо всем этом автор монографии говорит просто и убедительно. Этим работа Грабаря отличается от многих книг и статей по изобразительному искусству, авторы которых любят щеголять специальными, малопонятными терминами.

Книги Грабаря, повторяем, написаны просто. Они понятны каждому грамотному читателю. Еще

одно доказательство, что простыми словами можно рассказать о сложнейших вопросах, волнующих художника-специалиста, о сложнейших эстетических проблемах. Чрезвычайно ценная для художника-профессионала, работа И. Грабаря, вместе с тем, будит мысль у рядового читателя, для которого она представляет прежде всего огромную познавательную ценность. Решение Центрального Комитета партии о критике и библиографии указывает, что критика должна быть орудием коммунистического воспитания как писателя, так и широких масс читателя. Работа Грабаря о Репине воспитывает и художника-профессионала, и широкие массы рядовых читателей.

Принцип построения книги у Грабаря прост и ясен. В основном, это принцип биографический — проследить творческую жизнь Репина. Богатой и разнообразной была эта жизнь.

Творчество Репина охватывает более полувека старой России и как раз эпохи, чрезвычайно важной в истории развития русской художественной культуры. Книга посвящена Репину, но жизнь Репина, развитие его искусства показаны здесь на фоне всей русской художественной культуры конца XIX и начала XX века. Эта широта охвата помогает читателю отчетливо понять творческую эволюцию Репина.

При таком построении монографии для исследователя могла возникнуть опасность увлечения излишними обобщениями, заслоняющими конкретный анализ творческой практики художника. Грабарь благополучно избежал этой опасности. Он говорит о Репине, о его жизни, о его искусстве. о сомнениях и срывах. И в то же время рассказывает о художественной культуре эпохи — об Академии, о передвижниках, о влиянии французского импрессионизма и о «Мире Искусства», ибо все искания и борьба направлений так или иначе

отражались в творчестве Репина и влияли на его жизнь.

Монография Грабаря написана не только с большим знанием дела, но и с любовью; она читается как увлекательный биографический роман. Особенно хороши первые главы: детство в семье украинского крестьянина из так называемых «военных поселенцев» и первая учеба у чугуевских «богемазов». Для развития таланта Репина эти первые его учителя имели огромное значение. Здесь раскрываются народные истоки творчества великого художника.

Замечательны главы, посвященные первым петербургским годам Репина, его учебе в Академии художеств: ярко обрисована петербургская художественная жизнь шестидесятых годов. Академия с ее устаревшими живописными канонами и традициями и, вместе с тем, неустанные искания молодежи, стремившейся к реалистическому искусству, к новым темам, отображающим живую русскую жизнь. Очень хорошо рассказывает автор о знаменитом «бунте тринадцати» — об уходе из Академии группы ее лучших воспитанников, во главе с Крамским, отказавшейся от традиции классицизма (в тогдашних условиях скорее лжеклассицизма) и обратившейся к реалистической живописи, к темам из живой русской действительности. Вместе с тем, показаны переживания молодого Репина, непосредственно не участвовавшего в бунте, но сочувствовавшего бунтарям. Обрисованы художественные кружки того времени с их долгими, неустанными интеллигентскими спорами. Показано своеобразное восприятие молодыми художниками эстетики Чернышевского. Наконец, подробно описана попытка молодых художников организовать свою артель — своеобразную трудовую коммуны живописцев — и показаны причины неудачи этого опыта.

Впервые в работе Грабаря переломная эпоха в русской живописи показана так живо, наглядно, так убедительно и ярко. Грабарь, несомненно, обладает подлинным талантом писателя. Когда читаешь его книгу, видишь, как живых, художников того времени, как бы становишься участником их интересов.

Автор говорит в одном месте монографии о том, что он ничего не выдумывает, не домысливает и пользуется только документальным материалом. Документальный материал это прежде всего письма и записки самого Репина и отчасти записанные Грабарем рассказы Репина о прошлом. К документальному материалу надо причислить и некоторые критические работы (прежде всего, из работ В. Стасова). Этот документальный материал скомпонован исключительно умело. Работа Грабаря в этом смысле может быть поставлена в образец: цитаты не утомляют, но как бы дополняют худо-

жественную картину. Этому помогает сам Репин: гениальный художник кисти, он мог бы, повидимому, быть и незаурядным художником слова. Так ярки его рассказы о прошлой художественной жизни, использованные в книге Грабаря!

Специальные главы работы посвящены наиболее значительным картинам Репина, таким, как «Бурлаки на Волге», «Не ждали», «Иван Грозный и сын», «Запорожцы» и др. Грабарь не только показывает процесс создания картины, первые рисунки, наброски, живописные эскизы, наконец, самое создание картины и варианты к ней, — автор рисует художественное окружение Репина в момент создания той или иной картины, подробно рассказывает о выставке, на которой картина впервые увидела свет, о первых впечатлениях от нее и об отношении к ней различных слоев тогдашнего русского общества. Каждая значительная картина Репина рассматривается не только как художественное, но и как общественное явление.

Весь путь Репина от первых его ученических шагов Грабарь рассматривает как путь утверждения русской реалистической живописи. На этом пути у Репина бывали отдельные отклонения и срывы, но в основном это путь правдивого, монументального, реалистического, общественно-актуального искусства. Грабарь приводит ряд до сих пор неизвестных писем великого художника, свидетельствующих о том, насколько уверенно и сознательно проводил Репин эту реалистическую, общественную линию в своем творчестве.

У Репина было особое специфически-живописное восприятие жизни. К каждому жизненному явлению он подходил как художник-профессионал, стремясь найти здесь яркие внешние формы, игру цвета и красок. Это привело впоследствии к созданию легенды о том, что Репину было безразлично, что изображать. Грабарь до конца разоблачил эту легенду, притом разоблачил, пользуясь материалами самого Репина, его письмами, записками, устными высказываниями. Нет, борьба за реалистическое искусство сочеталась у Репина с неустанным утверждением социальных и общественных тем его творчества. Но, в отличие от многих художников-передвижников, Репин всегда искал наиболее совершенные внешние формы для утверждения большого реалистического искусства, для утверждения большой социальной темы своего творчества. В этом причины его расхождения с передвижниками и с В. Стасовым в девяностых годах. Самый принцип реалистического искусства понимался Репиным шире и глубже, чем многими его современниками. Он сочетался с неустанными исканиями новой художественной выразительности. В поисках этой новой художественной выразительности Репин сближается в конце девяностых годов с группой художников «Мир Искусства».

«Он верил в право нового времени создать новое искусство», — говорит Грабарь. Но скоро он пскидает «Мир Искусства», почувствовав, что принципы отвлеченного эстетизма, которые проповедуются этим художественным объединением, далеки от жизни и могут оказаться губительными и для его творчества и для всего великого русского искусства.

Грабарь не случайно так подробно останавливается на расхождении Репина с В. Стасовым, на полемике с ним. Это вопрос о разном понимании реализма в искусстве. Стасов понимал реалистическое искусство несколько ограниченно, как искусство бытописательное. Художественные произведения передвижников шестидесятых-семидесятых годов были для него идеалом русского народного искусства. Все новые художественные искания, преимущественно идущие из Европы, он начисто отвергал. Репин принимал многое из того, что привнесло искусство импрессионистов и родственных им художественных школ, но принимал не принципы и взгляды, а формальные достижения. Никаких отступлений, никакого ухода от старых идеалов, как это казалось Стасову, здесь, конечно, не было. Для Стасова реалистическое искусство представлялось чем-то законченным, раз навсегда данным. Репин же понимал, что реалистическое творчество будет неустанно изменяться и совершенствоваться.

Это однако не значит, что в творчестве Репина не было глубоких противоречий. Они отражали противоречия эпохи и среды, в частности того слоя разночинной, демократической интеллигенции, к которой принадлежал художник.

Расцвет творчества Репина охватывает большую полосу русской жизни — от шестидесятых годов до первой русской революции. К этой эпохе относится и расцвет творчества гениального русского художника слова, во многом близкого Репину, Льва Толстого. Творческие противоречия Толстого были гениально раскрыты Лениным. Вспомним ленинскую характеристику толстовской эпохи:

Главная деятельность Толстого падает на тот период русской истории, который лежит между двумя поворотными пунктами ее, между 1861 и 1905 годами...¹

«Вот эта быстрая, тяжелая, острая ломка всех старых «устоев» старой России и отразилась в произведениях Толстого-художника, в воззрениях Толстого-мыслителя».²

Эта ломка устоев, несомненно, отразилась и в творчестве Репина.

Репин был типичным интеллигентом-разночинцем,

с характерной для этого общественного слоя идеологией, которая ярко отразилась в его живописи. Отсюда и сила и слабость Репина.

Грабарь в своей монографии не цитирует ленинских высказываний о Толстом. Но, несомненно, ленинская критика Толстого помогла исследователю вскрыть творческие противоречия художника. Ранний радикализм Репина был искренен и сознателен. Недаром художник отказался писать заказанный ему портрет Каткова и, высоко ценя Достоевского как художника писал после его смерти о том, что писатель был «надорван, сломан, убоился смелости жизненных вопросов и обратился вспять». Языком живописи Репин передавал настроения, характерные для демократической, разночинной интеллигенции. Это особенно ярко сказалось в таких картинах, как «Арест пропагандиста», «Не ждали», «Отказ от исповеди», «Бурлаки на Волге». Творчество Репина порой достигает огромной обличительной силы. Особенно замечательны в этом смысле картины, посвященные духовенству и церковному ритуалу, такие, как «Крестный ход» или «Протодьякон». Однако в последующем творчестве Репина чувствуются противоречия и шатания, свойственные мелкобуржуазной интеллигенции того времени.

«В России так еще много социальных элементов и условий, питающих интеллигентскую неустойчивость...» — писал Ленин (Соч., т. V, стр. 164). Эта интеллигентская неустойчивость в творчестве гениального художника принимала свои, особенные черты. Как все художники того времени, Репин зависел от заказов буржуазии и правительственных кругов. Но не только в этом было дело. Велика была жажда творчества у Репина, он стремился охватить чуть ли не все темы, которые поддаются художественному воплощению. Он как бы стремился освоить все темы старой живописи.

Это вызвало появление в его творчестве тем религиозных и отвлеченно-эстетических. Но характерно, что, даже выполняя правительственный заказ, даже работая на религиозную тему, он вносил свои, репинские обличительные нотки. Он и здесь пытался протестовать против гнета, давящего мысль и знание. Грабарь показывает, что картина «Николай Мирликийский», религиозная по своей теме, была направлена против произвола; так, по крайней мере, она воспринималась зрителями-современниками. А в знаменитом изображении «Заседание Государственного совета» сильны сатирические краски; недаром картина вызвала в свое время возмущение реакционной прессы. Таким образом, в чуждые по темам картины Репин вносит свои настроения, свое мироощущение.

И все же художник здесь принужден был выполнять чужой социальный заказ. Это определяет

¹ Ленин, Соч., т. XIV, стр. 404.

² Там же, стр. 405.

некоторые противоречия в творчестве Репина, подчас его срывы на позиции чистого эстетизма. Выяснение этих противоречий позволяет исследователю понять особенности и всю сложность творческого пути Репина. Грабарь полностью раскрывает этот сложный путь художника, не смазывая, не упрощая всех его противоречий, подробно выясняя причину его отдельных творческих неудач.

Особое внимание уделяет Грабарь портретам Репина. В портретной галерее изображены многие выдающиеся люди, его современники. Отсюда огромное познавательное значение репинского портретного мастерства. И в отдельных, наиболее замечательных портретах Репин сумел раскрыть судьбу людей, притом их трагическую судьбу. Таковы портреты Мусоргского и Гаршина. Не только изображение людей, но и большая тема человеческой жизни и творчества наличествует в лучших репинских портретах. В этом огромное идейное значение портретного мастерства Репина.

В работе Грабаря творческий путь Репина, как я уже говорил, показан на фоне русской жизни. Жизнь искусства здесь тесно связана со всей жизнью русского общества. Грабарь еще в дореволюционные годы был выдающимся искусствоведом. Его перу принадлежит ряд интереснейших монографий о Левитале, о Серове и др. Но проблемы искусства рассматривались им тогда в некотором отрыве от жизни.

В отличие от них, в монографии о Репине ставятся общественные вопросы, вопросы о социальном значении искусства. Великое учение Ленина и Сталина способствовало перестройке Грабаря как писателя, определило новые методы его творческой работы, помогло создать монументальное исследование о Репине, отражающее большую эпоху русской художественной мысли и русской жизни. Но, вместе с тем, это исследование связано с лучшими традициями старой русской критики. В частности, в работе Грабаря отражаются эстетические взгляды Чернышевского; даже по форме и

композиции работа Грабаря напоминает исследование Чернышевского о Лессинге.

Лучшие публицистические традиции русской критики сочетаются в труде Грабаря с большим мастерством и талантом исследователя. Это сочетание сейчас особенно ценно для нашей критики и нашего искусствоведения. Рассказывая о Репине, Грабарь ведет борьбу за реалистическое искусство, но реализм понимается им исключительно широко, отнюдь не в плане бытописательства и поверхностного отображения жизни. Большое реалистическое искусство всегда обогащается новыми формальными и техническими достижениями. Большое реалистическое искусство должно быть эмоциональным, глубоким и вдохновенным.

«Репин, пишет Грабарь, — внес в русское искусство тот жизненный трепет, которого до него не хватало и отсутствие которого мертвило картины, превращая их в сухие схемы и символы. Репинские темы оказались более глубокими, актуальными и захватывающими, чем темы его товарищей, и, рассказанные сверкающим живописным языком, они действовали сильнее, неотразимей, поднимая энергию и бодрость в зловещие годы реакции».

Искусство Репина было для своего времени новым по содержанию и новаторским по форме. Неустанные формальные искания позволяли передать это новое идейное содержание особенно ярко, впечатляюще.

В этом значении Репина для искусства. Этим близок Репин художникам наших дней, художникам великой социалистической эпохи. Есть здесь и прямая преемственность. Многие из этих художников были непосредственными учениками Репина.

Книга о Репине тоже написана его учеником. Глубокая содержательность этой книги сочетается с яркой художественной формой. Этому умению говорить об искусстве языком художественных образов, сочетать глубокую мысль и образцовое значение материала с художественным изложением должны учиться у Грабаря наши критики и искусствоведы.

Р. Миллер-Будницкая

О НАЦИОНАЛЬНОЙ ДРАМЕ

В Ереване в дни тысячелетия национального армянского эпоса «Давид Сасунский» мне пришлось столкнуться с явлениями не совсем обычными.

Повсюду — на перекрестках улиц, на углах площадей — собирались кучки народа в национальных или европейских костюмах и разыгрывали в лицах сцены, эпизоды эпоса. Был обычный будний день, люди спешили по своим делам, но, увидя игры, они останавливались, собирались в круг, вмешивались в представление. Постепенно зрители становились актерами, начинались пляски, выделялся хор, тут же на месте импровизировались отрывки пантомимы. Сценой была площадь, прожектором — полуденное солнце, зрительным залом — весь Ереван. Казалось, фасады окружающих домов превратились в театральные декорации, так они были увешаны коврами, тканями, картинами, и отовсюду глядели изображения Давида Сасунского, его коня Джалаала, его подруги Хандут Хатун. Образы, напевы, стихи эпоса преследовали меня всюду, на каждом шагу; казалось, весь город каким-то чудом перенесся в X век. Но только на общенациональном физкультурном параде развернулась целиком вся картина народного действия. Я увидела девушек, с плясками и пением работающих в виноградищах, набег разбойничьего арабского племени, опустошение и разорение страны, битвы армянских витязей с арабскими и освобожденный, ликующий народ в садах и на полях цветущей Армении.

Так пришлось мне убедиться воочию в том, насколько живы и сильны в наших национальных республиках древние культуры Востока, как они вошли в плоть и кровь народа, какими жизнеспособными и плодотворными они должны оказаться для советского искусства наших дней.

И мне вспомнилось, что для западного мира всякое соприкосновение с культурами Востока означало толчок к рождению новых форм и сти-

лей. Во времена Ренессанса в Италии, Франции, Англии, во всей Европе зазвучали мотивы, образы и сюжеты восточного мира. Бокаччо, Мазуччо, Маргарита Наваррская, Чосер и многие другие черпали из сокровищницы восточного фольклора; в «Декамероне» и «Кентэберрийских рассказах» встречались образы Индии и Египта, Аравии и Китая. Великий Гёте, углубившись в поэзию «золотого века» Ирана, создал свой «Западно-восточный диван». Мастера импрессионизма учились новому «видению мира» у живописи Японии и Китая. Философские стихи Омар Хайяма, величайшего вольнодумца исламского мира, его знаменитые «Робайят» оказали большое влияние на западную поэзию «конца века».

И мы, люди Советской страны, переживаем сейчас огромное историко-культурное событие — второе «открытие Востока», как во времена Ренессанса, возрождение древних национальных культур к новой жизни.

Здесь, в Ереване, были налицо все элементы театрального зрелища большого стиля: не хватало только поэта, который написал бы текст. И он явился как бы навстречу органической, внутренней потребности, назревавшей в массах.

Это был Вагарш Вагаршьян, драматург и народный артист Армении, человек большой культуры, поэтической и театральной. Он драматизировал эпос о Давиде Сасунском, слив воедино его различные варианты с народными импровизациями и с поэмой Ованнеса Туманяна; он воскрес на сцене эпоху армянского средневековья, средневековое зодчество и живопись, музыку и поэзию, народные пляски, обряды и игры.

И пьеса получилась необычайно живописная, зрелищная, радующая.

Словно на миниатюрах средневековых армянских рукописей, открываются жанровые картинки мирного труда. Время сбора урожая — колосятся по-

ля, наливаются соком виноградные гроздья, девушки с юношами ведут хороводы, молодое вино бурлит в чанах, риги наполняются зерном, в лесах весело трубят, перекликаясь друг с другом, охотничьи рога. На всем лежит солнечный колорит, золотой полуденный свет. Словно перед нами медленно разворачивается огромный пестрый ковер, где изображена жизнь средневековой Армении, как на выкованном Гефестом щите Ахиллеса жизнь гомеровской Эллады.

Но вот горизонт мрачнеет, небо заволакивается грозовыми тучами, из Аравийской пустыни надвигается вихрь. В эту цветущую, счастливую страну врываются с войском сборщики податей арабского царя Мысрамелика. И начинается разбойничье хозяйничанье, напоминающее времена ханских баскаков на Руси. Угоняют скот, уводят в рабство жен и дочерей народа, грабят и оскверняют местные святыни, мерят золото меркой для зерна. По всей стране звучат плач, стенание и скрежет зубовой, от края до края поднимается волна гнева народного и на гребне своем несет юношу-пастуха Давида. Полыхают пожары, бьет набат, страна охвачена восстанием, и Давид становится во главе народного ополчения.

Дальше идут картины битв, поединков, богатырских подвигов. Сцены монументальны, фигуры необычайно пластичны, движения переданы с напряженной экспрессией; все вместе кажется снятым со старинных барельефов. Трубят трубы победы, народ возвращается по домам, каждый к своему очагу и полю. И побратимством воинов Армении и Аравии, клятвой вечного братства на общем празднестве жатвы и сбора урожая кончается драматическая поэма «Давид Сасунский».

Эта история рассказана на любимом массаи языке притч и героических преданий. Она переносит нас в эпический мир, ее образы — герои, общие многим народам Востока и Запада.

В облике юного Давида воскресает древний иудейский вождь, полководец и судья, пастух, облеченный царской властью, освободитель своего народа, свергающий ярмо чужеземного гнета. Его подруга и невеста Хандут Хатун, пленница и раба завосвателей, — воплощение родины, прекрасной Армении, порабожденной и поруганной врагом. Старуха Нани, хранительница заветов предков, которая взывает к народу и вождю и своими яростными речами разжигает пламя восстания. — это пророчица-ведунья. Гохар Огневая — дева-богатырь, восточная Валькирия, подобно Брунгильде, скрывает свою красу под железным забралом воина и носит в груди, окованной ратными доспехами, огонь неукротимой любви и ненависти.

Так национальный эпос становится эпосом общечеловеческим.

Той же поэзией национально-освободительной борьбы проникнута драма еврейского поэта Самуила Галкина, входящая в репертуар Государственного еврейского театра, «Бар-Кохба».

Действие переносится во II век н. э. во времена восстания против Рима иудеев под предводительством народного вождя Шимона Бар-Кохбы. Главное действующее лицо драмы, ее единственный подлинный герой — народ Иудеи, земледельцы, горожане, ремесленники, воины. Воля народа, воля к борьбе и победе — вот та движущая сила, та фанатическая идея, которая владеет людьми и управляет их судьбами. Величайшее горе, которое может постигнуть человека, — гнев народный; величайшее счастье — любовь народа. Ибо народ — единственный источник силы и мудрости, вдохновения и непобедимости. Он — хозяин своей земли и творец культуры, творец и господин своей собственной истории. Мудрецы, как рабби Акиба, — мозг его, поэты, как Узиэл, — его голос, и герои, как Бар-Кохба, — его вооруженная рука, грозящая гибелью угнетателям.

С самого начала драмы на сцене — народ, волнующийся, ропщущий и призывающий вождя. Гончар и поэт Узиэл, копая глину в горах видит, что она покрыта крупными каплями слез: земля Иудеи плачет под железной пятой римских легионов. Оружейных дел мастер Элиша непрерывно кует мечи для грядущего восстания. Виноградарь Гиллель разносит это оружие по всему городу в тяжелых корзинах, прикрытых сверху листьями и гроздьями винограда. Молодой ученый Йойси со своими товарищами прячется в пещерах, тайно изучая ненавистную римлянам тору. Дети на улицах поют издевательские песенки о римском наместнике. Юродивые, толкаясь в толпе, причитают, оплакивая разрушение храма, и предвещают всеобщую гибель. Крестьяне покидают обнищавшие, опустелые селения и устремляются в города. Из далеких земель, отовсюду, где только рассеяны иудеи, приходят странники за словом, за вестью, знаком, сигналом к восстанию. И по всей стране звучит проповедь рабби Акибы, призывающего на борьбу с Римом.

Так начинается война, которая длится годы.

Исторический смысл и значение этой войны раскрываются в характерах ее вождей — Акибы и Бар-Кохбы.

Престарелый рабби Акиба — один из великих ученых иудаизма, идейный вождь, организатор и вдохновитель восстания. Это еврейский Франциск Ассизский, нищий странник, философ-пантеист, мудрый, как змий, и кроткий, как голубь. Влюбленный в жизнь, он зовет своими друзьями небо и землю и все стихии, любит детей и животных, благословляет все живое и старается не топтать травы под ногами. Сын народа, он живет

жизнью пастуха и рыбака, садовника и виноградаря; его сердце бьется в унисон с биением пульса этой земли, с ритмом посева и жатвы, с вечным круговоротом природы. Он — совесть народа, он — сердце и мозг иудеев, и о мудрости его сплетаются легенды. Но кто любит жизнь, тот ненавидит смерть и ее носителей. И Акиба поднимает народ против Рима, который железом оскверняет землю и делает ее бесплодной, порабощает мирный труд и угоняет в плен лучших сыновей и дочерей страны. И для него эта война — священная война за извечные законы бытия, природы и жизни человеческой против извращенного мира рабства и жестокости.

Не таков Бар-Кохба, «Сын Звезды». Он — человек действия, мятежный фаустовский дух, для которого «вначале было Дело». Полководец революционной армии, блестящий тактик и стратег, он — ученик Рима. Для него эта война — борьба за историческую миссию иудейского народа, единоборство с Римом за то, кому суждено вести народы мира за собой, чьему национальному духу победить в грядущем — римскому или иудейскому. И в этой борьбе им владеет мысль — укрепить Иудею мощью Рима, перенести на еврейскую почву государственный гений и военное искусство римлян и падением Рима навеки возвеличить Иудею. Недаром говорит ему рабби Акиба: «Пока народ останется народом, ты будешь знаменем геройства и любви».

На всех путях ведет и поддерживает Бар-Кохба любовь народная. И горька судьба предателей, врагов народа, старейшины Элизера и богача Менаше. На их головы падает «хэрэм», отлучение от народа и родины, они отмечены клеймом изгнанничества и отщепенства; презираемые римлянами и ненавидимые иудеями, они бродят по земле, как прокаженные или зачумленные, и самое имя их служит проклятием и поношением.

Менаше — своеобразный «скупого рыцаря» и фанатик золота, его воин и знаменосец, его философ и верующий. Золото для него — единственный и вечный двигатель мировой истории, сила всемирно-историческая, оплодотворяющая пустыни, движущая народами и порождающая их великие столкновения. Грезы его порождены безмерной жаждой величия и зажжены огнем лихорадки. Он мечтает, чтобы золото его, брошенное на чашу весов истории, перевесило меч Рима и тору Иудеи; он жаждет заставить служить себе и победителя и побежденного: строить и разрушать города и страны, объявлять войну и заключать мир, править судьбами народов. Жизнь представляется ему азартной игрой, где ставкой — власть, а проигрышем — позорная казнь. И он становится агентом Рима в Иудее, государственным изменником и шпионом, пока не погибает от руки Бар-Кохбы.

Так исполняется знаменательное слово рабби Акибы:

Погибнуть должен тот, кто жизнь народа предал. Иль путь к нему забыл, живя собой самим. Страшнее нет судьбы, чем вызвать гнев народа. Нет счастья большего, чем быть любимым им.

Тема крестьянского восстания, стихийного мужицкого бунта красной нитью проходит сквозь драму грузинского писателя Сандро Шаншиашвили, поставленную в Тбилисском государственном театре имени Руставели, «Арсен». Это историческая хроника из времен крестьянской войны, построенная по образцу таких крупнейших произведений западноевропейской литературы, как «Гец фон Берлихинген» Гёте или «Жакерия» Проспера Мериме.

Перед нами встают знакомые картины жакерии. Красный петух взлетает над крышами княжеских замков. Сигнальные костры вспыхивают на возвышенностях, огненным кольцом охватывая весь мятежный край. Карательные отряды свирепствуют в опустошенных и покинутых деревнях. В тюрьмах томятся бунтовщики, ожидая петли или плахи. В горах и лесах залегли повстанцы, угрожая замкам и находя в селениях хлеб, кров и братство. Шумит и волнуется крестьянская стихия, и в народе бродят таинственные слухи о каких-то общинных землях.

Герой драмы — Арсен Одзелашвили, прославленный в народных песнях и преданиях вождь крестьянской партизанщины, боровшийся против гнета грузинских феодалов и русских колонизаторов первой половины XIX столетия.

В облик его гармонически переплетаются общечеловеческие и национальные черты. Ибо прежде всего это — эпический, песенный образ легендарного крестьянского вождя, брат по духу азербайджанского Кер-Оглы, русского Степана Разина и Емельяна Пугачева, германского Иосса Фрица и Томаса Мюнцера. Он — Жак-Простах, герой жакерий и крестьянских войн, герой Одиссея крестьянства и городского плебса, выходец из народа, великий безыменный бунтарь, чье лицо без конца повторяется на протяжении веков в чертах вожаков восстаний. Это мужицкий князь, надежда крестьянства и мститель за него, судьба и палач хищников-феодалов, носитель идеи утопического «мужицкого рая», раздающий по селам и деревням дарственные грамоты на землю и воду, нивы и пастбища, леса и реки. В его героической жизни и смерти выразилась трагедия крестьянского движения, в силу исторических обстоятельств терпящего поражение в неравной борьбе с врагами и угнетателями народа.

В то же время он — подлинный сын своего народа, сын грузинской земли. Когда он говорит с

своей возлюбленной, он осыпает ее словами и образами народных песен, той древней восточной лирики, что вошла в плоть и кровь этих людей. Он умеет поражать врага не только оружием, но и острым сатиры, скрывающимся в старинной гримасе, жалом древнего изречения, умеет воспламенять массы преданиями, легендами, песнями, сохранившимися с прадедовских времен.

Ему противостоит весь «старый режим», все силы воинствующей феодальной реакции в лице князя Заала Бараташвили. Это типичный феодальный сеньор, выродившийся потомок старинного рода, в жилах которого течет царская кровь, надменный и расточительный, жестокий и сластолюбивый, рассматривающий своих крепостных как чернь, как рабов, как скот. И когда, наконец, наступает срок расплаты и он предстает перед судом народа, не дрогнув, встречает он свой смертный приговор.

Вокруг Арсена сплотились повстанцы, крестьяне села Марабы, его родичи и соседи и его названные братья, связанные боевой клятвой. Здесь Гонджа, народный певец, мудрец под шутовской маской, рыцарь без страха и упрека, странствующий поэт и музыкант. Босой и в рубище, со своей вольницей обходит он хижину и замки и песнями разжигает в массах пламя восстания. Здесь Онисим — древний старец, богатый славой и мудростью старины, живая память прошлого, носитель гнева народного и заветов мщения; Гиви — солдат освободительной борьбы грузин против России, всю жизнь хранивший старые клочки боевых национальных стягов и ныне увидевший родину и народ выданными «белому» царю, и многие другие. И среди них — русский солдат, бывший крепостной Васька Митрохин, друг и побратим Арсена, дважды спасенный им от смерти, землероб, отказавшийся стрелять в восставших грузинских крестьян. И в этой дружбе на жизнь и смерть, скрепленной мужицким потом и солдатской кровью, как солнце в капле воды, отражается великое братство наций.

От пули предателя, наемного убийцы, гибнет Арсен в своем горном гнезде; застрелен русскими солдатами Васька Митрохин; вечным сном заснули в скалах и ущельях повстанцы, зарубленные в бою. Но живет в народе песнь об Арсене и до сих пор звучит в селах и деревнях родной Грузии:

Зазеленеет тополь правды,
Хотя б он вырос на скале,
Любовь и правда жизни нашей
Засохший тополь оживит.

Богатейший мир фольклора, образов, мотивов и сюжетов народного творчества, сказочно-песенный мир открывается в музыкальной драме Я. Нугманова и Е. Брусиловского «Ер-Таргын», поставленной Государственным узбекским музыкальным театром.

В истории «Ер-Таргына» царит та же атмосфера, которой проникнуты древние германские и скандинавские саги.

Ибо век «Ер-Таргына» — век кочевий казахского народа в безбрежных степях Средней Азии — напоминает нам зарю европейской истории, древнегерманский мир, переселения племен, народные передвижения, острые племенные распри, раздоры и смуты, вооруженные столкновения.

История Ер-Таргына, героя казахского эпоса XVI века, изгнанника и скитальца, военачальника и наемника многих степных ханов, — та же жизнь викинга, короля морей и искателя подвигов, с небольшой дружиной отборных храбрецов совершавшего путь от Северного и Балтийского морей до Атлантики и Средиземноморья. Те же дальние поездки, тяжкие бранные труды, битвы, пиры, тот же дух вольнолюбия, безудержной отваги, необузданного гнева, любви к странствиям.

Самый образ Ер-Таргына, обрисованный чертами суровой стихийной мощи и ярости, вызывает в памяти легендарных скандинавских витязей, сынов северных морей и ледяных берегов, где царит вечная ночь.

Спасаящийся бегством от смертной казни, скитается Ер-Таргын в степях, не зная отдыха и пристанища. Земля — его ложе, небо — шатер, единственный надежный друг и товарищ в боях — верный конь Тарлан. Наемник, он всю жизнь сражается под чужими знаменами, переходя от одной ханской ставки к другой, спасая от вражеских нашествий чужие страны и совершая подвиги для чужих народов. Всюду над ним расстилаются незнакомые небеса, он забывает язык племени и имя родины. На всех путях его преследуют измена, предательство, угроза смерти. Но, обманутый, ограбленный, чувствуя кинжал убийцы за спиной, покинутый своими джигитами на произвол судьбы в степи без пищи и без воды, страдая от тяжких ран, Ер-Таргын неистребим.

Ибо он — ходок от народа, правдоискатель, в своих скитаниях устремляющийся к сказочной стране, где царят истина и справедливость, где народ не стонет под ханским гнетом и сам владеет скотом и богатствами. Ибо в облике его воплощен казахский народ-богатырь, любящий свою кровь рекой, ограбленный, связанный и преданный своими властителями, хищными степными ханами.

Народная сказка-легенда заложена в основу музыкальной драмы «Баир», принадлежащей перу драматургов Г. Цыденжапова и А. Шадаева и композиторов П. Берлинского и Б. Ямпилова, показанной на декаде бурят-монгольского искусства в Москве.

Легенда о Баире — это воспоминание о борьбе вольных пастушеских и охотничьих бурят-монголь-

ских племен за свою независимость от ханов, за свое национально-историческое бытие.

Герой драмы — Баир, вольный сын степей, могол дочингисхановых времен. Он — сын общества, которое еще не знает власти денег и зещей, вражды между богатым и бедным, угнетения человека человеком. Он — младший, любимый сын племени, которое живет одной большой семьей, с общинной собственностью, натуральным хозяйством и родовым бытом, с архаической военной демократией и свободным республиканским духом, с языческим культом природы и богатейшим народным искусством. В крови его живет героический, воинственный дух эпохи расцвета варварства: безграничное свободолобие, демократический инстинкт, отчаянная смелость, железная выносливость и независимое, строптивое самосознание, гордая любовь к славе и презрение к смерти. Это человек эпических веков, мощный телом и духом, словно высеченный из одного куска скалы. Острая впечатлительность, безудержная игра воображения, необузданность порывов соединяются в нем с умолимой строгостью в исполнении долга чести, с верностью слову, обету, клятве кровника, с преданностью вождю или названному брату. Он совершает сказочные подвиги: пронзает стрелой ушко стальной иглы, привязанной к рогам живого быка, убивает чудесную огненную лису — тотем племени, добывает свою невесту хитростью и силой, похищая ее из вражеского плена.

Баир — это тот образ героя общемонгольского национального эпоса, который был создан народными певцами.

Лютый враг Баира — хан, «джехангир», «повелитель мира», песенный образ потомков завоевателей, чингисханидов и тимуридов. Этот типичный азиатский деспот, окруженный ратниками, придворными и челядью, — алчный и жестокий властитель военно-феодалного государства, простирающего шупальцы во все стороны, к тайге и к снеговым хребтам Саяна, где кочуют вольные племена. И поднимается священная война вольных монгольских племен за право пасти стада и охотиться на своей земле, не зная власти ханов, их золота и их меча, их кровавых грез о мировой империи. Война Баира с ханом — это «борьба времен» дочингисхановской эпохи и века чингисханидов, столкновение двух хиропорядков — первобытной родовой общины и военно-феодалного государства под ханской властью. В этой борьбе побеждает племя Баира, гибнет хан в единоборстве с Баиром и торжествует свободный народ на свободной земле.

Романтические мотивы народной поэзии звучат и в узбекской музыкальной драме Т. Садыкова «Лейли и Меджнун» по одноименной поэме великого узбекского классика Мир Алишера Навои.

Меджнун — один из «вечных образов» мировой литературы, характерный для восточного романтизма. Это романтический тип поэта, сложившийся в странах арабо-иранского востока в X—XII веках и просуществовавший почти тысячелетие. Это странствующий рыцарь, пустынный и поэт, чье имя на Востоке стало нарицательным для влюбленного, — старший брат трубадуров, труверов и миннезингеров западноевропейского средневековья. Пробразом его послужил арабский поэт Кайс-ибн Мулаваха, живший в пустыне и прозванный «меджнуном», одержимым. Древнейшие арабские источники передают его собрание стихов и легендарную биографию. Арабские завоевания и создание халифата разнесли поэзию Меджнуна и историю его жизни и любви по всему восточному миру, от Ирана до Закавказья. Первым, кто создал этот образ в поэзии, был великий восточный романтик, гений азербайджанского народа Низами: вслед за ним множество поэтов повторили историю Меджнуна на всех языках Востока. Но каждое поколение по-своему переосмысляло этот образ, оживляя его дыханием социальной борьбы своей эпохи, вкладывая в него свой мир идей, чувств и страстей.

В драме проходит перед нами вся история Меджнуна и Лейли, этих восточных Ромео и Джульетты, разлученных волею отцов и соединившихся лишь в смерти: ранняя юношеская любовь, разлука и насильственное замужество Лейли, бегство Меджнуна в пустыню, вдовство Лейли и кратковременная встреча влюбленных, смерть Лейли в разлуке, паломничество Меджнуна на могилу любимой и гибель его.

Автор драмы видит разгадку Меджнуна в том, что он — сын своего века, эпохи второго переселения народов, великой встречи Востока и Запада, эпохи гибели царств, нашествия кочевников и крестовых походов, феодальных и религиозных войн. Трагедия Меджнуна — это трагедия современника «конца века», очевидца гибели своего мира. Гений сумрачный и мятежный, подобно дантовскому, он стоит на рубеже веков, на пороге двух миров, ослепленный светом двойной зари: он — человек позднего средневековья, в муках предчувствующий расцвет новой эры.

И в то же время это первый человек нового времени. Философ, пантеист, он бросает вызов ортодоксальному исламу; мятежник, он восстает против освященного веками быта, морали, религии, всего уклада социальной жизни; гуманист, он провозглашает свободу личности, свободу мысли и чувства. Он — человек из породы основателей революционных ересей и сект. Его безумие — историческое предвидение революционера и социального реформатора; он — единственный носитель разума в этом мире всеобщего помешательства, оклеветан-

ный безумцами. Его уход в пустыню — не бество, но разрыв со старым миром в поисках новых путей. Он вернется с проповедью ученья, под знаменем которого объединит все те силы, которые могут взорвать этот старый мир.

Романтическому образу великого народного поэта посвящена также драма грузинского писателя Шалва Дадияни «Руставели».

Перед зрителем разворачивается монументальная, многокрасочная фреска с множеством фигур, сцен и эпизодов, изображающая «золотой век» Грузии, эпоху царицы Тамар. Пестра и многолюдна галерея образов — двор Тамар, окружающая ее феодальная знать, эриставы и атабегги, полководцы и воины, сановники и князья церкви, придворные дамы, поэты, философы и певцы. Целый мир теснится на сцене, напоминая иллюстрации Кобуладзе к поэме Руставели.

Здесь и Кахабер Великий, с головы до ног падалин и рыцарь, достойный восседать за Круглым столом короля Артура; Чабуа, принц крови, выродившийся потомок некогда могучего царского рода; Эргасладзе, придворный, льстец и изменник, искусленный в интригах; молодой, отважный Датуна, воин и влюбленный; Зосима — грешный монах, терзающийся искушениями мозга и плоти; военачальники князя Захария и Иванэ Долгорукий и прекрасные дамы Тамта и Мзевинар, царицы этого двора, так напоминающего феодальные дворы позднего средневековья в Провансе, Лангедоке и Сицилии.

И в центре — гений грузинского Ренессанса — Руставели. Он выступает в пьесе как первый гражданин своего отечества и государственный деятель, министр и полководец, социальный реформатор и законодатель, политический мыслитель с огромным «чувством времени», историческим прозрением и, прежде всего, слуга народа. Его универсальный, всеобъемлющий ум, ум ученого и поэта, крупнейшего просветителя и энциклопедиста, охватывает все области культуры своего времени и всюду оставляет яркий след. Он — первый в государственном совете и ратном строе, в философских диспутах, рыцарских турнирах и состязаниях певцов, за застольной чашей и в схватке один-на-один с диким зверем пустыни. Страстный поклонник мудрецов и философов античности, язычник и эллин в душе, он — великий жизнелюбец, чьи глаза, сердце и разум никогда не устают насыщаться красотой окружающего мира. Гений, опередивший свой век, он — ранний возрожденец, борющийся с темными силами средневековья.

Вокруг кипит борьба гражданских, политических страстей. Один за другим сменяются претенденты на брачный венец Тамар и грузинский трон; пле-

тется сеть дворцовых интриг, заговоров и измен; хлещут мутные волны алчности, властолюбия, жажды мщенья; уже куются цепи узника для Руставели и меч, который будет занесен над этой светлой головой.

Но, быть может, один только Руставели видит исторический смысл эпохи. Он один знает, что борьба идет за рождение нации, ее искусства и культуры, ее языка и поэзии; что пробил час для грузин, когда этот народ станет народом всемирно-историческим. Он верит, что в Грузии, на родине его, зажглись первые лучи Возрождения, в то время как вся Европа остается еще погруженной в мрак средневековья, что здесь произойдет встреча культур Запада и Востока, сюда переместится жизненный центр народов и забьется новый пульс мировой жизни. И, движимый этой великой идеей, он остается спокоен и тверд той особенной, сократовской ясностью духа и на вершине власти, у трона, и в опале, в тюрьме, в ожидании плахи, и над рукописью своего творения.

Так рождается поэма Руставели — «Витязь в тигровой шкуре».

Бессмертно великое произведение искусства, — говорит Дадияни, — потому что в нем выражен гений эпохи и народа, потому что бессмертен народ, создавший его. И на протяжении столетий горит этот светоч, и каждое новое поколение зажигает свой факел от его огня, чтобы передать пламя дальше, в будущее. . .

С пьесой Дадияни перекликается драма замечательного азербайджанского поэта лауреата Сталинской премии Самеда Вургуну — «Вагиф».

Герой ее — Молла Панах Вагиф, гениальный азербайджанский поэт, ученый и государственный деятель конца XVIII века, великий визирь карабахского ханства, воин освободительной борьбы Азербайджана и всего Закавказья против иранского завоевателя Ага-Магомет Каджар-шаха.

Кровавый закат кровавого века. Непрерывные феодальные войны отдельных азербайджанских ханств раздирают на части страну. Коварством, жестокостью и тиранией возвышается Карабах. Огнем и мечом проходит из Ирана по Закавказью кроважадный скопец-шах Каджар, одна из самых жутких фигур восточной истории. Осаждена и взята крепость Шуша, столица Карабахского ханства. Идут всеобщий разгром, грабежи, резни, массовые казни. Смерть Каджар-шаха от руки подосланного убийцы, Магомет-бек, племянник Ибрагим-хана, вторгается в Шушу и захватывает карабахский трон. И вновь переполняются темницы, и кровью залито лобное место, и слуги нового хана, как звери, рыщут по городу, вырезывая всех

сторонников прежней власти, стремясь истребить самое семя их на земле.

И среди всего этого хаоса феодальных распрей, дворцовых переворотов и чужеземных вторжений—Вагиф, человек словно иного мира, иной эпохи. Прежде всего он гуманист и просветитель, и эта горячая, просветленная человечность — единственная страсть всей его жизни. Государственный деятель, он провозглашает принцип народоправства, верховный суверенитет народа над властителями, грозит возмездием угнетателям и призывает к тираноубийству. Враг корана, он ненавидит фанатизм черни и воинствующей реакции шейхов и мулл, он исповедует широкую религиозную и национальную терпимость. Он зовет к братству народы Закавказья, преклоняется перед гением русской и западной культур и стремится пересадить их на почву Азербайджана. Философ, он верит во всемогущество разума, в извечную гармонию космоса и неизбежность его законов. Но в центре мироздания для него — человек, идеальная, высокоодаренная и гармонически развитая личность, гражданин грядущего счастливого и свободного мира.

И Вагиф становится вождем народного движения, народным трибуном и поэтом, воином и певцом освободительной борьбы, знаменем в борьбе народа против чужеземцев.

В этой борьбе бок-о-бок с Вагифом стоят его друзья: Эльдар, преемник и наследник легендарного азербайджанского героя Кер-Оглы, вождь повстанцев, крестьянский сын, простой пастух, выдвинутый событиями в полководцы народной армии, весь без остатка отдавшийся своему народу и его делу; поэт Ведади, духовный брат Вагифа и самый близкий ему человек на земле, патриархальный старец с бесхитростным и мудрым сердцем; Гюльнар, невестка Вагифа, обаятельный образ героической женщины Азербайджана, которая не страшится сменить прялку на меч и вступить в отряд Эльдара, чтобы бороться за освобождение родины.

Лучшие дети азербайджанского народа идут за своим любимым поэтом и мудрецом, воодушевляемые его песнями, поддерживаемые его огромным личным обаянием и верой в победу истины и справедливости.

Ибо для Вагифа война с Каджаром — это борь-

ба пера с мечом, разума с безумием, свободолюбия с тиранией, человечности с грубой животностью. В знаменитом диалоге с шахом он выступает как борец за свободу мысли и творчества, за права народные, за бессмертие разума:

Вагиф

Высокий дух не гнется никогда.

Каджар

Когда в бою скрещаются мечи,
Ничтожный дух, смиряйся и молчи!

Вагиф

Одна есть правда — гордость человека,
Ей склеп и колыбель — безмерность века.

Каджар

А что ж тюрьма, где заключенный слеп?

Вагиф

Украсит человек и мрачный склеп.

Каджар

Поэт, ты в мыслях только с небом связан?

Вагиф

Границ не знал со дня творенья разум.

Горе завоевателям! — устами своего героя говорит Самед Вургун. Напрасно они разоряют города и страны и превращают цветущий край в пустыню. Напрасно земля дрожит под тяжестью полчищ, и пыль застилает солнце, и реки текут кровью вместо воды... Тираны погибнут, а народ останется. И останутся те, чьи соколиные сердца не уставали биться в такт с сердцем народа, люди мысли и пера, поэты и мыслители...

Так на сцене наших национальных театров выступает драматизованная героическая эпопея. Ее сюжет почерпнут из истории народов, истории национально-освободительных войн, крестьянских восстаний, революционной борьбы. Ее образы заимствованы из мира героического эпоса, легенд и преданий, из исторической памяти народов, воплотившейся в песенной стихии народного творчества. Национальная драма наших дней — это возрождение в советской драматургии стиля героического романтизма.

Вл. Орлов

ВОКРУГ ГРИБОЕДОВА

1. МНИМОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ ГРИБОЕДОВА

В «Литературной Газете», 1939, № 2, было опубликовано следующее стихотворение, якобы принадлежащее А. С. Грибоедову:

В АЛЬБОМ Н. Н.

Приветом доброго желанья
Счастлив, кто мог хотя на час
Вам нравиться и жить у Вас
Приятностью воспоминанья.

Но тот счастливее в судьбе,
Кто Вас к мечтам любви склоняет,
Кто не в альбоме о себе,
Но в сердце память оставляет.

«Впервые публикуемое» стихотворение это было извлечено из альбома грузинского поэта XIX века М. Б. Туманишвили, где оно подписано именем Грибоедова. Автор публикации, ссылаясь на знакомство М. Б. Туманишвили с семьей Чавчавадзе, высказал предположение, что найденный им альбомный мадригал посвящен Нине Чавчавадзе, на которой в 1828 году женился А. С. Грибоедов.

Каждая новая строка Грибоедова драгоценна, тем более что произведения его дошли до нас далеко не полностью. Однако, чтобы у кого-нибудь не возникло соблазна обогатить за счет приведенного мадригала фонд сочинений Грибоедова, сообщая, что мадригал этот принадлежит мелкому поэту пушкинской поры, Ефиму Зайцевскому, и был напечатан самим Зайцевским в журнале «Новости Литературы», 1825. кн. XII, стр. 63 (под заглавием: «В альбом Е. И. К—ой» и с пометой: «1824. Одесса»).

2. НЕИЗВЕСТНАЯ ЭПИГРАММА В. К. КЮХЕЛЬБЕКЕРА

В журнале «Литературные Листки», 1824, часть III, № 16, появился фельетон Фаддея Булгарина «Литературные призраки», имевший прямое отношение к Грибоедову, незадолго перед тем приехавшему в Петербург (после длительного пребывания в Иране) и познакомившемуся с Булгариным.

В бойком фельетоне этом, в порядке противопоставления бездарным и невежественным поэтам-подражателям, был выведен «истинный литератор» Талантин, в котором более или менее осведомленному читателю не трудно было угадать Грибоедова: Талантин «недавно прибыл в столицу из отдаленных стран, где он находился на службе»; ему принадлежит комедия, напечатанная и игранная на сцене (Булгарин имел в виду, вероятно, «Молодых супругов», либо «Притворную неверность» — ранние комедии Грибоедова); наконец, у него «есть другая комедия в рукописи, которая воскресит у нас на сцене память фон-Визина» (то есть «Горе от ума»).

Талантин подробно излагает свои литературные мнения, разительные напоминающие аналогичные высказывания самого Грибоедова. Можно предположить, что Булгарин в данном случае с большой точностью передал подлинные грибоедовские суждения, подслушанные им в литературных салонах Петербурга, и, благодаря этому, его фельетон приобретает важное литературно-биографическое значение в качестве одного из источников, раскрывающих систему эстетических взглядов Грибоедова. В частности, это относится к высказываниям Та-

лантина-Грибоедова по вопросу о важности изучения восточных языков и литератур.

Грибоедов был сильно раздражен бестактными похвалами рекламного тона, которые расточал по его адресу Булгарин в своем фельетоне. В резком письме (от начала октября 1824 года) он известил Булгарина о прекращении их знакомства:

«Лично не имею против вас ничего, — писал Грибоедов, — знаю, что намерение ваше было чисто, когда вы меня под именем Талантина хвалили печатно и, конечно, не думали тем оскорбить. Но мои правила, правила благопристойности и собственное к себе уважение не позволяют мне быть предметом похвалы незаслуженной или во всяком случае слишком предускоренной».

Вскоре впрочем Грибоедов примирился с Булгариним.

С этим эпизодом связана неопубликованная эпиграмма, сохранившаяся среди бумаг кн. В. Ф. Одоевского (Гос. Публичная библиотека им. Салтыкова-Щедрина) и принадлежащая, очевидно, перу приятеля Грибоедова и В. Ф. Одоевского, известного декабриста В. К. Кюхельбекера. Во всяком случае, эпиграмма записана рукой Кюхельбекера. Предназначалась она, нужно думать, для журнала «Мнемозина», издававшегося в 1824—1825 годах Кюхельбекером совместно с В. Ф. Одоевским.

Вот эта эпиграмма:

ПАН ТАДЕУШ

Тадеуш, убедясь, что брань его не жалит,
Переменяет теперь и тактику и речь:
Чтобы Талантина упечь,
Талантина в своем Журнале хвалит;
Не может ничего он фонарем прижечь,
То хоть надеется, что, прислужась, засалит!

1824

Булгарина в полемической литературе часто именovali Тадеушем, намекая на его польское происхождение.

Приведенная эпиграмма открывает собой целую серию стихотворных сатирических произведений, высмеивавших страсть Булгарина хвалиться дружеской близостью к знаменитым писателям в целях укрепления своей ущербной общественно-литературной репутации. Особенно любил Булгарин ссылаться на свою дружбу с Грибоедовым. После смерти Грибоедова он многократно высказывался на эту тему в печати. Во многих эпиграммах Булгарин изобличался в том, что он из корыст-

ных побуждений «набивается в дружбу к покойнику».

К усопшим льнет, как червь, Фиглярин неотвязный.
В живых ни одного он друга не найдет,
Зато, когда из лиц почетных кто умрет,
Клеймит он прах его своею дружбой грязной, —

писал П. А. Вяземский.

Что ты несешь на мертвых небылицу,
Так нагло лезешь к ним в друзья?
Приязнь посмертная твоя
Не запятнает их гробницу! —

вторил Вяземскому Н. Ф. Павлов.

И, наконец, в анонимной эпиграмме, приписывавшейся долгое время Пушкину, прямо было отмечено стремление Булгарина связать свое грязное имя с именем Грибоедова:

Ты целый свет уверить хочешь,
Что был ты с Чацким всех дружней:
Ах ты, бесстыдник! Ах, злодей!
Ты и живых бранишь людей.
Да и покойников порочишь.

3. ЭКСПРОМТ П. П. СВИНЬИНА ГРИБОЕДОВУ

Любезнейший Александр Сергеевич!
Для трех твоих и Пушкина бесценных строк
Готов три года дожидаться;
Но видишь: одному еще поэту вышел срок
И завтра в армию пришлось отправляться;
А мне хотелось бы его завербовать.
Вот почему прошу альбом мой мне прислать.

Автор экспромта — Павел Петрович Свиньин (1787—1839), известный в свое время писатель и журналист, путешественник и историк, собиратель музея «древностей» и коллекционер автографов разных государственных и литературных деятелей.

Приведенное стихотворение Свиньина (сохранившееся среди его бумаг в Гос. Публичной библиотеке им. Салтыкова-Щедрина) свидетельствует о его довольно близком знакомстве с Грибоедовым.

По смыслу экспромпта видно, что Свиньин просил Грибоедова написать что-нибудь в его альбом. Произойти это могло в 1828 году, между 14 марта, когда Грибоедов приехал из Ирана в Петербург с текстом Туркманчайского мирного договора, и 6 июня того же 1828 года, когда, назначенный министром-резидентом в Иран, он выехал из Петербурга к месту своего назначения.

Б. Соловьев, «Воспитание характера». Изд. «Советский Писатель», Л., 1941

За последнее время в нашей литературе появился ряд книг, посвященных воспитанию молодого человека. Авторы этих книг стремятся возратить занимательность и увлекательность нашим романам, утратившим ее в годы некоторого пренебрежения к архитектонике и к динамическому развитию сюжета.

К этому разряду книг следует отнести увлекательный роман Каверина «Два капитана». К этому же разряду книг причисляем мы и роман Соловьева «Воспитание характера». Я не намерен сравнивать эти романы. Общее в них, пожалуй, — только тема воспитания молодого человека и повествование от первого лица, особенность, кажущаяся незначительной на первый взгляд, но важная. Она придает произведению характер исповеди, а следовательно — правды. Обаяние романтической правды наложило свою печать на роман Соловьева, рисующий судьбу молодого человека времен гражданской войны.

Уже самая тема и то, что автору в основном удалось создать образ молодого человека, может быть временами склонного к излишней рефлексии, но в трудную минуту самоотверженного и мужественного, — уже это располагает читателя в пользу романа Соловьева.

Герой романа Николай Шиягин, сын прачки, принятый в гимназию из милости, вступает в жизнь в Оренбурге накануне революции. Выгнанный из гимназии, герой попадает в маленький горнозаводский уральский городок Синесточинск. Он живет, учится и работает у создателя синесточинской библиотеки, гуманиста Александра Матвеевича, погруженного в свои книги и отвлеченное философствование.

Автор заставляет героя полюбить дочь Александра Матвеевича, гимназистку Наташу. Тема любви проведена через весь роман и тесно связана с темой служения революции. Николай Шиягин попадает в водоворот событий, вполне обыкновенных для лет гражданской войны, но романтических, полных героизма и мужества.

Нет необходимости излагать подробно все приключения Николая Шиягина. Но основные конфликты, определившие направление развития героя,

следует отметить. Переселение героя в советский Синесточинск совершилось в то время, когда на Урал надвигалась белая армия Колчака, в то время, когда город и его сердце — металлургический завод — только лишь приступали к организации советской жизни. В борьбу за советскую власть против сторонников реставрации, против управителя и его друзей на заводе, вовлекает Николая Шиягина секретарь парткома.

Фигура секретаря, простого рабочего, хотя и недостаточно ярко изображена Соловьевым, но все же полна благородства и обаяния уже по самой своей роли и судьбе в романе.

Вообще Соловьеву, как мне кажется, значительно лучше удалось распределить роли между своими героями, наметить конфликты и ситуации, иногда острые, содержательные и неожиданные, чем изобразить своих героев, особенно некоторых из них. Почему это так случилось, я постараюсь объяснить в дальнейшем.

Секретарь парткома изображен через внутренний конфликт, интересный и новый. Конфликт этот заключается в следующем. На митинге, чтобы успокоить рабочих, секретарь клянется, что белые войдут в город только через его труп. Наступает время эвакуации, и секретаря мучит его клятва. Во что бы то ни стало умереть, защищая город, когда это не нужно советской власти? С другой стороны, не потеряет ли он доверия и любви рабочих, если клятва его окажется пустым словом? Юный Шиягин советует секретарю объяснить рабочим ошибочность своей клятвы.

И как раз в это время секретарь гибнет от руки врага. Его смерть враги объясняют самоубийством, исполнением клятвы. И только Шиягин, знавший о новом решении секретаря, не верит этим объяснениям. Развитие событий приводит Шиягина в конце романа к тому, что он карает смертью убийцу секретаря парткома. Смерть секретаря и возмездие за убийство — одна из сюжетных нитей романа.

Другая линия связана с отношением Шиягина к инженеру завода Европеусу. Этот маленький человек, влюбленный в ненавистную Шиягину философию Ницше, мнит себя сверхчеловеком. Замысел интересный. Но образ Европеуса мало определился в романе. Это произошло из-за приверженности автора к повторению раз навсегда прикрепленных к герою деталей (у Европеуса тросточка и галстук

с помпонами). Может быть, эти детали сами по себе и нужны, но при повторении они, естественно, вытесняют те новые черточки, необходимые для изображения героя, которые могли бы показать его с новой стороны и тем самым обогатить образ. Вот почему Европеус в замысле автора интереснее, чем в романе. Европеус — интеллигент, ницшеенец; его можно встретить на страницах «Клима Самгина»; в романе Соловьева он упрощен и схематизирован. Читатель примирится с ним только потому, что роль его в развитии сюжета и тем самым в судьбе героя весьма значительна.

Шилягин, до приезде в Синеисточинск вступивший в отряд заводской самоохраны, был послан с обыском к Европеусу, вскоре после того как приревновал его к Наташе и возненавидел. Надо сказать, что этим эпизодом, как и рядом других, автор ставит своего героя в положение, приводящее к внутренним конфликтам. Шилягину, революционеру и гуманисту, приходится рыться в чужих столах. Но Шилягин побеждает в себе это чувство, и тут же обстоятельства доказывают ему необходимость для защиты революции этих неприятных ему обязанностей: у ненавистного Европеуса Шилягин находит припрятанное оружие.

Обстоятельства бросают героя от одного внутреннего конфликта к другому. В этих столкновениях и совершается воспитание героя жизнью.

Наибольшее испытание приходится пережить Шилягину, когда он по ряду обстоятельств, вопреки желанию, остается в Синеисточинске после вступления белых. Главы, начиная с ареста, описывающие эти испытания, из которых Шилягин, в конце концов, выходит победителем, — самые динамичные в романе. Местами в них, может быть, преувеличенно-романтично, но все же увлекательно изображено незаурядное мужество героя.

Однако в том, что автор позволяет Шилягину, хотя бы и недолго, открыто жить и работать в подполье в Синеисточинске, где теперь управляет Европеус и где все знают Шилягина, автор грешит против правды.

В самом начале этих испытаний, в тюрьме, происходит примирение Шилягина и Наташи в минуты полной неизвестности о дальнейшей судьбе героев. Автор удачно выбрал место и своевременно разрешил конфликт между Шилягиным и Наташей в романтической, трогательной сцене, несколько отяжеленной предшествовавшими ей размышлениями героев.

Но самый конфликт между Шилягиным и Наташей автором обеднен. Оказывается, у Наташи не было никаких чувств к Европеусу, она хотела только позлить Шилягина, а он, Шилягин, ничего не понял. Автор напрасно обедняет и Наташу и самый конфликт, превращая его в отголосок гимназических пустых отношений. Подлинная, хотя и мимолетная заинтересованность Европеусом несколько не разрушила бы обаяния образа Наташи. Она углубила бы образ, придала бы ему больше жизненной силы.

После избиения и допросов Шилягина с партий заключенных гонят по этапу в Оренбург. Здесь его водворяют в тот самый кинотеатр «Лоранж», превращенный теперь в тюрьму, где когда-то, в детстве, Шилягин, глядя на экран, пережил столько необыкновенного и увлекательного. После голода, холода и тяжести этапа автор бросает своего героя в страшный быт белоохранительской тюрьмы.

Шилягину угрожает слепота от систематического недоедания. И вот, когда в камере двое арестан-

тов заболевают тифом, он решает во что бы то ни стало заразиться и этой страшной ценой вырваться в лазарет, а там, если выживет, бежать. Шилягину удается осуществить свое необыкновенное намерение.

Этому способу бегства из тюрьмы, небывалому в литературе, веришь, потому что он подкреплен героической романтикой гражданской войны и потому что он действительно иллюстрирует волю человека к свободе и жизни.

Шилягин выздоравливает и бежит.

Побег позволил автору изобразить ряд приключений. Некоторые из них, как, например, встреча в лесу с раскольником, пытающимся задушить героя за то, что он большевик, предельно романтичны и даже несколько гротескны.

Претерпев многие злоключения, Шилягин наконец добирается до Синеисточинска и прячется недалеко от города в пещере, которую он однажды обнаружил вместе с Наташей во время прогулки Большого, в забытые находил его здесь Наташа и прячет в той самой комнатке, в которой прошла вся синеисточинская жизнь Шилягина. Вскоре белые оставляют город. Вступлением Красной Армии заканчивается роман.

Я рассказал только об основных сюжетных линиях романа, не упомянув многих эпизодов и многих людей, иногда изображенных интересно и ярко. К удачным следует отнести образ старого литейщика Левагина. Автору удалось передать и язык старика-уральца. Поговорка Левагина: «Я старого леса кочерга» как-то сразу срослась с обликом литейщика и придала ему оттенок ворчливого добродушия.

Однако, несмотря на то, что Борис Соловьев в этом романе оставил далеко позади свои первые два романа, и его новый роман не свободен от недостатков.

Первый из них — самый существенный: замысел ситуации нередко интереснее, чем выражение ее. Выражено беднее, чем задумано.

Иногда кажется, что Соловьев мало заботится о жизни некоторых своих героев вне их сюжетной роли. На эту мысль невольно наталкивает любовь автора к неизменной характеристике персонажей, внешней и внутренней.

Повторения характеристик героев без всяких вариаций могут рождаться из желания автора закрепить определенный образ. Но тут очень важно не потерять чувства меры. Представьте себе, что вы читаете о герое, который куда-нибудь надолго, на несколько лет, уехал. И затем, когда герой возвращается, автор, не заметив, выводит его к вам в старом платье. Эта маленькая олошность может совершенно убить у вас ощущение времени между первым и вторым появлением героя или погубить героя, придав его облику нечто ложное и неправдоподобное.

Нечто отдаленно напоминающее такой случай происходит с некоторыми героями Соловьева. Время идет, обстановка меняется, а у второстепенных героев все те же, скажем, галстуки и стэки. Иногда невольно задается себе вопрос: в который же раз это повторяется? Посмотришь — для большого романа как будто не так часто, а вместе с тем ощущаешь назойливость детали. Дело не в том, часто или не часто повторяются неизменными некоторые характеристики и признаки, а в том, что нет других, новых, еще что-то интересное рассказывающих о человеке, и вот потому,

что их нет, особенно раздражает повторение старых признаков и характеристик.

Следует сказать еще об одной своеобразной особенности писательской манеры Соловьева. Соловьеву, как поэту, легко писать поэтичной прозой. Там, где иногда следовало бы остановиться и поработать над раскрытием образа, там приходится на помощь автору некоторая поэтическая гладкость и помогает перескочить, — именно перескочить, а не преодолеть, — затруднение. Эти пустоты, к сожалению, имеются в романе.

И тем не менее, несмотря на недостатки, надо признать, что роман Соловьеву в целом удался и найдет своего читателя. Занимательный роман Соловьева стоит в ряду книг романтических, изображающих мужество и героизм, и в этом залог его успеха.

А. Кучеров

И. Рахтанов, «Книга для болельщиков». Изд. «Советский Писатель», М., 1940

В лыжном кроссе профсоюзов, в комсомольском и других кроссах в 1941 году приняли участие шесть миллионов лыжников. Миллионы легкоатлетов, теннисистов, гимнастов, пловцов, стрелков, штангистов, боксеров, велосипедистов, гребцов, конькобежцев ежегодно выступают на наших площадях, стадионах, катках, треках, водных станциях. Их стремительные когорты преодолевают огромные пространства, борясь со штормами пургой, зноем. Они совершают подвиги. Они совершенствуют человеческую природу. Их миллионы. И писатели к ним невнимательны. Они как бы зачислены в герои второго сорта, и писать о них значит делать литературу второго сорта.

Книга И. Рахтанова хороша уже одним тем, что опровергает это молчаливо утвержденное среди литераторов положение. Очерки И. Рахтанова о боксере Королеве, о конькобежце Аниканове, о прыгуне Озолине, о стрелке Богданове — это прочные, полновесные очерки о подлинных борцах за новую культуру.

В коротких очерках экономно уложены большие судьбы людей. Судьба героя всегда волнует. Путь от низин к высотам труден и полон самых волнующих эпизодов. Дуэль двух прыгунов, в течение которой рекордсмен Европы Николай Озолин и его противник восемь раз побивают друг друга, не может не волновать. Почему победил в этой дуэли Озолин, а не его конкурент? Потому что он был упорнее, точнее, потому что он шире и глубже изучал свой предмет, проявил больше выдержки, больше мужества и воли. И его победа — высокая и заслуженная, — учит, как нужно быть упорным, точным, выдержанным, мужественным, волевым.

«Здоровье заразително так же, как и болезнь» (Ромэн Роллан, «Жан-Кристоф»). И это поистине так. Герой книги И. Рахтанова очень «заразительны». Хочется мчаться вместе с братьями Знаменскими по коричневой дорожке гельсингфорского стадиона. Хочется с такой же плавной стремительностью скользить по ледяному полю, как Аниканов, хочется столько же уметь и мочь, сколько умеют и могут Бойченко, Озолин, Шишагин, Пугачевский, хочется идти их путем, а это

очень много, когда читателю хочется идти путем героя повествования.

Нужно много профессионального умения, чтобы заставить читателя вступить на этот путь. Рахтанов это умение проявил в должной мере.

Очерки его интересны не только по материалу, очень свежему для нашей литературы, но и по манере развертывания материала. Достижения героям Рахтанова даются не сразу и не просто. Много неудач, много торможений, срывов. Идет не только рост спортивных достижений, но и формирование характера героя. Узко-спортивные рамки расширяются. Герой объемнее, человечнее, богаче, шире конкретно-сюжетного задания. И от этого выигрышуют в равной степени и герой и сюжет.

Хочется отметить еще одну отрадную особенность книги — почти полное отсутствие технических, спортивных неточностей. Обычно, когда профессионал-литератор берется писать о спорте, развесистая клюква вырастает на благородной литературной ниве с роковой неотвратимостью. Рахтанов почти безгрешен. Во всей книжке я нашел только две спортивно-технические неточности, обе в очерке «Братья-скороходы». Неточность первая состоит в утверждении, что «решающая борьба шла на виражах и закруглениях стадиона. Как сделать, чтобы тут противник тебя не обошел?» (Речь идет о беге братьев Знаменских на 5000 метров.)

Это неверно. В беге, особенно в беге на длинные дистанции, на виражах борьба почти никогда не идет. Никакой опытный бегун (а особенно бегуны мирового класса — Знаменские и их финские соперники) без особой и крайне острой, катастрофической я бы сказал, нужды не будет обходить своего соперника на вираже, потому что, обходя на повороте, приходится идти по внешнему кругу (в то время как противник идет по бровке), то есть бежать лишнее расстояние. Именно поэтому, как правило, почти не знающее исключений, борьба разыгрывается не на виражах, а на прямых.

На соседней странице есть такие фразы: «Остался последний круг. Еще шестьсот метров. Для спринтера это шесть самостоятельных дистанций». Неверно! Длина беговой дорожки по кругу на любом стадионе равна четыремстам метрам.

Подобные ошибки, по счастью, не правило, а исключение в книге Рахтанова. Поэтому их прощаешь, хотя ошибки эти и досадны.

Язык Рахтанова, в общем, прост и непритязателен, но иногда вдруг автора обуревают некое литературное щегольство, и он начинает писать: «Нетрудная гаревая дорожка» или «шаг должен быть широким и ясным». Или начнет очерк с такой псевдоизящной фразы: «Осечки не случилось — пистолет в поднятой руке стартера выстрелил». Что ж тут особенного? Осечки и не должно быть. Осечка — это редкое исключение. И начинать очерк указанием на то, что редкого исключения не случилось, просто ни к чему.

Словом, кое-какие грехи есть у Рахтанова. Но хорошо, что грехи у него мелкие, а достоинства крупные. И напрасно поскромничал автор, назвав свои очерки «Книгой для болельщиков». Книга шире — она, несомненно, «Книга для всех», и книга интересная, нужная, особенно для нашей молодежи.

И. Бражнин

Иван Меньшиков посвятил свою книгу ненецкому народу. Но объект посвящения на этот раз оказался и объектом повествования. «Друзья из далекого стойбища» — это сборник, рассказывающий о ненецком народе, возвращенном к жизни социалистической революцией.

О советском севере, о племенах, от родового быта переходящих непосредственно к социализму, о великих переменах, разворачивающихся в полярных тундрах, — в последние годы написано много книг разной тональности, разного качества. Что же добавляют рассказы Меньшикова к нашим знаниям? Подметил ли молодой автор что-нибудь новое, не открытое, не увиденное до него другими?

Нет сомнений — Меньшиков отлично знает своих героев. Можно предполагать, что он не только добросовестно изучал все перипетии упорной борьбы за советизацию великих северных пространств, но и был непосредственным участником этой борьбы. Таким образом, молодой писатель обладает первейшим и необходимейшим условием плодотворной литературной работы — отличным знанием своего материала.

Но Меньшиков еще не обладает способностью делать жизненный факт полноценным фактом искусства, случай — конфликтом, известного ему человека Ивана Ивановича Иванова — характерным образом, типом. Именно поэтому он легко впадает в дурную литературщину. И получается так, что в сухом, бесцветном описании мы неожиданно наталкиваемся на претенциозную, вычурную метафору. «В душу ее легла первая тень человеческого горя», — пишет Меньшиков. — «Руки, как чайки, взмыли над собранием». И, разумеется, этот манерный, безвкусный образ не может оживить безлового протокола собрания, не делает описание поэтическим. Дурная литературщина и плохой очерк оказываются двумя сторонами одной и той же монеты невысокой стоимости.

Поэтому, читая рассказы Меньшикова, испытываешь странное ощущение. Достоверность повествования не вызывает никаких сомнений, — разумеется, автор пишет о пережитом, виденном, наблюдаемом. Но в то же самое время кажется, что такие произведения можно писать «по источникам» — прочитав книги Горбатова, Гора, Кратта и других авторов, ранее писавших о советском севере. В особенности это относится к повести, открывающей сборник и давшей ему название (кстати сказать, Меньшиков, вообще, умеет придумывать хорошие названия для своих рассказов — жатые и поэтические). Все приключения, которые происходят с учительницей Тоней Ковылевой, известны нам еще со времен фильма Козинцева и Трауберга «Одна». В литературе же об этом гораздо глубже и увлекательнее рассказывал Иван Кратт. И дело здесь, разумеется, не в «запретности сюжета». Нет никакой надобности здесь приводить список превосходных книг, по-разному раскрывающих одну и ту же тему. Беда в том, что Меньшиков не идет дальше перечня событий, что он излагает происходящее скорее как хроникер, а не как художник, и персонажи его настолько плоскостны и неразвернуты, что никак не могут именоваться характерами. Примечательно, что учительница Наташа из рассказа «Няровей» решительно никак не разнится от учительницы

Тони из повести «Друзья далекого стойбища». Различие персонажей исчерпывается различием их имен.

Если бы таковы были и все другие люди, изображенные в рассказах Меньшикова, нам пришлось бы говорить об отсутствии у автора данных для работы в литературе. Но «Друзья из далекого стойбища» — это самая неудачная вещь в сборнике. Следующие за этой повестью рассказы свидетельствуют о том, что Меньшиков обладает хорошей наблюдательностью, умеет видеть людей, умеет выделять качества, определяющие их облик. В книге действует ряд персонажей, очень точно и выразительно передающих характерные черты людей советского севера.

Таков герой рассказа «Основатель города» — Иннокентий Иванович — старый кузнец, поставивший свой дом там, где много лет спустя возник первый арктический город. Иннокентий Иванович ощущает весь этот город своим достоянием — он ходит по улицам сердитый и ворчливый, остро подмечая все изъяны и недочеты, требуя их устранения, гордый своей славой основателя города.

Таков Яптэко Манзадей, хвастун, фантазер, выдумщик. Он считает себя ловкачом и хитрецом, но все его хитрости удивительно легко разгадываемы и наивны. В нем очень много детского, и поэтому хотя он еще склонен к лени, хотя он еще не привык к дисциплине, но в нем заложены богатые возможности, постепенно реализуемые советской властью, колхозным строем.

Таков и Егор Иванович Пырьерко, бывший батраченоч, нынешний депутат Верховного Совета, великий зверолов, слава которого дошла до самой Москвы. Меньшиков очень тонко и искусно нарисовал этот образ, передав во всей его сложности столкновение старых навыков и новых мыслей и впечатлений, происходящее в душе старого охотника.

Однако, с этими удачными образами соседствуют фигуры абсолютно безличные и неопределенные. О кулаке Выль Паше, о батраке Вылако, о председателе колхоза Явтысом нельзя даже сказать, что это схемы. Нам известны только их имена и несколько их поступков. И это, разумеется, не может быть основой сколько-нибудь отчетливого образа. Условность этих персонажей особенно подчеркивается сопоставлением с теми полно и ясно обрисованными героями, о которых мы только что говорили.

Итак, в лучших произведениях сборника Меньшиков создает образы содержательные и полноценные. Но ему гораздо легче дается искусство портрета, чем искусство развертывания фабулы. По сути дела, даже наиболее удачные рассказы построены преимущественно на изображении характера героя, на всестороннем раскрытии его. Когда же Меньшиков пытается от статического описания перейти к динамике, к действию, — он обычно ограничивается простой констатацией фактов, их внешним изложением, и, естественно, в этих случаях бывает неубедительным. Так, например, в заключительном рассказе сборника недисциплинированный Яптэко «перестраивается» без каких-либо оснований. Так происходит и организация колхоза в повести, открывающей книгу.

Есть, однако же, надежда, что это неумение разворачивать фабулу не является органическим, неискоренимым пороком автора. Некоторые рассказы основаны на раскрытии конфликта, напряженного и драматического. В рассказе «Спасите наши души»

речь идет о Ефиме Выерко, радисте, предупредившем о кулацком восстании и заплатившем за это жизнью. Илько Лаптандер — это старый пастух, жертвующий собственными оленями ради целостности и сохранности колхозного стада. «Женщина шьет саван» рассказывает о смерти кулака и шамана Халиманко. Герой рассказа «Наш собственный корреспондент» молодой менец Тэбко отказывается от любимой и любящей его девушки ради выполнения своего долга.

Самое определение фабулы этих рассказов, как видим, говорит о их напряженности и драматичности. И точно — конфликтность этих произведений, драматизм их сюжетов позволяет писателю выразительно раскрыть волнующие его темы — самоотверженность и мужество свободных менцев, ненависть и отчуждение, окружающие врагов новой жизни, процесс формирования социалистического сознания, охватывающий самые далекие окраины нашей страны. Перед нами лишнее доказательство того, что сюжетная литература хороша не только своей занимательностью, но и тем, что она позволяет лучше раскрыть напряженность великой борьбы за создание нового общества. Разумеется, полноценный реалистический сюжет, основанный на развитии жизненных конфликтов, не имеет ничего общего с сюжетом схематическим и условным, с сюжетом-интригой.

«Мне бы песню хотелось спеть об этой веснушчатой девушке. В этой песне я бы рассказал о том, как опускается над миром великая полярная ночь, вспыхивает на полнеба северное сияние, сумеречное и холодное; о том, как лиловеют снега и фиолетовые тени ползут по сопкам от северных звезд. Но где мне найти такие слова».

Да, в своем сборнике Меньшиков далеко не всегда находит полнозвучные слова, полноценные образы. Но и лучшие страницы книги, и рассказы, стубикованные после ее выхода, позволяют надеяться, что слабости и недостатки «Друзей из далекого стойбища» скоро станут прошлым Меньшикова и что, напротив, будущее принесет развитие тех достоинств, которые уже и сейчас сказываются в работе писателя.

И. Гринберг

Виктор Авдеев, «У нас во дворе». Изд. «Советский Писатель», М. 1940

Среди имен молодых прозаиков имя Виктора Авдеева кажется нам одним из наиболее обещающих и интересных.

Тема повести и рассказов, вместе с нею вошедших в книгу, — гражданская война. Казалось бы, трудно молодому писателю найти свою точку зрения для изображения событий, о которых написано много книг, и притом лучших книг советской литературы. Тем не менее, Авдеев оригинален в лучшем смысле слова. Он достигает этого тем, что ставит перед собою задачу сложную и нелегкую и находит для нее убедительное решение.

Для того чтобы увидеть трудности, которые содержит замысел, избранный писателем, достаточно кратко изложить фабулу повести. Действие происходит в большой казачьей станице. Герой произведения — мальчик, внук богатого кулака. Вместе со взрослыми он боится прихода большевиков, не имея однако при этом никакого представления о том,

что это за люди и чего они хотят. Вместе со взрослыми он боится за деда, пойманного красногвардейцами при попытке к бегству из станицы. Вместе со взрослыми он ждет возвращения белых казаков, которых называет «нашими». Мальчик целиком во власти тех взглядов, тех представлений, которые господствуют «у них во дворе» — в семье, благополучие которой основано на собственности и эксплуатации.

Но незаметно для самого героя в его душе происходит коренной переворот. И получается так, что он, еще два дня тому назад ненавидевший бывшего работника, пришедшего к ним в дом вместе с красногвардейцами, теперь спасает этого самого Егорку от белогвардейской расправы. Он поднимает руку на белого казака Каржова, с которым всего лишь за несколько часов до этого развезжал по станице. Вместе с Егоркой он бежит из станицы, из своего родного дома к красным. В течение одного лишь дня ломается вся жизнь героя, все представление его о своем и чужом, о близком и о враждебном.

Как же происходит эта удивительная метаморфоза? Естественна ли она и убедительна ли? Можно ли поверить в то, о чем рассказывает Авдеев? Да, можно.

Мальчик рос, зная одну только «правду» — «правду» стяжателей и собственников. Она еще не вошла в его ребяческий ум. Тима, — так зовут героя, — пока еще механически повторял все, что слышал от своих родных. Он не имел никакого представления о существовании другой правды. Миром был для него их двор; все, что находилось за пределами его, казалось смутным, неясным и незаслуживающим внимания.

И вот вместе с гражданской войной рушилась эта ограда, казавшаяся такой прочной и незыблемой. Герой столкнулся с новой правдой, подлинной правдой, и она покорила его, повела за собой.

При этом герой не понимает, какой глубины и резкости перемены в нем происходят. Он не осмысливает их, не продумывает, не осознает — этому прежде всего мешает его возраст. Он чувствует и поступает непосредственно, почти импульсивно, покоряясь тем непреодолимым стремлениям, которые в нем возникают. С одинаковой силой и быстротой вырастают в нем и отвращение к собственникам и насильникам, и глубокое влечение к народу. С каждым часом он отдаляется от деда, искренно его любящего, и приближается к Егорке, чужому, еще недавно ненавистному человеку.

Как видим, многое здесь зависело от изображения двух миров, борющихся за обладание душой героя. Читатель должен был увидеть и те черты, которые оттолкнули Тиму от одного, привычного ему, мира, и те, которые привлекли его в другой мир, новый и неизведанный. Эту задачу Авдееву удалось разрешить с большим тактом.

Он не приглаживает, не идеализирует красногвардейцев и крестьян, им помогающих. Они резки и суровы, они несут на себе ясные следы темноты и невежества, в которых принуждены были жить веками. И в то же время они добры, доверчивы и простодушны. И главное — они исполнены ощущения своей силы, народной силы, могучей и непобедимой. Эту силу, добрую и справедливую, чувствует герой, и она-то его главным образом и привлекает.

С другой стороны, и в изображении белогвардейцев нет шаржа и карикатуры. Но это люди

своего класса, господство которого основано на эксплуатации и насилии. Они попросту не считают крестьян и рабочих людьми, равными себе. Они отдают распоряжение убить пленных красногвардейцев, просто чтобы избавиться от скучных хлопот, вовсе не думая о том, какую подлость они совершают. И эта деловитость, эта уверенность в законности строя, покоящегося на угнетении и убийстве, — самая страшная и самая античеловеческая черта, свойственная той среде, в которой вырос Тима. Именно эта спокойная жестокость, вдруг проявившаяся так открыто и обнаженно в боях гражданской войны, и поссорила мальчика с его семьей, его двором.

«Когда до германской в станице или даже на отдельном хуторе чья-нибудь злодейская рука «губила неповинную душу», это считалось великим грехом. Всколыхнув тишину мирной округи, долго не умолкали тревожные пересуды, как «он его решил». Бабка справляла по убиенному панихиду, и еще год спустя нас, детей, пугала «злодеем». После того как перед станичным правлением атаман избил портного Арсения, мне целую неделю мерещилась кровь. А теперь у всех на глазах разрушали дома, заживо сгорел скот и народу старались перебить как можно больше, но уже некому было жалеть: каждый думал о себе».

Так потрясает юную душу это несоответствие между привычными для него до сих пор нормами и неожиданно открывшимися перед ним кровавыми делами людей, составлявших до сих пор его среду. Но мальчик, столь остро ощущающий жестокость войны, сам поднимает оружие, чтобы защитить Егорку, и ранит казака. Он незаметно для себя самого сделал выбор, стал участником великой и непримиримой войны. Драматизм этого вступления в борьбу и составляет основное содержание повести Авдеева.

Итак, молодой писатель достиг успеха благодаря тому, что он не ограничился описанием еще одного эпизода гражданской войны, а раскрыл сложный и напряженный конфликт в душе героя — конфликт, получающий естественное и законченное разрешение. Этот конфликт позволяет нам острее и отчетливее увидеть благородную силу народа, в борьбе добывающего правду и счастье.

Эта ясно выраженная гуманистическая направленность повести Авдеева, это последовательное стремление к изображению жизни в ее драматичности и противоречивости позволяет нам с уверенностью назвать того писателя, чье творчество оказало сильное и благотворное влияние на работу молодого прозаика. Имя этого писателя — Шолохов.

Его влияние сказывается и в манере повествования. И в работе над языком, и в характере пейзажей. Речь Авдеева, отнюдь не злоупотребляющего диалектизмами, очень выразительна и колоритна. Многие молодые прозаики, — да и не только молодые, — ищут ныне удивительно бесцветно и серо, стандартно, стёртым слогом. К счастью, этого нельзя сказать об Авдееве. Он умеет чутко слушать, он хорошо чувствует мощную стихию народного языка. Его люди говорят образно и красочно, их речь насыщена поговорками и приговорами, и это придает особую живость персонажам повести. В одном каком-нибудь словечке вдруг раскрывается весь человек:

«Доглядай за домом, — говорит дед Тиме, — а то, как говаривали огородники: на бабу да на

козу надежды не положу». «Довольно дворянству нас загоразивать: им — почет, нам — подсчет», — тоже дед, в дни февральской революции.

«Гроши — тыфу, их руки делают, а совесть от природы — как очи: потеряй и ослепнешь», — это старый конюх Оселок.

«Беда-то, выходит, и раков красит». «Весь расход на народ, весь изъят на крестьян, а денежки — кому? Попу да кулаку», — это бедняк-станичник.

«Дарила меня судьба детками да обедничками». «Окромя таракана не имел скотины». «Долгов — как дыр в туче». «Всего имения — одна чека от чужой телеги», — это из рассказов Егорки.

Как видим, принципы работы над языком здесь те же, что и у Шолохова, умеющего органично вводить народную лексику в литературную речь. Но эта не означает, что молодой писатель ограничивается подражанием. Метод работы над языком, усваиваемый Авдеевым, требует от него самостоятельности и творческой инициативы. Он сам находит новые речения, новые крылатые слова. Точно так же, как мы имели возможность убедиться, он, развивая идейные мотивы, характерные для Шолохова, нашел новый конфликт, новую коллизию, драматическую и значительную. Вот почему и плодотворно влияние Шолохова — оно развивает в писателе творческую смелость и независимость.

Пять рассказов, составляющих меньшую часть книжки, тесно примыкают и тематически и идейно к повести «У нас во дворе». Особенно близок к ней маленький рассказ «Антихрист», заключающийся сборник. Здесь как бы в конспективном и упрощенном виде повторена тема повести: красноармеец завоевывает симпатии мальчика, настроенного против «красных антихристов» баснями выдумками. Но рассказ очень эскизен, не закончен и совершенно лишен того напряжения, которое придает такую значительность основной вещи книги.

Ощущение прекрасной суровости гражданской войны и душевного благородства народных масс ясно раскрыто в двух наиболее удачных рассказах — «Интернационал» и «Казак». Особенно поэтичны те страницы «Казака», где Ивашка Гудыля, прогнанный из красного партизанского отряда за недисциплинированность собственным отцом, командиром отряда, песней дает знать своим товарищам об угрожающей им опасности. Кровью Ивашка искупает свою вину, погибая от белогвардейских шашек, но спасает партизан. Строгая поэзия рассказа очень хорошо выражена в этой сигнальной песне:

Оглянитесь, батя, оглянитесь, войско!

Ворон в небе кричет, он добычу чует...

Можно было бы указать на слабые места, на отдельные погрешности, нарушающие художественную и жизненную правду, например: «антиимпериалистические» разговоры Нади, крошечной сестренки героя «У нас во дворе», или некоторую неестественность и условность речи Юсолова из рассказа «Интернационал». Но эти недостатки не имеют принципиального значения. Они лишь свидетельствуют о недостаточной литературной зрелости Виктора Авдеева. Главное же то — что перед нами писатель, который, мы уверены в этом, может работать в литературе плодотворно и интересно.

И. Гринберг

Семен Кирсанов как поэт был отмечен еще Маяковским, вовсе не щедрым на похвалы. С тех пор он работает в литературе немало лет и написал столько стихов, что их хватало бы на собрание сочинений. Стихи его обычно написаны на самые жизненные и актуальные темы; он много и охотно работает для газеты, стремясь продолжить в этом традиции Маяковского. И в то же время его стихи почти неизменно встречались холодно, а то и отрицательно критикой, упрекавшей его и за формализм, и за шукарство, и еще за целый ряд грехов. Нельзя сказать, чтобы эти упреки были несправедливы. Кирсанов любил щегольнуть сногшибательными словесными трюками, частенько прибегал к словесной эквилибристике. Однако критика ограничивалась преимущественно высмеиванием его словесных трюкачеств, не пытаясь глубже разобраться в причинах их и помочь поэту.

А ведь вопрос о Кирсанове — немаловажный вопрос, так как Кирсанов претендует на роль продолжателя традиций Маяковского. Но именно потому, что Кирсанов стремится идти по пути, указанному Маяковским, ему и должен быть предъявлен большой счет.

Кирсанов — поэт школы Маяковского, переиначивший от Маяковского и политическую направленность поэзии и внешнюю структуру его стиха: ритм, рифму, принципы построения образа. И все же это обращение к Маяковскому является чаще всего механическим перенесением поэтической техники, своего рода стилизацией Маяковского.

Но механическое воспроизведение художественных принципов большого поэта как раз и противоречит понятию традиции, сводит ее к копированию. В особенности трудно и, пожалуй, невозможно воспроизвести Маяковского, у которого за каждой строкой, за каждым образом стояло живое и неповторимое ощущение жизни, его личность, им созданный лирический образ поэта. Когда Маяковский требовал, чтобы было «больше поэтов хороших и разных», он именно и выступал против канонизации и «школы», против цехового отношения к искусству, с чем боролся на протяжении всей своей жизни. Понимая следование традициям Маяковского как воспроизведению его манеры, Кирсанов превращает свои стихи в имитацию. Благодаря этому они становятся искусственными, холодными, хотя бы порой и искусно сделанными. За ними не чувствуется личности поэта, его переживаний, его мыслей, всего того, что прежде всего отличает поэзию Маяковского.

Кирсанов, однако, не стоит на месте и пытается найти выход из того положения, в котором он оказался. За последнее время он испробовал самые различные возможности: обращение к фольклору, к лирически-интимной поэзии, к классике. Большая работа поэта над собой, его движение вперед несомненны. Но вместе с тем основные недостатки его поэзии не преодолены. И это наглядно демонстрирует последняя книжка его стихов «Четыре тетради».

В новую книжку входят стихи двух родов: одни являются откликом на большие общественные события, стихи агитационного характера, другие — стихи лирические, глубоко личные. Они так и помещены отдельными тетрадами: первая и четвер-

тая тетради — стихи на общественные темы, вторая и третья — личные. Уже это разграничение является отступлением от основных принципов Маяковского, сочетавшего в своих произведениях личное и общественное, весь пафос которого был направлен против разрыва личной лирики и больших, социальных тем, против сужения поэтического диапазона.

В книжке Кирсанова лирические и агитационно-газетные стихи разделены не только по своей теме, но и различны по поэтическому методу. Выделение лирики, интимного лирического цикла объясняется самым характером этих стихов, посвященных глубокому личному горю. Они продолжают тему и художественные принципы «Твоей поэмы». В них появляется то личное отношение к теме, то тепло, которых так не хватало ранее Кирсанову. Они полны трогательных, домашних подробностей. Такие стихи, как «Она и карта», «Я стою у кровати», «Ее неузнанные мысли», «Ты еще дома», состоят как бы из отдельных интимных припоминаний, внешне незначительных, сб особенно дорогих и близких поэту вещам:

Я уношу из дому
то шкаф,
то платье,
то синие флаконы
твоих духов,
то голос: — Здравствуй, родненький! —
все уношу из дому.
Проходит ночь, и память
все расставляет на прежние места.

Даже самая форма этих стихов подчеркивает интимную обаятельность чувства, делая их как бы записями в дневнике.

В лирических стихах Кирсанова весь мир становится носителем его боли:

Вдруг,
как молния, —
боль.
Больно ей,
и сразу мне,
больно стенам,
лампе,
крану,
мир,
окаменев,
жалуется на рану.
И болят болты
у рельс,
и у угля в топках
резь,
и кричат колеса:
— Больно! —
И на хлебе
ноет соль,
больше —
мучается бойня,
прикусив
у плахи боль.
Болят все,
болит всему,
и щипцам
домов родильных,
болят внутренности
у
снарядов орудийных,
моторы у машин,
закат

болит у неба,
дальние
болят у времени века,
и звон часов —
страдание.

Поэтизируя свою роль, переноса ее на весь мир, поэт не только отгораживается от мира, но и приходит к своеобразному солипсизму. В то же время эти стихи слишком риторичны, что сказывается даже в холодности их, а зачастую в небрежности и безвкусице образов и языка: «и у угля в топках *резь*», «болит всё, *болит* всему» (получается: «болит» «щипцам домов родильных»), «больше — мучается бойня, прикусив у плахи боль» (при чем здесь плаха?). Так внешне воспринятый у Маяковского принцип развертывания и реализации образа насыщается глубоко чуждым Маяковскому мировосприятием, обесмысливается словесной неточностью, случайностью ассоциаций и просто языковой небрежностью.

Было бы, конечно, нелепостью отрицать право поэта на лирику, на личную тему. Как раз то обстоятельство, что Кирсанов нашел свою лирическую тему, само по себе является его движением вперед. Но эта тема как бы вырвана им из окружающей жизни, противопоставлена ей, грозит превратиться в самолюбование личным горем, в литературное кокетничанье им, усугубляя разрыв между «личной» и «общественной» поэзией, имеющийся в этой книжке. В стихах Кирсанова как раз и нет того главного, что было у Маяковского, — грандиозного расширения своего личного чувства, слияния его со всем миром, высокого трагического «очищения» своего горя и страдания, которое с такой гениальной силой выражено в поэме «Про это».

Приведем лишь один конкретный пример. Всем понятен конец поэмы «Про это», письмо на имя человека будущего, в котором с потрясающей лирической силой говорится о преодолении смерти. Обращаясь к «жмику будущего», чтобы он воскресил его, Маяковский говорит о том мире, в котором не будет «любви-служанки», мечтает о том, чтобы на призыв поэта «всей вселенной шла любовь». У Кирсанова есть стихотворение на тему, сходную с темой Маяковского, — «Это пройдет». Однако, насколько банальным и упрощенным является разрешение этой темы у Кирсанова! Он мечтает о воскрешении в «фантастическом будущем» «фантастическим хирургом» его любимой. Он ждет, чтобы хирург будущего «из гервой желающей девушки сделал бы мне тебя». — то точным приборам высчитав кожу и голос». При этом поэт добавляет:

Уверен, при моем
состоянии
желающая девушка бы нашлась,
вошла бы чужая,
а вышла бы абсолютно ты.

Это неумение поднять, поэтически «возвысить» лирическую тему. — как это делал Маяковский, — и мешает Кирсанову. Он слишком поверхностен даже в проявлении своего чувства. Поэтом в самом его отрешивании от «литературщины», в подчеркнута дневниковом, личном характере стиля этих лирических стихов таится опасность превращения «интимности» в литературную манеру.

Поэтому-то после интимно-лирических циклов («Сон во сне и Последнее мая») еще более

декларативными кажутся стихи Кирсанова на общественные темы, — циклы «Чувство нового». «Удары салюта». В них имеются и неплохие стихи. В некоторых есть и находчивость и юмор (например, «Столица льдов»), но в большинстве случаев разочаровывает стилистическая манерность, надуманность, вроде той, с которой мы сталкиваемся в стихотворении «Клад», где фольклорный образ и сказочность кажутся искусственно привнесенной. слабой стилизацией.

Мы Россию
кладоносно
сделали,
Ярче лаала
и светлее жемчуга, —
самобранный плат.

Все эти «лады», «самобранные платы» лишь словесный орнамент, стилизация под народный язык. Даже в лучшем из стихотворений этого цикла, в «Думе о Гуцульщине», посвященной Западной Украине, Кирсанов впадает в ту же упрощенность, разрешая большую тему в плане поверхностного «обигрывания» детали, не проникая глубоко в историческую родственность судеб народов Западной и Советской Украины.

Следует отметить и целый ряд малоудачных образов, неточных или безвкусных оборотов в этих стихах, создающих впечатление спешности работы. Едва ли, например, удачны в стихотворении «Тышина границы» такие строки:

Осторожно
с бульканьем.
Это не впустую, —
может,
люди юркнули
под речные струи.

Или: «И нам хотелось ворваться в рамы, в дым бросить смелость, свист сабель в шрамы» («Музей гражданской»). Такие примеры можно легко умножить.

В итоге «Четыре тетради» производят двойственное впечатление. С одной стороны, в них несомненно стремление Кирсанова к подлинной лирике, лирике большого чувства. И в то же время он отрывает лирику от всего восприятия мира, противопоставляет ему «интимность» личной темы. Его «газетные» стихи, формально продолжая принципы Маяковского, часто слишком декларативны и небрежны, а главное — отделены каким-то барьером от его лирики.

Кирсанов должен найти в себе возможности к преодолению этих противоречий и недостатков.

Н. Степанов

Николай Щербаков, «Песни горниста». Гослитиздат, Л., 1940

«Вася Теркин на фронте»
Издание «Искусство», Ленинград, 1940

Читателям красноармейской газеты ЛВО «На страже родины» имя поэта Николая Щербакова хорошо знакомо. Под своей фамилией, под псевдонимом «Снайпер» Щербаков опубликовал не мало стихотворений о жизни Красной Армии, песен, остроумных фельетонов.

Особенно большой успех выпал на долю созданного газетой «На страже родины» в дни боев с белофиннами большого цикла стихотворений и рисунков к ним, посвященного военным приключениям любимца армии Васи Теркина.

Цикл этот писали Н. Тихонов, С. Маршак, А. Твардовский, но наибольшее число эпизодов, как и основной замысел, принадлежат Н. Щербакову.

Приятно сейчас перечитывать любовно оформленную издательством «Искусство» книжку «Вася Теркин на фронте». Книга была издана с завидной быстротой, пришла к своим читателям — бойцам, командирам, политработникам — своевременно.

И теперь в любой каптерке
И в землянках всех частей
Пулеметчик Вася Теркин
Самый лучший из гостей.

Эти слова заключают биографию героя.

Вот несколько эпизодов из книги.

Васе Теркину предлагают добыть «языка». Умело маскируясь, храбрый боец прячется под снегом. Но когда лыжник-белофинн вскакивает на этот ничем не отличающийся от прочих пригорок, снег распадается, и враг попадает в железные объятия Теркина.

Кому поручить доставку спешного донесения, как не Теркину?

Через горы, водопады,
Мчась без удержу вперед,
Вася Теркин все преграды,
Не страшась беды, берет.
Мчится лесом и долиной,
Взвнухнув снежную пылью,
И вершины гор трамплином
Служат смелою бойцу.

Удачен фельетон Щербакова «Как Вася Теркин болтуна разоблачил». Фельетон построен на остроумном приеме: болтун не знает Васи в лицо. Он беззастенчиво выбалтывает одну историю фантастичнее другой, добавляя для верности, что слышал он это от самого Васи Теркина.

Ты знаком с ним? Будь уверен!
Скажет все мне не тая...
Врешь ты, брат, как сивый мерин.
Вася Теркин — это я!
Вышел, парень, ты из веры,
Не умеешь честь блюсти.
За вранье сверх всякой меры
Будь готов ответ нести.

Хороши стихи, в которых участвует обученный Теркиным пес Дороеф. В фельетоне «Как Вася Теркин переправу обеспечил» рассказывается: шноцкоровцы хотят взорвать мост, по которому должны переправиться наши войска, но обученный Теркиным пес разрывает горящий шнур.

Хоть без слов, но очень прост
«Рапорт» Дороефа:
Дескать, нам достался мост
В качестве трофея.

После окончания войны Вася Теркин не исчез со страниц газеты. И по сей день «На страже родины» в особом разделе публикует веселые стихотворения «Снайпера» — Щербакова.

В книге Николая Щербакова «Песни гарниста» собраны стихи, написанные им в течение несколь-

ких лет. Главная тема книги — жизнь Красной Армии.

Программным для книги может служить стихотворение о заплатах. Без заплат не обходится ни один фронт, ни одна стройка.

Если родина зовет —
Ну-ка, дружно, как бывало,
Комсомольцы-заплатки —
В бой! За родину! Вперед!

Умеет автор описать и напряженную тишину перед боем и неудержимое движение пехоты и бросок конницы.

На следом силою летящей —
Кавалеристы из-за круч,
И ливень сабельный, сквозящий
Из ножен хлынул, как из туч.

Лучшие стихи Щербакова по-настоящему конкретны, за ними всегда ощущается место действия и время. В них есть строгость и скупая простота, сдержанное волнение, которое не смешается с мягкотелой сентиментальностью.

Убит в неравном бою с диверсантами пограничник Вагранов. Но товарищи не забывают его. И когда во время переключки перед строем старшина называет его имя, тогда —

Несется в ответ по ротам,
Вторит эхо и ветры поют:
Петр Вагранов за дело народа
Отдал жизнь молодую свою!

В этих стихах нетромких и неприхотливых живет поэзия, не нуждающаяся в дешевых эффектах. Бойца, отдавшего жизнь за народ, помнят не только его друзья по строю, но и сама природа:

Звезды ясные в синей чаще,
Те, что светят нам с высоты,
Ясный месяц — их разводящий,
Патрулирующий посты.

Щербаков умеет выбрать сюжет, который иным покажется мелким, найти такое разрешение темы, когда сразу выясняется ее значительность.

В «Балладе о лопате» боец платит ценою жизни за пренебрежение к тому, что казалось ему «мелочью». Отсюда прямой агитационный вывод поэта:

Чтоб не нести тяжелой траты,
Когда гремит орудий гром,
Нам маршал наказал — ребята,
Уметь орудовать лопатой
В бою, как ложкой за столом!

Но есть в книге Щербакова иные черты, мешающие ему от описания конкретного случая перейти к смелому обобщению, толкающие автора часто на проторенную дорожку ходячих образов и стихотворных штампов.

«Счастьем дышит земля, золотятся поля, богатеют в республике области, а бойцы берегут от напасти их труд — дело чести, геройства и доблести». Эта строфа взята почти наудачу из стихотворения «Родина», открывающего книгу. При всех добрых намерениях поэта приходится констатировать, что такие и им подобные строки обедняют тему. Нельзя, например, писать «лететь лавой наша слава по всей земле». Очевидно, Щербаков имеет в виду вулканическую лаву, но ведь она сжигает все живое на своем пути. Отсюда видно, как нелеп образ

Лишь отсутствием требовательного подбора образов можно объяснить вот эти строки:

В атаку ринулись танки,
Как мамонты на водопой.

Жаль, что ценность книги по вине автора и редактора А. Рыбасова снижена из-за приведенных выше и подобных им смысловых, языковых, стилистических погрешностей.

В. Азаров

Борис Лебедев, «Баллады и стихи». Изд. «Советский писатель», М., 1940

Несколько лет тому назад в альманахе «Молодая Москва» было напечатано стихотворение Бориса Лебедева «Спор». Стихи эти привлекали к себе внимание юношеской, задорной искренностью, смелым разрешением ответственной темы, подчиненным строго продуманной внутренней дисциплине.

Трое товарищей — музыкант, знаменосец, парень с букетом в руках — возвращались с праздничной демонстрации, и каждому из них казалось, что только на него одного смотрел с трибуны Сталин. А немного поодаль, прислушиваясь к их спору, шел, улыбаясь, поэт.

Мне крикнуть хотелось им: «Чудаки!»,

Но я не решился ребят огорчать,

Я праздника ради сумел промолчать.

«Пусть, — думал я, — спорят, не зная того,
Что Сталин смотрел на меня одного!»

После чтения этих стихов хотелось уже следить за творчеством поэта.

Борисом Лебедевым написано пока очень немного. В его книжку «Баллады и стихи» вошло всего семь вещей (правда, среди них три небольшие поэмы). Но знакомству с книжкой будет рад всякий, кому дорога поэзия. Главное, неоспоримое достоинство стихов Лебедева заключается в том, что в каждом из них, будь это десятистишие или же поэма, — безукоризненной скупая точность, рисунок композиции, определенность формы. Под этим я подразумеваю не прокрустово ложе, на котором надлежит обрубить ноги непокорному, живому стиху. Но поэты настолько прочно теперь забывая, как строится настоящий сонет, но в журналах за последние годы появилось такое количество бесформенных стихотворений, что возвращение к точности можно только приветствовать.

Правда, в качестве противоядия некоторые молодые поэты прибегают к архаизации, заслуживающей справедливых упреков. Не следует забывать, что советы Шекспира, что пушкинские сонеты для своего времени не были архаичны, что эта форма вовсе не зовет к стилизации, голому подражанию. Даже сюжет, почерпнутый из средневековой истории, в стихах современного поэта может и должен свидетельствовать о том времени, когда он воссоздан.

Так умел Багрицкий воскрешать поэмы столетней давности, брать как подстрочник неуклюжие переводы из антологии XIX века Гербеля и писать на их основе дерзко и молодо. Для меня нет сомнения в том, что подобным принципом руководствуется в своей работе и Лебедев.

Его «Сказка о каменотесе» — логически оправданный цикл раздумий человека, бедняка, которо-

му хочется стать богатым. Но ведь и богатый падает в пыль перед императором. Он становится императором. Но ведь и император ничто перед солнцем.

И подумал он: могуч
Не всегда бывает луч.
Если б стал теперь я тучей
И, как туча, был летуч.
И стало так...

Туча хлынула ливнем на землю, затопила все. и только гордый утес не покорился ей. Но вот пришел маленький человек, не имевший на обед даже чашки риса, и расколол утес своей киркой.

И тогда каменотес
Стать решил
Самим собою...
И стало так...

Он припомнил все, что было,
Рассмеялся и вскричал:
«Как своей великой силы
Раньше я не замечал!
Отчего боялся хилых
Белоручек и молчал
Год за годом роясь в груде
Камня,
Нищий и простак?
Было так,
Но так не будет!» —
Он сказал...
Да будет так...

Борис Лебедев часто берет в качестве отправной точки сюжет, заимствованный из восточных сказок и старинных английских баллад. Но повествует он всегда по-своему. В любом лебедевском стихотворении есть своя архитектоника, свой ключ.

Иногда в повторном рефрене поэту удается больше, чем если бы он нагромоздил гору метафор. Вот стихи о вербовщиках, покупающих у герцога рекрутов («Плац-парад»).

Минута,
как мышцы,
напряжена.
Миг...
два...
три...
Солдат говорит:
у меня...
жена...
Старшему —
только три...
На у высочества,
кроме жены,
Одна,
две,
три...
Наряды
и гульдены
им нужны —
Сотня,
две,
три...
... В Америку —
в трюме —
плавви, солдат.
День...
два...
три...
По бледным щекам его
слезы скользят —

Одна...
две...
три...

Стихи Бориса Лебедева «Джонстон» и «Шервудский лес» особенно близки по духу подражаниям английскому Багрицкому. Читатель сумеет воздать должное и разработке сюжета, и переданному аромату далеких времен, и романтической пылкости описаний, и силе чувства.

Таял туман в долине,
Пели в кустах щеглы...
Сердце его пронзили
Двадцать четыре стрелы.

Здесь нет какого-то железного хруста, который наши переводчики зачастую привносят в стихи английских поэтов. Оговоримся, правда, что это и не перевод, а вольная интерпретация классической баллады.

Беспощадный плембейский юмор, присущий робинзудовскому циклу, Лебедеву также удается. Хорошо обрисован им «Малютка Джон», — рослый голубоглазый дубильщик из Хальдернеса, швырнувший судьбу в дубильный чан и желающий стать вольным стрелком у Робин Гуда.

Также интересна и вторая баллада — о двух жадных попах, которых зло и ловко провел бродячий монах — все тот же вездесущий Робин. Но стихотворение, заключающее цикл о Робин Гуде и книге, кажется мне слабым.

Пока безмолвствует природа,
Разбудим в бочках спящий хмель.
Друзья! Во здравие народа
Пусть льется в глотку светлый эль...

Все это ниже возможностей Лебедева, пресно и неглубоко.

«Поэзия — та же добыча радия», учил нас Маяковский. Может быть, оттого так невелика книжка Лебедева. И все же для того, чтобы «Баллады и стихи» были не только обещанием, но залогом выполнения, хочется пожелать поэту быть менее скованным в выборе темы, расширить круг по собственному выбору и порадовать нас поскорее новой книгой.

В. Азаров

Велемир Хлебников, Неизданные произведения. Поэмы и стихи. Редакция и комментарии Н. Харджиева, проза — редакция и комментарии Т. Грица. Гослитиздат, М., 1940

Выход сборника неизданных произведений В. Хлебникова является крупным вкладом в дело собрания творческого наследия этого поэта. Включенные в сборник материалы во многом дополняют Собрание сочинений Хлебникова, выходящее в 1928—1933 годах. Среди напечатанных в сборнике неизданных произведений немало интересных и первостепенных вещей. Однако, наряду с ними, редакция включила и много незаконченных стихотворений, вариантов и набросков, не предназначенных для исследователя, могут укрепить у широкого читателя традиционное представление о Хлебникове

как об авторе незавершенных «заготовок» и словесных экспериментов.

На самом же деле творчество Хлебникова никак не ограничивалось экспериментально-словесной работой. Он был поэтом широкого поэтического движения, эпического простора. В особенности полно раскрывается его творчество после революции, когда им были созданы такие замечательные поэмы, как «Ладомир», «Ночь в окопе», «Ночь перед Советами», «Настоящее», «Поэт» и мн. др. В них Хлебников обращается к народному творчеству, песне, частушке, создавая на этой основе новые поэтические принципы. При всем своеобразно-мифифицированном восприятии Октября, напоминавшем во многом его восприятие у Блока — автора «Двенадцати», Хлебников с предельной искренностью и большой поэтической силой передавал в своих произведениях героический пафос революции. При этом он всегда был устремлен в будущее, живя мечтой о новом мире свободного, раскрепощенного человечества, разумно подчинившего себе силы природы. В его стихах с необычайной проникновенностью передана природа, чутким, влюбленным наблюдателем которой он был.

Все творчество Хлебникова, вся его языковая работа была смысловыми, принципиально и резко отличающимися от той футуристической «зауми», которая декларировалась, например, А. Крученых. Даже экспериментальные наброски и фрагменты Хлебникова всегда осмыслены в плане его работы над языком, его поисков того идеального словесного выражения, которое бы наиболее полно и адекватно передало самую сущность, «идею» вещей. Эти опыты над словом, эти словесные заготовки занимают большое место и среди материалов «Неизданного Хлебникова», в частности — его ранние опыты словотворчества, основанные на обращении к славянским корням.

Приводятся и более поздние лирические стихи, среди которых замечательное четверостишие, известное в передаче Маяковского:

Сегодня снова я пойду
Туда, на жизнь, на торг, на рынок.
И войско песен поведу
С прибоем рынка в поединок!

К лучшим стихам сборника следует отнести и варианты стихотворений «Русь певучая в месяце Айс», «Завод», «Ухвата челюсти громадные, тяжелье», «Пусть пахарь, покидая борону» и несколько других, тексты которых были помещены ранее в Собрании сочинений. Напрасно только редакторы некоторые наброски Хлебникова отнесли в раздел законченных произведений: разница между ними и вещами, помещенными в разделе черновики и отрывков, часто почти неуловима. Такие стихи, как, например, «Я вспоминал года, когда», «Где море бьется диким неуком», являются фрагментами поэм (первое — поэмы «Горячее поле», второе — «Уструга Разина») и, согласно принципу распределения материалов, принятому в книге, должны бы быть помещены в разделе черновики и отрывков. Многие стихи, помещенные в основном разделе, случайны и малохарактерны для Хлебникова, являясь или дружескими экспромптами («Алеша Крученых», «Кто-то дикий, кто-то шалый», «Разрушающий порядки», «Замороженный Озирис» и мн. др.), или недоработанными «заготовками».

Гораздо значительнее, чем раздел стихотворений, — раздел поэм. Здесь помещена такая первоклассная вещь Хлебникова, как поэма «Медлум

и Лейли. Эта поэма, восходящая к одноименной поэме Низами («Лейли и Меджнун»), служит примером содружества двух культур, тем более примечательным, что она является едва ли не единственным в русской дореволюционной литературе обращением к творчеству великого азербайджанского поэта. Хлебников не подражает и не пересказывает поэму Низами, а по-своему пользуется ее мотивами, раскрывает ее основную тему величия и бессмертия человеческой любви.

Едва ли однако справедливо отнесение этой поэмы в отдел черновики и отрывков. Она производит более «законченное» и полноценное впечатление, чем некоторые из поэм, включенных редакцией в основной отдел (например, поэма «Суд над старым годом», являющаяся случайным и малоинтересным экспромптом).

Среди остальных поэм наибольший интерес представляет «Сердца прозрачней, чем сосуд» (условное название), относящаяся к 1912 году. Она содержит много великолепных поэтических строк. Таксы, например, классически-прозрачные описания и пейзажи, полные хлебниковской наблюдательности, своеобразного и неповторимого восприятия природы.

В этой поэме как бы сконцентрированы основные темы дореволюционного творчества Хлебникова: предчувствие надвигающихся социальных катастроф, восстание против капиталистического строя, пантенистическое обращение к природе, ожидание нового мира.

Особо следует выделить вновь найденные тексты таких первоклассных произведений Хлебникова, как поэмы «Берег невольников» и «Шестие осеней Пятигорска», а также «Зверинца», «Маркизы Дезес», «Снежимочка». Нахождение автографов этих вещей (или авторизованных изданий с правкой Хлебникова) позволяет освободить текст от искажений и существенных опечаток, столь многочисленных в печатных текстах Хлебникова. Кроме того, вновь найденные материалы значительно дополняют эти произведения. Так, «Снежимочка» по существу является как новая вещь: автограф дает два новых действия и позволяет установить верный текст первого действия и дату написания пьесы (1908). Полная редакция пьесы указывает и на органическую связь драматургии Хлебникова с лирической драмой Блока («Незнакомкой», в частности).

Поэма Хлебникова «Берег невольников», проникнутая страстным протестом против империалистической войны и близкая во многом к «Войне и миру» Маяковского, появляется также в своем подлинном виде. В особенности значителен конец поэмы, звучащий радостным гимном Пролетарской революции.

Существенны и поправки, внесенные в ранее известный текст «Маркизы Дезес» и «Зверинца». Исправления Хлебникова указывают, что в ряде случаев заумь его вещей принадлежит отнюдь не ему, а его редакторам и корректорам. Так, например, многократно печатавшееся в «Зверинце» «заумное» «Есть хоуа!» является на самом деле воспроизведением языка детей: «Есть хоуца!». Однако, исправляя на основе авторизованных текстов одни искажения, редактор тут же привносит новые. В том же «Зверинце», во второй строке, мы читаем совершенно бессмысленную фразу: «Где железо подобно напоминающему братьям, что они братья». На самом же деле надо читать, как и чи-

талось: «Где железо подобно отцу. напоминающему братьям, что они братья».

К сожалению, это искажение (или опечатка?) не единственное. Даже при беглом просмотре можно обнаружить и ряд других существенных недосмотров и опечаток.

В отделе прозы есть ряд интересных вещей. Наглядно демонстрирующая связь прозы Хлебникова как с прозой Гоголя («Жители гор»), так и с прозой символистов. Содержательна и подборка статей Хлебникова, относящихся главным образом к ранним годам. В них особенно явно становится обращение Хлебникова к народному творчеству и национальной культуре, его борьба с декадентской поэзией, опущенной и оторванной от народной почвы. Таковы статьи «Курган Святослава», «Мы обвиняем», «О расширении пределов русской словесности» и др. Самые «права словотворчества» Хлебников выводит из богатства живого языка. Он выступает против эстетизма символистов, против поэзии «искусство для искусства», утверждает в противовес ей, что «природа, из которой искусство слова выждет чертоги, есть душа народа» («Мы обвиняем»).

Чувство будущего, которое так сильно было у Хлебникова, его давнишние мечты о новой, прекрасной жизни человечества делают понятными и его приход к революции, его участие в строительстве советской культуры в первые послеоктябрьские годы. В этом плане любопытна публикация статьи Хлебникова по поводу открытия Народного университета в Астрахани в 1918 году, в которой он писал о том, что «путь, взятый рабочей властью, безошибочен», мечтал о тех временах, когда «сыпучие пески устья Волги» станут «одним цветущим городом».

Особенно много нового для осмысления жизненного и творческого пути Хлебникова дают его письма. Тридцать семь писем, опубликованных в сборнике, содержат целый ряд литературных высказываний Хлебникова, уточняют его связи с символистами, в частности говорят о его интересе к творчеству А. Блока и Ремизова. Следует отметить его резко отрицательный отзыв о Маринетти (названном «французиком из Бордо»), высказывания о ряде писателей (Белом, Гуро и др.), замечания о своих вещах.

Большой и тщательный комментарий содержит много интересного. Редакторы сумели подать наиболее сложные и трудные тексты Хлебникова, разобравшись в путаннейших черновиках со множеством наслоений и вариантов и, в конце концов, извлекли из забвения много замечательных строк Хлебникова, значительно обогативших его наследие. Основное, что хотелось бы пожелать, — больше внимания к моментам эстетического и стилистического порядка и меньше чисто формального «документализма».

Внешняя синтаксическая законченность, беловой вид автографа часто являлись критерием законченности и самостоятельности отдельных произведений, признаком для отнесения их в раздел самостоятельных вещей. Вследствие такого слишком формального документализма иногда получаются явно несуразные результаты. Так, например, помещая начало памфлетного стихотворения «Карамора № 2» в отделе фрагментов, редакция отмечает, что стихотворение печатается по беловому автографу, конец которого утрачен. Между тем, конец этой вещи был опубликован под заглавием: сатира «Петербургский Аполлон». Простое сличение этих двух частей показывает, что в результате получается целое про-

изведение, совершенно точно совпадающее на разрыве («Карамора» кончается обрывной фразой: «Молодчик, изловчись...», а «Петербургский Аполлон» — с полуфразы «... пустил в дворянство грязи ком»). Таким образом, мы имеем возможность восстановить случайно изученное стихотворение Хлебникова. Редакторы же, придерживаясь только автографа, оставляют стихи Хлебникова попрежнему изученными.

Редакторы сборника исходят из задачи — установить канонический текст, дать во что бы то ни стало последнюю редакцию. Однако по отношению к произведениям Хлебникова эта задача во множестве случаев не только почти непосильна, но и не может быть решена формальным путем. Дело в том, что Хлебников не только многократно перерабатывал и правил свои вещи, но очень часто восстанавливал их по памяти, иногда на протяжении короткого времени, создавая несколько параллельных «беловых» редакций (например, «Иранская песня»). Кроме того, очень часто, начиная правку своих вещей, Хлебников не доводил ее до конца, не зачеркивал отменяемых им строк, принимая на полях по несколько повторяющихся друг друга вариантов. Самая свобода композиции, немотивированность смысловых переходов, отсутствие метрической системы и симметрического чередования рифм делают особенно трудным установление «канонического» текста. Для этого недостаточно лишь формальных и палеографических признаков, а необходимы стилистический анализ и эстетический критерий, отнюдь не сводимые к понятию «последней редакции», тем более что Хлебников сплошь и рядом возвращался к более ранним вариантам. Дать окончательный, выверенный текст Хлебникова — задача, во много раз более трудная и головоломная, чем подготовка текста любого другого автора.

Выход «Неизданного Хлебникова» даст новый и существенный материал для подготовки научного издания произведений Хлебникова, потребность в котором давно назрела.

Н. Степанов

Борис Пастернак, «Избранные переводы». Изд. «Советский писатель», М., 1940

Давняя и прочная связь Пастернака с мировой и в частности западноевропейской поэзией и культурой неоднократно отражалась в его творчестве. Об этом свидетельствуют книги воспоминаний поэта — «Охранная грамота», так же как и многие его стихи.

За последние годы Пастернак выступал по преимуществу как переводчик грузинских и украинских поэтов. Тем интереснее познакомиться с итогами его переводческой работы в области поэзии западной. В 1940 году, почти одновременно с переводом «Гамлета», теперь оживленно обсуждаемым, появились «Избранные переводы» Пастернака, в которых собраны произведения девяти поэтов — от Ганса Сакса до Бехера.

Книга эта составлена из произведений, большей частью мало известных или совсем неизвестных современному читателю. Открывающая сборник драма Клейста «Принц Фридрих Гомбургский» — увлекательная романтическая пьеса, знакомящая с твор-

чеством выдающегося немецкого драматурга начала XIX века. Две песни и два сонета Шекспира имеемся до сих пор лишь в старых (прошлого столетия) переводах. Одним стихотворением представлен современник Шекспира — Уолтер Ралей, известный лишь специалистам. Далее из английских поэтов, кроме Байрона («Стансы к Августе»), даны стихи одного из лучших романтиков — Джона Китса, современника Байрона и Шелли. Довольно разнообразен подбор стихов Верлена — французского поэта, в свое время оказавшего большое влияние на русских символистов. Стихи венгерского революционного поэта Петефи, так же как и стихи И. Бехера, за последнее время переводились русскими поэтами, правда, довольно скудно. Наконец, одноактные фарсы знаменитого мейстерзингера Ганса Сакса познакомят читателя с наивно-примитивным и в то же время по-своему передовым народным театром эпохи немецкой реформации.

Подбор материала, как видно из перечисленного, — разнообразный и в то же время сделанный под определенным углом зрения. Из поэтических направлений в сборнике богаче всего представлен романтизм в различных его видоизменениях и оттенках — от консервативного у Клейста и Китса и до революционного у Петефи и Бехера. Для уточнения следует сказать, что Бехер за последние годы сделал большой шаг в направлении к реализму, о чем свидетельствует и переведенная Пастернаком поэма «Лютер».

Характерными для Пастернака и близкими ему как поэту являются и темы избранных им для перевода произведений. Тема поведения человека у Клейста, морально-философская лирика Шекспира и Китса, глубокое восприятие мира природы у того же Китса, тема искусства в преломлении Шекспира и Верлена — все это и многое другое в книге соответствует основным мотивам оригинального творчества Пастернака.

Сборник представляет собой ценный вклад в нашу переводную литературу прежде всего потому, что расширяет и обогащает знакомство читателя с мировой поэзией. Но кроме этого книга представляет еще особый интерес в виду того, что она составляет единое целое, соответствующее творческим интересам переводчика. В этом плане становится понятным подбор произведений по преимуществу романтической поэзии.

Оригинальная поэзия Пастернака была и остается до сих пор романтической в своей основе. В ней ярко выражен признак, характерный в той или иной мере для романтиков разных эпох, — субъективность восприятия мира и, как следствие этого, субъективность поэтических приемов. Характерный для поэзии Пастернака творческий произвол чаще всего проявляется неожиданным и немотивированным вторжением «низкого» плана в сферу «высоких» образов. Вообще творчеству Пастернака свойственно непрерывное сочетание и взаимное смешение двух планов — условно говоря, высокого и низкого. Такая игра на контрастах бывает иногда художественно очень эффектна, хотя далеко не всегда представляется внутренне необходимой.

Принимая во внимание творческий субъективизм Пастернака, можно заранее ожидать, что в интерпретации чужих поэтических произведений Пастернак в большей степени, чем другие поэты, должен вкладывать свое (субъективное) понимание переводимого и свое отношение к последнему. Иначе говоря, здесь должна быть налицо возможность внутреннего конфликта между поэтом (крайне свое-

образным) и переводчиком. причем победа должна, повидному, оказаться на стороне первого из них.

Между тем принципы современного поэтического перевода требуют как раз наибольшей точности и субъективности в передаче не только смысла, но и всех художественных особенностей подлинника. Именно благодаря строгому проведению этих принципов в своей работе советские поэты-переводчики добились тех успехов, примерами которых могут служить новые переводы «Божественной комедии», трагедий Шекспира, эпоса Руставели и т. д.

Принципиальная позиция Пастернака как переводчика, повидному, иная. В предисловии к своему переводу «Гамлета» Пастернак говорит: «От перевода слов и метафор я обратился к переводу мыслей и сцен. Работу надо судить как русское оригинальное драматическое произведение, потому что, помимо точности, равнострочности с подлинником и пр., в ней больше всего той умеренной свободы, без которой не бывает приближения к большим вещам».¹

Отмеченные до сих пор критикой недостатки пастернаковского перевода «Гамлета», как бы они ни были в отдельности значительны, все же не могут зачеркнуть действительно творческий характер перевода.

Характерно, что в рецензируемой книге «Избранных переводов» один из разделов озаглавлен «Мелкие переложения».

Попробуем на некоторых примерах разобраться в сущности переводческих методов Пастернака и показать, в какой мере его переводы являются «переложениями». В качестве примеров возьмем несколько стихотворений Верлена, которые, кстати сказать, можно сопоставить не только с подлинниками, но и с переводами, принадлежащими другим русским поэтам.

При таком сопоставлении выясняется, что ряд стихотворений Верлена переведен Пастернаком превосходно, с глубоким проникновением в стиль и ритм подлинника, с большой степенью точности — как смысловой, так и образной. К этим стихам относятся «Ночное зрелище», «Томленье», «Средь необозримо унылой равнины». Переведенные в свое время Брюсовым, стихи эти получили у Пастернака новое художественное истолкование, достойное стать рядом с работой Брюсова, а порой и выше.

В то же время в некоторых других переводах из Верлена встречаются более или менее значительные неточности и отклонения от подлинника, носящие характер «умеренной свободы». Например, заключительная строфа знаменитого в свое время «Искусства поэзии» в переводе Пастернака звучит так:

Пускай он (стих. И. О.) выболтаст сдуру
Все, что впотьмах, чудотворя,
Наворожит ему заря...
Все прочее — литература.

Это — крайне вольный перевод, причем о стилистическом соответствии подлиннику здесь говорить не приходится. Никаких намеков на «выболтаст сдуру», «наворожит» и т. д. у Верлена нет. Все это — поэтические вольности переводчика, характерные не для Верлена, а для Пастернака.

Производим для сравнения ту же строфу в перево-

де Брюсова, отличающемся значительной точностью:

Пусть в час, когда все небо хмуро,
Твой стих несется вдоль полян,
И мятою и тмным пьян...
Все прочее — литература.

Это программное стихотворение Верлена представляет большие трудности для перевода, не преодоленные в свое время полностью и Брюсовым. Необходимо отметить, что перевод Пастернака в целом (за исключением последней строфы) очень близок к тексту и духу подлинника.

Примеры более или менее значительных неточностей и субъективных отклонений от подлинника встречаются и в ряде других переводов Пастернака. Эти отклонения идут обычно в сторону нарочитого снижения стиля.

Самым ярким примером такого снижения является перевод — вернее, вольное переложение — стихов, у Верлена не имеющих названия и озаглавленных переводчиком «Хандра» [стр. 133]. Верленовская «langueur» (томление, грусть) произвольно смещена Пастернаком в совершенно иной эмоциональный план русской дореволюционной провинциальной «хандры».

Примеры подобных вольностей переводчика заставляют нас поставить вопрос о пределах «умеренной свободы».

Допустим ли подобный творческий произвол в переводческой работе? Способствует ли такая «умеренная свобода» переводческих методов «приближению к большим вещам?» Ответ на эти вопросы ясен сам собой. Можно только добавить, что принцип творческой свободы переводчика, декларируемый Пастернаком в предисловии к «Гамлету», по нашему мнению, никак не может означать анархического подхода к переводимому произведению.

Однако, к счастью для читателя, Пастернак, повидному, редко осуществляет в своих переводах ту анархическую свободу переложения, примером которой является «Хандра». В ряде других переводов Пастернака встречаются отмеченные нами выше «родимые пятна» его оригинального поэтического стиля на общем фоне весьма точного художественно объективного перевода. И, наконец, иногда собственный стиль Пастернака, быть может и не вступая в прямой конфликт со стилем переводимого поэта, все же дает знать о себе более или менее настойчиво. Так, например, в некоторых главах поэмы И. Бехера «Лютер», независимо от степени точности перевода, слухом явно слышится отзвук «Спекторского» в типично пастернаковской строфе с ее характерным членением, синтаксисом и прерывистым ритмом:

... Он — в их кольце. Пропало. Окружили.
И вдруг спасенье. Он прорвал кольцо.
Какой-то лес. Лесной тропы развилые.
Какой-то дом. Он всходит на крыльцо.

Лучшие переводы Пастернака — это те, в которых или превосходит своего рода «переплощение» поэта в чужую поэтическую индивидуальность (что для Пастернака, повидному, всего труднее), или же те переводы, в которых поэт как бы находит себя в чужом произведении, сохраняя черты своего стиля, не противоречащие стилю переводимого и совпадающие с последним.

Образцом такого «совпадающего» перевода представляется нам — даже независимо от степени его

¹ Разрядка наша. И. О.

детальной точности — отрывок из поэмы «Эндимисн» Джона Китса:

... И мы затем цветы в гирлянды вьем,
Чтоб привязаться больше к чернозему
Наперекор томленью и надлому
Высоких душ; унынию вопреки
И дикости, загнавшей в тупики
Исканья наши. Да, на зло пороку,
Луч красоты в одно мгновение ока
Сгоняет с сердца тучи. Таковы
Луна и солнце, шелесты листвы,
Гурты овечьи, таковы нарциссы
В густой траве, так под прикрытием мыса
Ручьи защиты ищут от жары,
И точно так рассыпаны дары
Лесной гвоздики на лесной поляне...

Другой пример — перевод драмы Клейста, где может быть, и имеются те или иные расхождения с подлинником, но при чтении не ощущается сколько-нибудь заметного присутствия элементов стиля самого переводчика.

В общем же надо сказать, что в методах переводческой работы Пастернака наблюдается весьма значительная непоследовательность. Применяя свой принцип «намеренной свободы» от случая к случаю, при переводе не только произведений в целом, но и отдельных строф и стихов, толкуя этот принцип иногда крайне широко, Пастернак в то же время дает ряд образцовых переводов, полностью стоящих на высоте современных требований.

При чтении и изучении переводов Пастернака следует, таким образом, всегда учитывать весьма прихотливый характер его методов перевода. Не всегда удовлетворяя требованиям художественной объективности, переводы Пастернака неизменно представляют большой интерес как явления творческой биографии поэта.

И. И. Оксенов

«Русские плачи Карелии».
Подготовка текстов и примечания М. М. Михайлова. Под ред. проф. М. К. Азадовского, Гос. изд. Карело-Финской ССР, Петрозаводск, 1940

По своему содержанию сборник «Русские плачи Карелии» представляет исключительный интерес. Он пополняет наше представление о плачах и причитаниях, не изученных по-настоящему до сих пор. Но книга ценна и по своему построению и по вводным статьям — «Карельская причет в новых записях» Георгия Виноградова и «Русские плачи Карелии» М. М. Михайлова.

Плачи, причитания и заплачки известны с древнейших времен во всех странах:

«Лучшее ядро русских свадебных и похоронных песен, — писал знаток русского фольклора, немецкий филолог Рудольф Вестфаль, — отличается такой древностью, что они стоят на одной ступени с самыми ранними произведениями древнеарийской народной поэзии, о которых до нас дошли известия только благодаря Гомеру».

В отношении плачей и причитаний Карелия занимает исключительное место: русские карельские плачи и вообще плачи северных районов СССР поражают глубиной содержания и выделяются сво-

ими высокими поэтическими достоинствами. Недаром Карелию называют «Исландией русского эпоса». Такие вопленицы и плакальщицы XIX века, как Ирина Федосова, не преходящая до сих пор по силе поэтической выразительности, как Анна Первенцева, Мария Федорова, Анна Лазариха и Клавдия Мамонова, являющиеся крупнейшими мастерами устного народного творчества.

Сборник «Русские плачи Карелии» составлен из русских причитаний, записанных в Карелии в течение последних двух-трех лет, и включает в себе разделы: 1) похоронных плачей и причитаний, 2) свадебных причитаний и 3) сказов-плачей и причитаний о советских вождях и героях.

В первом разделе особенно выделяются причитания А. М. Пашковой, наиболее яркой и талантливой современной вопленицы.

Смерть мужа, матери, отца, сына или дочери, наконец утрата возлюбленного — вот мотивы плачей, но одно в них неизменно — чувство потрясенной горем души женщины-крестьянки. Как правило, жена оплакивает в своем муже прежде всего «державу — опору семьи, правителя крестьянской жирушки».

Тут же обычно выражаются чувства привязанности и бескорыстной любви: вдова величает умершего надежной головешкой, любимой семенишкой, а самую могилу — «любовой могилушкой»; она готова пойти за покойником даже «во матушку — сыру землю», да —

Только жалко мне, тошнехонько
Своих маленьких детушек.

(Плачи А. М. Пашковой по мужу)

Социалистическая революция, в корне изменившая социально-экономические условия жизни крестьянства, вызвала глубокие изменения и в характере плачей и причитаний. Защита родины — долг каждого, преданность родине — отличительная черта строителей новой жизни. В плаче, например, А. Н. Корешковой по мужу, погибшему в боях с белыми, появляется новый мотив, абсолютно не ведомый дореволюционным плачам, — гордость за мужа, погибшего

На чужой, дальней сторонушке,
И на службе на военной,
И на стрельбе на великой:
Защитал он свою родину.

(«Защитал он свою родину»)

Сказы и плачи о советских вождях и героях, публикуемые в большинстве своем впервые, ярче всего характеризуют эволюцию этого жанра народного творчества в советское время. Плач вышел из тесного круга личных переживаний, приобрел совершенно иную общественную тональность. Сказы и плачи отражают глубину советского патриотизма широких крестьянских масс, их невыразимую боль, вызванную утратой великих деятелей социалистической эпохи. Здесь мы находим немало причитаний, посвященных светлому образу Владимира Ильича Ленина.

В плачах, посвященных В. И. Ленину, он воспевается как великий народный герой, который воплотил в себе думы и чаяния советского народа.

«Много принял он заботушки, — говорится в плаче «Бесстрашному Ленину», —

Его мучили слуги царские,
Его сажали в тюрьмы крепкие,
В кандалы его железные...

Скорбь по утраченном вожде сочетается с сознанием того, что великие его дела воплощены в жизнь.

Светлый оптимизм, глубокое презрение к смерти, патриотизм, непоколебимая уверенность в окончательной победе труда над эксплуататорами — вот основной тонус всех плачей-сказов, сложенных в социалистическую эпоху.

Русские плачи Карелии — ценный вклад в нашу фольклорную литературу. В них раскрывается новая сторона устного народного творчества и дается богатый материал к изучению жизни и быта нашего Севера.

Н. Николаев-Бернин

Клиффорд Одетс, «Золотой мальчик». Пер. Риты Райт. Изд. «Искусство», Л.-М., 1940

В западноевропейском романтическом искусстве издавна бывал один из «вечных» сюжетов мировой поэзии: история человека, который продает свою бессмертную душу чорту за золото, наслаждения, славу, власть над миром. В XVII—XVIII вв. в европейскую литературу вошли образы Дон-Жуана и Фауста. Из XIX в. дошли до нас Мельмот-Скиталец и Вечный Жид. Бальзак в своих «Философских этюдах» неоднократно возвращался к этим типам.

В конце XIX — начале XX в. этот сюжет приобретает новое социальное звучание: в нем стали видеть судьбу художника в буржуазном мире. Одинокая, полунисиенская юность, окруженная всеобщим равнодушием и презрением, неутоленная жажда успеха, измена своему призванию и продажа творческого дара, богатство и слава, гибель таланта и трагический конец. Типичным примером такой романтической повести можно назвать в русской литературе гоголевский «Портрет».

И вот этот старинный сюжет вновь воскресает перед нами в пьесе молодого американского революционного драматурга Клиффорда Одетса «Золотой мальчик».

Перед нами — сам «золотой мальчик», Джо Бонапарте. Он — артист по призванию, скрипач с «пескрякой божей», быть может, отмеченный печатью гения, романтик, переживающий период бури и натиска». У него гибкий, впечатлительный ум, пылкое сердце. Он молод, горяч, честолюбив, он жаждет успеха, славы, богатства, радостей жизни.

Но Джо Бонапарте беден. Он вырос в эмигрантской семье, в безвестности и отчуждении. Он итальянец, и громкая фамилия, которую он носит, вызывает насмешки. К тому же он косоглаз и с болью ощущает свое физическое уродство. Он готов на все, чтоб вырваться из убогого существования в четырех стенах.

Мир с его богатствами и чувственными наслаждениями лежит перед ним, как на ладони. Ему открывается внезапно карьера боксера, чемпиона с рекордами, быть может, мировыми. Что ждет его, если он останется окрипачом? Безработица, нищета, сумрачное существование, заблужденная жизнь... Он должен выбрать между своей душой и миром. И он делает выбор. Он вступает в единоборство со своей душой, со своим призванием артиста.

Джо покидает свой дом, людей своего лагеря, порывает с родными, бросает свое искусство и уходит в боксерскую контору Тома Моды.

Там он оказывается среди хищников, авантюристов бандитов. Том Моды — рабовладелец двадцатого века, торговец мужским телом на ринге, спекулянт человеческой жизнью, оценивающий в своих конторских книгах мускулы, кости, нервы и кровь. Рокси Готлиб — мелкий хищник-трызун, глупец и истерик, филантер и вырожденец.

Но страшнее всех Эдди Фюзелли, король бандитов, двойник Аль-Капоне, диктатор «дна». У него квадратный череп, массивные челюсти и хищный рот. Его движения по-кошачьи вкрадчивы и слышны; его нападение стремительно, молниеносно и неотвратимо. Его господство осуществляется методами террора, шантажа, грабежа. Мир для него — азартная игра, а человеческая жизнь — косяшка, сбрасываемая со счетов. Всюду имеются у него свои агенты и наемные убийцы.

И среди них — Лорна Мун, любовница Тома Моды, первая и единственная любовь Джо Бонапарте. «Девчонка из трущоб», «бродяжка», она выросла без матери, у отца, нищего, бродяги и вора. С детских лет она — бездомный, голодный котенок, готовый пригреться у любого очага. С юности она переходит из рук в руки, сказывается на краю пантели, «живет в мире быков и жеребцов», вынося двойную тяжесть: мужской похоти и мужского презрения. Усталая, измученная жизнью, истерическая женщина, но ярко одаренная, богатая натура, наделенная дихорадочным воображением и болезненной чуткостью, она угадывает скрытые страдания Джо, говорит с ним голосом его совести, читает в его душе, как в своей собственной. В этом мире бокса и доллара она единственный духовно близкий, родной Джо человек. Всем существом своим тянется он к ней, как к простому, теплomu человеческому счастью, не подозревая, что эта женщина — только приманка.

И «золотой мальчик» становится чемпионом. Он — на вершине славы, он богат, каждая прихоть его — закон. Он взял выигрыш в жизненной лотерее. «Теперь он ест самое лучшее, носит самое лучшее, спит с самыми лучшими. Он идет по улице, окруженный славой — золотой мальчик! Публика надрывает глотки, когда Бонапарте выходит на ринг...»

Но за все это ему приходится заплатить дорогой ценой. Победенная душа жестоко мстит за себя. Он продался телом и душой и сделался вешью в руках своих антрепренеров. Окружающие смотрят на него как на бездушный механизм из мяса и костей, живую машину для производства долларов; его эксплуатируют и его боятся. Новые друзья лгут ему, возлюбленная предает его. Духовный мир его скудеет, он чувствует, как все мертвеет внутри, и с ужасом видит, что он — только живой труп среди людей. Физический облик его меняется. Пальцы искалечены боксом; никогда больше не сможет он взять в руки скрипку. Черты его грубеют, принимают выражение жестокого и животного. Все дальше и дальше катится он по наклонной плоскости, пока наконец не убивает своего партнера на ринге и понимает, что он убил также и самого себя.

«Ты не тот мальчик, которого я любила, — кричит ему Лорна, — не тот! Ты убил этого мальчика с благородным лицом! Одному богу известно, куда ты дел его труп! Я не знаю тебя!»

И тогда дикое отчаяние овладевает Джо. Этот

юноша, который уже сделался духовным самоубийцей, решается и на самоубийство физическое. На полном ходу он пускает под откос свой новый гоночный автомобиль и погибает вместе со своей возлюбленной. И мертвое тело его приносят к отцу, в тот лагерь, из которого он дезертировал, ибо здесь, и только здесь, его место.

Человек не должен подчиняться закону джунглей, — утверждает Одетс. Его воля свободна, он властен в своем выборе. Если же он выбирает вольную жизнь в этом мире «вражды всех против всех», то он совершает самоубийство. И тогда его ждет одно из двух: либо ему удастся заглушить все человеческое и стать живой машиной в этом механизированном мире; либо его душа, его совесть внезапно пробуждаются, восстают против него. Но начинать сызнова уже поздно: талант загублен. И тогда — крах полный и абсолютный, ибо жить уже невозможно.

Так кончается эта история о человеке, продавшем душу дьяволу за золото, славу, женщину.

Так по-новому звучал в пьесе Одетса вековой романтический мотив. Он стал историей жизни художника в капиталистической Америке, историей борьбы за свободу творчества, за свободу мысли и чувства с бездушным миром спекулянтов и гангстеров, со всеобщим варварством и одичанием в погоне за золотым тельцом. Он звучал мечтой о человечности, древней гуманистической мечтой о свободном и счастливом человеке, находящемся в гармонии с самим собой и с миром и отдающим людям богатства своих идей, чувств и страстей.

И здесь кроется то романтическое обаяние, которым овевана пьеса Клиффорда Одетса.

Р. Миллер-Будницкая.

«Русские поэты XVIII—XIX вв. Антология». Редакция текста, статьи и примечания *Цезаря Вольпе, Г. Гуковского, Вл. Орлова и И. Ямпольского. Т. I, Издательство детской литературы, М.-Л., 1940*

Детиздат выпустил первый том четырехтомной антологии «Русские поэты XVIII—XIX вв.». В краткой вступительной заметке редакторы антологии формулируют основные установки своего издания: «Антология включает в себя все лучшие и наиболее идейно-выразительные стихи известных русских поэтов XVIII—XIX вв., с тем чтобы дать нашему читателю представление о русской поэзии в ее историческом развитии».

Редакторы с умением и вкусом осуществили стоящую перед ними задачу. Подобной книги у нас до сих пор не было.

Первый том охватывает пушкинский период (Пушкин и поэты пушкинского окружения — Дельвиг, Баратынский, Языков — войдут во второй том). Некоторая условность распределения материала вполне понятна. Нельзя руководствоваться только датами рождения и смерти, ни даже датами начала и конца литературной деятельности, но приходится отыскивать момент наибольшей исторической актуальности того или иного писателя.

Ограничусь одним примером: Кюхельбекер начал писать почти одновременно с Пушкиным, а умер

в 1846 году. Самые зрелые и сильные лирические стихотворения Кюхельбекера написаны уже после смерти Пушкина. Между тем составители антологии поступили совершенно правильно, включив Кюхельбекера в предпушкинский том. Ведь по идейной сущности своего творчества, по основам своей поэтики Кюхельбекер принадлежит к тому декабристскому течению русской литературы, которое было насильственно пресечено в 1825 году.

Из поэтов XVIII века в антологию включены Ломоносов, Сумароков, Державин и Радищев. Таким образом, русская поэзия XVIII века представлена в наиболее характерных и ярких своих чертах: ломоносовская ода, трактующая вопросы государственного и культурного развития России, и революционная ода Радищева; а наряду с этим Сумароков, с его ядовитыми сатрами и меланхолическими песнями; и, наконец, разнообразный, красочный мир державинской поэзии.

Песни Сумарокова, а вслед за тем и песни И. Дмитриева представлены довольно обильно. Это не вызывает возражений, так как именно Сумароков, Дмитриев, Карамзин — поэты, наименее знакомые нашей школьной молодежи, а между тем сыгравшие в развитии русской поэзии существенную роль.

Крылов представлен избранными баснями, Жуковский — наиболее известными балладами и лирическими стихотворениями. Читателей несомненно заинтересует и увлечет своеобразная поэзия Дениса Давыдова, в которой мотивы гусарской удалости и разгула переплетаются с вольнолюбием, с преданностью национальным интересам России. Антологии замыкает группа поэтов, принадлежавших или примыкавших к организациям декабристов: Гнедич, Ф. Глинка, Катенин, Кюхельбекер, Рылев.

Для антологии вопрос отбора произведений — один из самых основных. Эта задача разрешена редакторами удачно, за исключением некоторых частных случаев.

В прессе уже отмечалось, что не следовало в издании, предназначенное для детей, включать стихотворение Д. Давыдова «Гусарская исповедь», в котором пришлось даже заменить точками неудобное для печати слово. В то же время приходится сожалеть об отсутствии некоторых значительных произведений.

Так, например, сравнительно обильно представлен поздний анакреонтический Державин. В своей анакреонтической лирике Державин достигает высокого мастерства, но в его поэзии как раз анакреонтика является наименее «доходчивой», наиболее трудной для восприятия (особенно для детского восприятия). А в то же время в антологии отсутствует такое характерное произведение, как «Ключ».

Мы настолько сжились с баснями Крылова, что отобрать из них лучшие, самые нужные — несложно. Г. Гуковскому это удалось. Все же приходится пожалеть об отсутствии таких идеологически острых вещей, как «Лев на воле», как в особенности пользующийся широкой известностью «Вельможа».

Вместо довольно бесцветных эгегических стихотворений Вяземского «Слеза», «К ней», лучше было дать хотя бы стихотворение «К ним» — гневный выпад Вяземского против болгаринской клики, дать несколько эпиграмм (Вяземский-эпиграмматист вовсе не представлен). Из эгегической лирики Вяземского гораздо больший интерес представляла бы знаменитая элегия 1819 года «Уны-

ние», заслужившая высокую оценку современников, в том числе Пушкина.

Некоторые сомнения вызывает также отбор рылевских «дум». Их здесь всего четыре: «Смерть Ермака», «Иван Сусанин», «Петр Великий в Острогоске», «Вадим». В примечаниях В. Орлов правильно отмечает, что в предании о подвиге Ивана Сусанина «Рылеева привлекал ярко выраженная идея самоотверженной гибели за родину, независимости которой угрожали иноземные захватчики». Но мне кажется, что для декабристской концепции русской истории еще более характерна дума «Дмитрий Донской» (не включенная в антологию), в которой война русских с татарами трактуется как национально-освободительная борьба, как гражданский подвиг, совершаемый всем народом.

В поэзии Рылеева широко даны мотивы древней русской вольности; именно поэтому при столь жестком отборе представляется неоправданным включение незаконченного «Вадима». Это ведь только начало думы, отрывок, сам по себе еще не достаточно выразительный.

Но очень жаль, что В. Орлов не включил замечательную думу «Державин». Одна из самых сильных в художественном отношении, она в то же время отчетливо раскрывает декабристскую концепцию поэзии как гражданского служения.

Он выше всех на свете благ
Общественное благо ставил —

такова рылевская формула назначения поэта.

Стихам каждого поэта предпослан краткий очерк его жизни и литературной деятельности. В целом эти очерки — несомненная удача составителей антологии. Они занимательны, насыщены существенными сведениями, доступны по форме. Притом их доступность ничего общего не имеет с упрощенчеством, которым нередко страдают статьи, рассчитанные на детей и на массового читателя.

И все же возникают сомнения методологического порядка. Дело в том, что в каждом очерке автору его поневоле приходится пользоваться понятиями историческими и историко-литературными, которые в данном контексте невозможно раскрыть за недостатком места, за нежелательностью повторения.

Вот несколько примеров. Заканчивая очерк, посвященный Сумарокову, Г. Гуковский пишет: «В творчестве Сумарокова окончательно определились характер и формы русского классицизма XVIII столетия. Сумароков дал образцы этого стиля почти во всех жанрах, допускаясь «правилами» классицизма». Но в книге нигде не объяснено, что такое классицизм и каковы его «правила». В заметке о Карамзине точно так же остается нераскрытым понятие сентиментализма.

Ц. Вольпе в заметке о Жуковском пишет: «В эти годы Жуковский погружается в интересы придворной среды и проникается настроениями «дворцового романтизма». Несмотря на кавычки, «дворцовый романтизм» выглядит здесь неким историко-литературным термином, тогда как это иронический и полемический выпад Вяземского против враждебных ему, в 10-х—20-х гг., идеологических тенденций Жуковского. «Дворцовый романтизм» останется юному читателю непонятным, и это выражение сюда просто не следовало вводить.

Другое дело понятия — классицизм, сентиментализм, романтизм; без них, конечно, нельзя было

обойтись. Вот почему, быть может, было бы правильнее, предпослав стихам каждого поэта только краткие биографические сведения, все соображения исторического и историко-литературного порядка выделить в особые очерки. В первом томе антологии достаточно было бы трех таких очерков: русская поэзия XVIII века с краткой характеристикой социальной сущности классицизма и созданных им «правил»; русские сентименталисты, от Карамзина до Батюшкова; и, наконец, поэты-декабристы и поэты, к ним примыкающие.

В заметках о Глинке, Катенине, Кюхельбекере. Рылееву показаны отдельные черты литературной теории и практики декабристов: национально-героическая тематика, интерес к «простонародности» и вместе с тем к высокому архаическому слогу и т. д. Но все это рассыпается, ускользает от внимания читателя именно потому, что не собрано, не сведено воедино. Только общий очерк мог бы дать краткую и вместе с тем убедительную, исторически обоснованную характеристику поэтики декабристов.

Отмечу еще, что напрасно редакторы пользуются квадратными и ломаными скобками. В издании, предназначенном для детей, эти текстологические тонкости представляются излишним, несколько педантичным академизмом.

Л. Гинзбург

С. И. Радциг, «История древнегреческой литературы». Изд. Акад. Наук СССР, М.-Л., 1940

— Если помните, — начал профессор, — исход греко-персидской войны был решен сражением при Саламине. Кто выиграл это сражение?

— Персы.

Профессор посмотрел на студента тем укоризненным и в то же время ласковым взглядом, который всегда действовал на экзаменующихся успокоительно. Но студент, видимо, несколько и не волновался.

— Скажите тогда, какое отражение в новой литературе нашла легенда о гибели греческого поэта Ивика? Может быть, вы помните, кто написал переведенную Жуковским балладу «Ивиковы журавли»?

— Да, помню. Гете.

Теперь взгляд профессора выражал уже не ласковую укоризну, а возмущение. Сдержавшись, он задал последний вопрос:

— Что вы можете рассказать о Клеоне? Какую роль он сыграл во взятии Сфактерии?

— Клеон был демагогом. Сфактерия была взята в результате осады, проведенной Никием. А всю славу присвоил Клеон. . .

— Довольно! Я вынужден поставить вам «плохо». Откуда вы взяли все это?

— Вот отсюда, — невозмутимо ответила студент, протягивая новенькую книгу, на коричневом переплете которой было написано: «С. И. Радциг. История древнегреческой литературы».

Оставим озадаченного профессора, в недоумении перелистывающего труд своего коллеги, и ознакомимся с этой книгой сами.

Действительно, на странице 255 написано: «Победу персов при Саламине он (Геродот) приписывает чудесной помощи местных героев». Между тем

у Геродота ~~важно~~ прямо противоположное: он описывает блестящую победу греческого флота; пишет, что ~~теперь~~ корабли персов, незнакомых с ~~факторами~~ Саламинского пролива, в панике давали друг другу; что Ксеркс вынужден был ~~горько~~ ~~отступить~~... Может быть, это просто опечатка у проф. Радцига?

Но ~~и~~ «известными журавлями» получается не лучше. На странице 116 написано: «В новой литературе ~~известно~~ особенно известен по позднереческому ~~истории~~ — тем, что погиб от рук разбойников. ~~история~~ разоблачили журавли. Этот сюжет послужил Гете для известной баллады, переведенной ~~Шеллером~~... Если и это описка, то очень уж некрасивая: ведь баллада-то действительно «известная» и известно, что принадлежит она не Гете, а Шеллеру... Между тем, в предисловии проф. Радцига ~~особенно~~ подчеркивает, что одной из ~~основных~~ задач своего труда считает показ отражения ~~классического~~ наследства в новой литературе.

Еще большее недоумение вызывает все, что сказано в книге о Клеоне. Этот выдающийся деятель демократических Афин, талантливый народный ~~полководец~~, сумел во время Пелопоннесской войны ~~одержать~~ такие победы над аристократической Спартой, которые оказались не под силу ~~крупнейшим~~ стратегам того времени. А вот что пишет проф. Радциг (стр. 229):

Комедия «Всадники»... является откликом на победу при Сфактерии. Демагог Клеон, богатый владетель кожевеной мастерской, приняв на себя командование афинским войском, взял в плен на острове Сфактерии и привез в Афины 120 спартиатов. ~~Эта~~ спартанской аристократии. После этой победы Клеон приобрел в народе еще большую популярность и стал тогда еще самоувереннее. Между тем было ясно, что эта победа одержана благодаря тщательной подготовке и длительной блокаде острова стратегами Никием и Демосфеном. Клеон, таким образом, присвоил славу, которая по справедливости должна была принадлежать другим. Не ясно ли, что вследствие слабоволия и недалекости народа такие зазнавшиеся выскочки затирают дельных и преданных народу людей?

Это уже не описка, это определенная историческая концепция. Факты здесь искажены, выводы сделаны неверные, вредные. Во-первых, Клеон был не только «владельцем кожевеной мастерской», — он был вождем радикально-демократической группировки рабовладельческого общества, страстным идеологом борьбы с аристократической Спартой. Во-вторых, командование он принял на себя по провокационному предложению стратега Никия: этот вождь «умеренных» считал Сфакторию неприступной, знал, что Клеон не имеет военного опыта, и откровенно рассчитывал, что Клеон вынужден будет снять блокаду острова и этим скомпрометирует себя. В-третьих, победа не только не была подготовлена Никием, но была одержана скорее вопреки ему, благодаря железной энергии Клеона, сумевшего организовать и провести 20-дневный штурм острова. В-четвертых, Клеон, действительно заслуживший народную любовь и доверие, оправдал это доверие и в дальнейшем своей самоотверженной борьбой с врагами Афин (он погиб на полях Фракии). В-пятых, название «демагог», явно применяемое Радцигом в современном, отрицательном смысле слова, по-гречески означало «вождь народа», и именно в этом первоначальном смысле применялось афинянами к Клеону.

К счастью, все эти факты известны нашим студентам из любого курса истории античного мира. Зачем же понадобилось проф. Радцигу преподнести студенчеству такое, мягко выражаясь, субъективное толкование истории? Видимо, только затем, чтобы подвести к выводу о... «слабоволии и недалекости народа» (?). Дальше проф. Радциг пишет: «Эту мысль выразил Аристофан в своей комедии». Но ведь эту же, с позволения сказать, «мысль» выразил и Радциг, выразил ее от собственного имени.

Немало достается Клеону от нашего автора и дальше. Переходя к следующей комедии Аристофана, Радциг пишет (стр. 230):

«В «Осах» осмеивается пристрастие афинян к судебным процессам, которое развилось вследствие политики, проводимой демагогами, начиная с Клеона. Она поставлена как раз после того, как Клеон повысил плату судьям до 3 оболлов и этим старался снизить себе популярность».

Не будем обращать внимание на отсутствие грамматического согласования («Осы» — «она»); не будем обращать внимание и на явную непоследовательность (осмеиваемое пристрастие развилось якобы вследствие политики, проводимой «демагогами, начиная с Клеона», а комедия была поставлена «как раз» после мероприятий самого Клеона). Историческая наука считает, что повышенные платы присяжным было мерой борьбы со взяточничеством, мерой, вызванной военной дороговизной. А проф. Радциг преподносит это в виде какого-то карьеристского маневра «высочки» Клеона. Он делает это (как и в первом случае, когда речь шла о взятии Сфактерии) не при изложении содержания комедии, а при попытках восстановить историческую обстановку, отраженную Аристофаном.

Известно, что в комедиях Аристофана действительность отражалась как в кривом зеркале. Известно, что этот «ярко выраженный тенденциозный писатель» (как назвал его Энгельс) был выразителем мнения аристократической реакции. В своих талантливых комедиях он действительно неустанно клеветал на Клеона (как и на Эврипида — новатора в области драматургии, как и на Сократа и других выдающихся ученых его времени). Но зачем же эту клевету на народ через две с лишним тысячи лет повторять от собственного имени в советском учебнике?

Точка зрения проф. Радцига не нова. Многие буржуазные историки, ссылаясь на Фукидиду, резко отрицательно относились к вождям радикально-демократических кругов афинского полиса. Они игнорировали при этом принадлежность Фукидиды к враждебной Клеону группировке рабовладельческого общества, они забывали и о личной неприязни между ними (великий историк был весьма посредственным флотоводцем, и за сдачу спартанцам Амфиополя был, по предложению Клеона, подвергнут изгнанию). Блестящую критику историков антидемократической точки зрения дал в свое время еще академик Бузескул. Проф. Радцигу не могла остаться неизвестной точка зрения современной науки, ставшая уже достоянием учебников (см., напр., курсы проф. Ковалева или проф. Сергеева).

Историк античной литературы, следуя указанию Энгельса, должен был бы показать тенденциозный характер комедий Аристофана. Не отождествлять действительность с точкой зрения драматурга, не укладывать исторические события на

прокрустово ложе комедий, а — как раз наоборот — показать, какие изменения претерпели события, отразившись в комедиях, показать тенденцию этих изменений должен был историк литературы. Но когда дело доходит до идеологии Аристофана, проф. Радциг, вместо того чтоб показать социальную ограниченность его мировоззрения, ссылается на трудности, возникающие при определении подлинных взглядов «комического поэта». Непонятно, оказалась ли Радциг в плену у Аристофана, или он просто воспользовался случаем, чтоб, сказав исторические факты, преподнести свою собственную антинаучную и антинародную концепцию.

В книге есть специальная глава о древнегреческой философии. Излагая учение Демокрита — замечательного материалиста древности (все материалистические учения античной философии Ленин называл «линией Демокрита», в отличие от идеалистической «линии Платона»), — Радциг пишет (стр. 282):

«Демокрит различает два вида познания: «подлинное познание» — на основании разума, — которым постигаются атомы и окружающая их пустота, и «темное познание» — «общее мнение», чувственное восприятие, дающее субъективные представления, как зрение, слух, обоняние, осязание, вкус».

Таким образом материалисту Демокриту приписывается одно из основных положений субъективного идеализма: чувственное восприятие дает только лишь субъективные представления, а не отражения объективно существующих явлений. Между тем Демокрит утверждал, что объективный мир познается разумом именно через чувственное восприятие. По свидетельству Галена, он писал, обращаясь к разуму от имени чувств: «... нас ли ты намерен победить, нас, от которых только и заимствуешь ты свои убедительные доводы».

Толкование, приведенное Радцигом, основывается на сочинении Секста-Эмпирика (трудов самого Демокрита не сохранилось). Но свидетельства Аристотеля, Галена, Аэция и ряда других древних авторов дают возможность восстановить истинный характер демокритовой теории познания, освободив ее от наслоений, привнесенных Секстом. Вопрос этот исследован в недавно вышедшем I-м томе «Истории философии» (в главе «Атомизм Левкиппа — Демокрита»).

Вряд ли кому-нибудь еще представляется спорной ясная истина, гласящая, что сила литературного произведения — в его неразрывной связи с эпохой, с передовыми идеями своего времени. В веках остаются лишь те писатели, творчество которых — плоть от плоти их времени и их народа. А вот что пишет по этому поводу проф. Радциг (стр. 6):

«Хотя она (греческая литература) и связана с определенной эпохой и с определенными социальными условиями, в которых она создавалась, все же она была настолько оригинальной и сильной, что сохраняет интерес и высокое художественное значение даже для других эпох».

Получается, что связь с эпохой — не источник оригинальности и силы, а помеха!

Эта фраза напечатана на одной странице с замечательным высказыванием Маркса о греческом искусстве и эпосе. Маркс писал, что обаяние, которым обладает для нас искусство древних греков, объясняется именно тем, что это искусство воспроизводит истинную сущность той эпохи и той страны, где «детство человеческого общества...

развилося всего прекраснее. Маркс считал, что греческая литература прекрасна именно поэтому, что непосредственно связана со своей эпохой, а комментирующий Маркса Радциг считает, что она прекрасна несмотря на эту связь.

Так эта книга, вступающая в противоречие с историей и с философией, вступает в непримиримые противоречия и с теорией литературы.

Для языка книги характерны такие, например, формулировки:

«Судебные речи по содержанию напоминают речи Лисия, но имеют более тонкую аргументацию и глубже разработаны, но лишены той живости и яркости, какой отличаются речи Лисия» (стр. 271).

«Дион по каким-то причинам был изгнан Домцианом и в течение ряда лет странствовал, причем побывал на юге нашего Союза» (стр. 344).

«В IV книге Геродот подробно описывает древнейшую жизнь на юге СССР» (стр. 256).

Следует отметить, что эта книга, изданная Академией Наук, утверждена Комитетом по делам высшей школы в качестве учебника для университетов и педагогических институтов. Таким образом, печальная сцена, приведенная мною в начале статьи, оказывается, к сожалению, вполне реальной.

В заключение я считаю необходимым процитировать предисловие, предпосланное книге Институтом мировой литературы:

«Институт... считает необходимым указать, что работа проф. Радцига подготовивалась при участии всего научного коллектива Отдела античных литератур... Редактирование проводилось совместно с автором старшими научными сотрудниками Института под руководством акад. М. М. Покровского. Помимо этого, весь текст книги был тщательно просмотрен чл.-корр. АН СССР С. И. Соколовским».

Это сообщение Института мировой литературы еще углубляет недоумение, вызванное появлением странной «истории» С. И. Радцига.

А. Смолян

Л. Гроссман, «Театр Сухова-Кобылина». Изд. ВТО, 1940

Это один из первых опытов исследования творчества Сухова-Кобылина. Необычна судьба писателя: он прожил большую жизнь, занимаясь преимущественно монументальным философским трудом, который погиб в огне во время пожара. Он оставил лишь как будто бы незначительное по количеству литературное наследство, состоящее из трех пьес. С 1869 года (первое издание) до 1927 года драматическая трилогия Сухова-Кобылина полностью не переиздавалась. Что же касается сцены, то здесь его пьесы постоянно калечились царской цензурой.

Подлинное значение Сухова-Кобылина как классика русской драматургии было признано лишь в послереволюционные годы, когда его пьесы заняли достойное место в репертуаре театров, когда начала переиздаваться его трилогия и публиковаться его письма.

Но и теперь главное внимание привлекало не творчество Сухова-Кобылина, а его биография. Два больших труда и около десятка статей, вышедших за последние пятнадцать лет, были посвя-

щены вопросу о том, убил ли драматург свою любовницу, француженку Симон-Диманш. Были даже попытки полностью реставрировать это судебное дело, происходившее около 90 лет тому назад. На сцене советского театра шла пьеса, посвященная этому «преступлению Сухова-Кобылина». И получилось так, что это преувеличенное внимание к биографии писателя мешало серьезному изучению его творчества. В самом деле, Сухово-Кобылина изучали не в литературоведческом и даже не в театроведческом плане, а по линии, так сказать, «уголовной». Все творчество писателя считалось непосредственным отражением пресловутого уголовного дела.

Сейчас новая книга Л. Гроссмана посвящена, наконец, не преступлению Сухово-Кобылина, а его пьесам. Но и здесь слишком много внимания уделяется биографическим фактам и особенно, конечно, знаменитому убийству.

Л. Гроссман находит в творчестве Сухово-Кобылина «три струи», по его словам «отчетливо различимые». Это прежде всего, по мнению автора, «уголовщина», якобы «питающая трилогию о Расплюеве и Тарелкине впечатлениями от следствия, суда, полиции, тюрем, секретных камер, допросов, пыток и истязаний».

Вторая струя творчества Сухово-Кобылина по Л. Гроссману — это «стихия театра». Впрочем, театральную стихию, действительно чрезвычайно важную для понимания творчества драматурга, Л. Гроссман понимает, пожалуй, несколько ограниченно, односторонне. Мы скажем об этом несколько слов ниже.

Наконец, третьей важнейшей струей в творчестве Сухово-Кобылина Л. Гроссман считает его философскую школу. Мы знаем, что Сухово-Кобылин всю жизнь занимался философией. Но философские взгляды писателя нам известны преимущественно с чужих слов, которым к тому же не всегда можно доверять. Сухово-Кобылин считался «гегелианцем». Но и это еще ничего не дает для выяснения его философских взглядов, ибо гегелевская философия, в частности гегелевская эстетика, понималась по-разному. Характерно, что на одной из первых страниц своей книги Л. Гроссман утверждает, что философская школа, которую всю жизнь углубленно проходил драматург, «послужила ему для символики его пьес и скрытых идеологических поучений его безотрадной сатиры». Но нигде в дальнейшем, при конкретном анализе образов «Свадьбы Кречинского», «Дела», «Смерти Тарелкина», автор не пытался показать, как отражаются философские взгляды Сухово-Кобылина на его творчестве. Сделать это нам кажется невозможно. Ведь мы по-настоящему не знаем подлинных философских взглядов драматурга, и поэтому чрезвычайно трудно выяснить, как они влияли на его литературную деятельность.

А обратный путь — извлечение философских взглядов из пьес — нам представляется рискованным. Л. Гроссман, повидимому, сознательно отказывается от него.

Обычно, при всех попытках исследования творчества Сухово-Кобылина его пьесы рассматривались как-то вне всего развития русской литературы, в частности русской драматургии. Книга Л. Гроссмана в этом смысле дает, к сожалению, мало нового. Он здесь ограничивается положениями бесспорными: он, например, указывает на гоголевское влияние, которое чувствуется в творчестве Сухово-Кобылина чрезвычайно явственно и о ко-

тором сам драматург не раз говорил. Л. Гроссман указывает также на некоторое тематическое сходство «Дела» и «Ябеды» Капниста. Но, вместе с тем, он не пытается определить особые черты сатирического письма драматурга, в частности, не пытается сравнить сухово-кобылинскую сатиру с сатирой Салтыкова-Щедрина. А ведь надо думать, что в «Смерти Тарелкина» Сухово-Кобылин не избежал щедринского влияния. И, вместе с тем, Сухово-Кобылин был сатириком глубоко своеобразным, неповторимым.

Вопрос об особых чертах сухово-кобылинской сатиры и о ее месте в русской сатирической литературе второй половины XIX века по-настоящему даже не поставлен в книге. А, между тем, это вопрос исключительно важный для правильного выяснения творческого метода Сухово-Кобылина.

Л. Гроссман цитирует резко отрицательные отзывы Сухово-Кобылина о творчестве Островского. Правда, это отзывы спорные, заимствованные из воспоминаний В. Боголепова и Ю. Беляева, которым не всегда можно доверять. К сожалению, автор книги ограничивается воспроизведением этих отзывов. Между тем, взаимоотношения обоих драматургов представляют огромный интерес. В прошлом некоторые историки русского театра склонны были считать Сухово-Кобылина последователем Островского. Это было конечно неверно. Однако нам кажется, исследователь творчества Сухово-Кобылина не может здесь обойти вопроса о влиянии на него Островского и ограничиться лишь цитатами из мемуаров, говорящих якобы о том, что драматург отрицательно относился к Островскому.

Вообще Л. Гроссман в своей работе не пытается по-настоящему определить место Сухово-Кобылина в русской литературе второй половины XIX века. Творчество драматурга рассматривается им как нечто обособленное, стоящее вне литературных влияний, как замкнутое в себе, ограниченное лишь биографией и философской школой.

И характерно, что, когда Гроссман говорит о театральной стихии, понимая под этим преимущественно театральные впечатления Сухово-Кобылина, которые отчетливо чувствуются в его пьесах, речь здесь идет преимущественно о театре западном, главным образом о театре французском. Спору нет, Сухово-Кобылин много и подолгу жил на Западе и всерьез интересовался французским театром. Недаром в послесловии к «Смерти Тарелкина» Сухово-Кобылин вспоминает о французском комике-трансформаторе Левассоре. Мы знаем и о других французских актерах, любимцах нашего драматурга. И все же при серьезном исследовании театра Сухово-Кобылина нельзя останавливаться лишь на влиянии на драматурга западного театра.

Бесспорно, например, некоторое внешнее сходство «Смерти Тарелкина» с отдельными постановками парижских театров бульваров. И все же эта пьеса является буффонадой, изображающей русские народные типы; в ней мы найдем специфически русскую «театральную стихию» и характерную для русского театра сатирическую струю. Здесь чувствуется влияние русского народного балагана и, пожалуй, особенно отчетливо заметно сходство этой пьесы с русскими водевилями сороковых, пятидесятых годов. Этот русский водевиль, еще недавно нейтральный, беззлобный, приобретает уже в конце сороковых годов достаточно четкую сатирическую направленность (особенно заметную в водевильном творчестве Ф. Кони).

Русский театр сороковых-пятидесятых годов знал и своих актеров-трансформаторов (один из них — знаменитый В. Самойлов — был другом Сухово-Кобылина и первым петербургским Кречинским). В водевилях этого времени мы находим и самую тему «Смерти Тарелкина». Нам известен, например, популярный водевиль украинского писателя Г. Квитко-Основьяненко «Мертвец-шалун», тематически настолько близкий к «Смерти Тарелкина», что можно предполагать здесь прямое сюжетное заимствование. Этот водевиль (написанный порусски) с большим успехом шел в театрах обеих столиц в конце сороковых годов, и Сухово-Кобылин, постоянный посетитель тогдашних театров, конечно, его знал.

«Смерть Тарелкина» и «Дело» являются пьесами русскими, национальными. В этом смысле они отличаются от более ранней «Свадьбы Кречинского», в которой действительно отчетливо чувствуется влияние французской комедии интриги, столь популярной в сороковых и пятидесятых годах прошлого века.

Последние главы книги посвящены сценической

истории пьес Сухово-Кобылина. Они отличаются невольной конспективностью. Сценическая судьба этих пьес должна быть предметом особого исследования. Здесь важнее было бы не перечислять все постановки, а показать, как театр Сухово-Кобылина влиял на дальнейшее развитие русского сценического искусства.

Нельзя отрицать известной ценности книги как первого опыта исследования творчества Сухово-Кобылина. Анализ отдельных персонажей пьес сделан интересно и ярко. Много ценных замечаний находим мы в главе, посвященной языку героев Сухово-Кобылина.

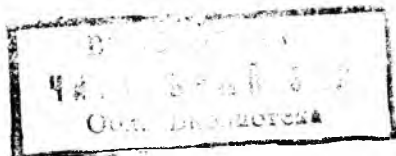
Однако, основная задача, стоящая перед автором этого исследования, по-настоящему не выполнена. Мы не имеем всеобъемлющего, глубокого исчерпывающего анализа творчества замечательного русского драматурга. Да и нельзя, нам кажется по-настоящему понять всю глубину и своеобразие пьес Сухово-Кобылина, рассматривая их в отрыве от всей русской литературы, вне творческих традиций русского театра.

И. Бервард

Ответственный секретарь Н. В. Лесючевский

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: И. А. ГРУЗДЕВ, В. А. КАВЕРИН, П. И. КАПИЦА,
Б. А. ЛАВРЕНЕВ, Н. В. ЛЕСЮЧЕВСКИЙ, М. Л. СЛОНИМСКИЙ, Н. С. ТИХОНОВ.

Государственное издательство «Художественная литература» приступило к подготовке издания полного собрания сочинений и писем А. П. Чехова. Издательство обращается ко всем учреждениям и лицам, у которых хранятся автографы писем А. П. Чехова, с просьбой предоставить их для настоящего издания. Об условиях публикации писем обращаться по адресу: Москва, Б. Черкасский пер., д. 2/10, Главная редакция издания сочинений и писем А. П. Чехова.



Год издания 13-й. Подписано к печати 30/V 1941 г. М1246. Тираж 20.000 экз. Авт. л. 21,91.
Печ. л. 11^{3/4}. Тип. экз. на 1 печ. л. 73.000. Заказ № 1911.
Типография № 2 Управления издательств и полиграфии Исполкома Ленгорсовета, Ленинград, Социалистическая, 14.